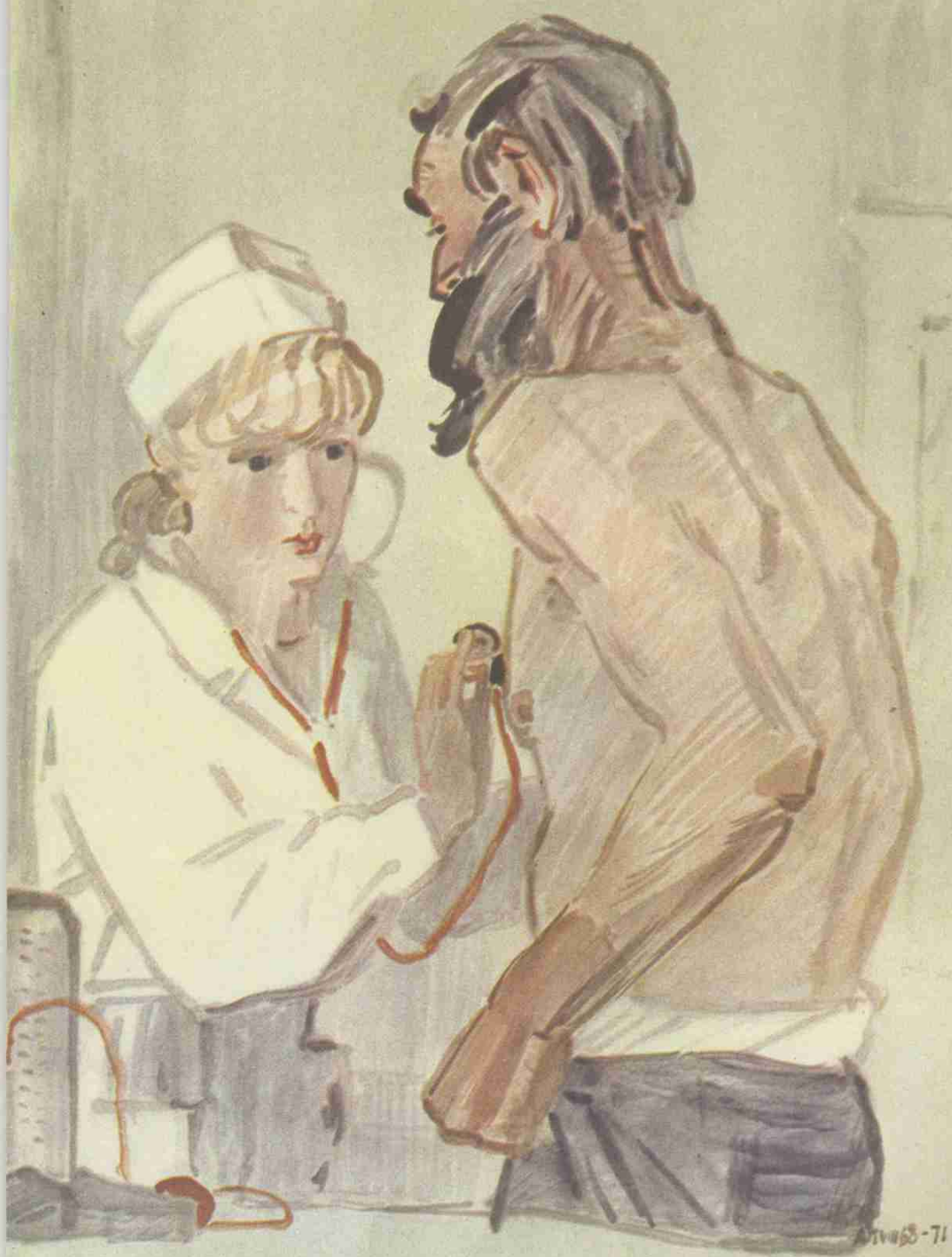




ЮНОСТЬ

2

1973

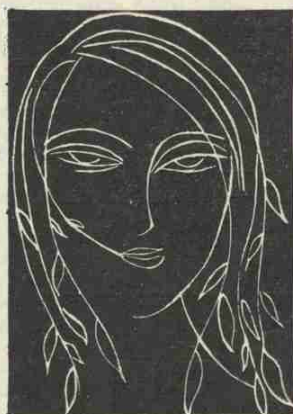


А. ПАХОМОВ.

Молодой врач [акварель]

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



2 [213]
ФЕВРАЛЬ
1973

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Алексей ЧУПРОВ. Зима — лето. Повесть 2

Медетбен СЕИТАЛИЕВ. Дочь мельника. Повесть. Перевел с киргизского Е. Колесников 35

Р. РОМА. Открытие. Рассказ 58

ПОЭЗИЯ

Иван САВЕЛЬЕВ. «Лесом ли, полем пройду я...». «Мальчишка с обручем несется...». Прощанье с мартом. «Люблю неяркие цвета...» 29

Александр КРИВИЦКИЙ. Утраченное и возвращенное. (Предисловие к стихам Назыма Хикмета) 30

Назым ХИКМЕТ. Человеческая панорама. Перевел Б. Слуцкий 31

Владимир ЦЫБИН. Созвучья 55

Борис ЛАСТОВЕНКО. Атака. Тополя зашумели в ночи... Природа, Родина, народ... «Это молодость просто была!...» 57

Евгений ТАРЕЕВ. «Ну и чему мне, и чему мне, и чему мне...». В порту 57

Николай УШАКОВ. Верлибры. Мои герои. Семен Прохорович. Шагреневая кожа 61

Константин ВАНШЕНКИН. Болгарский дождь. В Красной Пахре. «А что там? У дочери гости...». Пушкинские Горы. Расставание. Купание с лодки 62

КРАСКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Теймураз МАМАЛАДЗЕ. «Счастливы люди, у которых такая песня» 65

ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Л. ЛАЗАРЕВ. Там, где горела земля... (Над страницами «Дней и ночей» К. Симонова) 67

ПУБЛИЦИСТИКА

Борис ПАНКИН. Время звонко и коротко 72

И. ОСИПОВ. Крылья Тюмени 96

Алексей ФРОЛОВ. Заявка на радугу 99

Александр ТКАЧЕВ. Десятый апрель Драгина 101

ПИСЬМО ФЕВРАЛЯ

Валя Ф. Признание в любви 64

НАУКА И ТЕХНИКА

Леонид ПОЛЯКОВСКИЙ. Поживем, поищем, поудивляемся, внедрим 91

СПОРТ

Я. ГОЛОВАНОВ. Год Коперника 95

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Татьяна ВОЙТЮК. Как подняться из реверанса 103

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

* Михаил КАТЮШЕНКО. В городе Бобруйске — перед началом спектакля. * Арнадий КОРДОН. Ефрейтор Збруев служит в Таманской 107

Михаил ВОЛЬФСОН. Две истории: 1. Первый пациент. 2. Залог 109

Александр ФЕНЕВ. Пародии 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

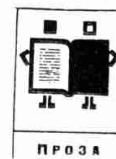
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок Е. КАЧЕЛАЕВОЙ.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
улица Горького, 32/1.
Телефон редакции:
251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 6/XII 1972 г.
А 08018.
Подп. к печ. 18/I 1973 г.
Формат 84×108^{1/16}.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 258. Заказ № 3855.
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865 Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

АЛЕКСЕЙ
ЧУПРОВ



ПОВЕСТЬ

ЗИМА- ЛЕТО

— А время в армии быстро идет?
— Быстро: сентябрь — тят-тят и — май,
а то еще быстрее: зима — лето,
зима — лето, зима — лето...

Из разговора молодого
солдата со старослужащим.

I

1. Он хотел запомнить все: окно с частым переплетом рам, оледенелую ветку тополя за ним, вещи в комнате — старый шкаф, стол, кресло, обтянутое серым потертым шелком... Было начало октября, была на исходе последняя ночь перед отъездом.

«Уезжаю и не увижу, может быть, никогда... Говорят, что дом снесут; если не в этом году, так в следующем... За три года успеют снести...»

— Нет, Серега... Нет, не завидую я тебе. — Говоря это, Алеша обхватил его за плечи. — Да минует нас чаша сия... Главное, глупо — поступить в университет и вылететь... Глупо...

Сергей попытался высвободиться из-под Алешиной руки.

— Это все Чернышева, — уверенно сказал Валерка. — Я с ней сидел за одной партой... Девочка, которая умеет выкидывать фокусы... Я ее знаю! — весело прокричал он.

— Тише... Соседи... — приложил палец к губам Сергей; он снял с плеч Алешину руку, встал, подошел к окну и потерся лбом о холодное стекло.

Рисунки
Николая БАЙРАКОВА.

В сентябре пятьдесят четвертого года в городах кончилась эпоха раздельного обучения — мальчики стали учиться с девочками. Есть от чего закружиться голове, когда в тринадцать лет вместо привычного мужского общества ты оказался среди таинственных существ, которых можно дергать за косы или делать вид, что ты их не замечаешь, но которые влекут к себе так властно, что жизнь без них уже не представляется возможной, как бы сильно ты их ни презирал. С седьмого класса учились вместе Алеша Соловьев, Сережа Сметанин, Валерка Рыжов, Лена Чернышева — одна компания. Сметанин был Сметана, Рыжов — Рыжий, Соловьев — Соловей, Лена была Звонкая. Так ее стал звать в девятом классе Рыжов, а за ним и остальные.

Мать Лены, Кира Сергеевна, преподавала физику в их школе. Ходила она широкой мужской походкой, в учительской курила, крепко держала между пальцев мелом пальцами папиросу. Законы физики Кира Сергеевна объясняла пронзительным голосом, и Сметанин каждый раз невольно, с неприятным для себя чувством отмечал это.

К приятелям своей дочери Кира Сергеевна относилась с грубоватой насмешливостью.

— Милейший Рыжов, — говорила она Валерке Рыжову, стоящему у доски, — вы написали просто уравнение, а от вас требуется вывод уравнения состояния идеального газа... Да-да, я все понимаю, вчера вы были заняты...

И Рыжов краснел, потому что вчера вечером он ходил в кино с Леной, и осведомленность Киры Сергеевны казалась ему унизительной.

До десятого класса компания Чернышевой жила беззаботной, почти детской жизнью. В десятом, в сентябре, едва начали учиться, умерла бабушка Сметанина, которая его воспитывала. Он остался один, и пришлось уже не подрабатывать, как прежде, изредка, разнося письма, а работать. Сметанин перешел в вечернюю школу. Его взяли лаборантом в тот институт, где когда-то работала бабушка. Первое время вечерами Сергей старался миновать дом: после института — сразу учиться. Вечерняя школа была в его прежней школе, и занятия проводились в его классе. Но, сидя за партой в этой до мелочей знакомой комнате, он чувствовал себя другим человеком. Он ли три недели назад пускал здесь бумажных голубей; он ли прыгал из этого окна, со второго этажа в кучу песка каждую перемену; он ли?.. Едва Сергей вспоминал свою совсем недавнюю счастливую жизнь, как она представлялась ему бессмысленной и стыдной, но он жалел о ней. Учился он теперь прилежно, словно первоклассник. Бабушка в больнице, перед смертью, просила его дать слово, что он окончит десятилетку и сделает все, чтобы поступить в институт. И иногда, засиживаясь допоздна с учебниками, он вдруг настороженно вслушивался в тишину — ему казалось, что из кухни по коридору своей шаркающей походкой идет бабушка и вот-вот она войдет в комнату и спросит не терпящим возражения голосом: «Где твой дневник?»

С Валеркой и с Алешей Сметанин виделся все реже, зато Лену Чернышеву встречал почти каждый день. Он звонил ей с работы:

— Звонкая, привет... Пришла с уроков? Молодец... Хочешь в кино? Я веду, у меня день платежа... К тебе?.. А Кира Сергеевна дома? Да не боюсь я ее, просто вчера был, позавчера был — неудобно...

Как-то во дворе дома, где жила Лена, он столкнулся с Валеркой Рыжовым.

— Ну, скоро честным пирком да за свадебку, — усмехнулся Валерка.

Сергей смутился. Он никогда не думал об этом, хотя любая его мысль, даже самая отвлеченная, вся-

кий раз превращалась в мысль о Лене. Он открыл, что у нее необыкновенная улыбка: когда она улыбалась, черты ее лица оставались спокойны, лишь чуть поднимались кончики губ да прибавлялось влажное блеска в глазах. Эта улыбка заставляла его забывать о своем одиночестве; Сергей привык к Лене, к ее голосу, к ее энергичным движениям...

В феврале утром, когда Кира Сергеевна складывала в хозяйственную сумку кипу тетрадей с проверенными контрольными, Лена подошла к ней и решительно, как будто Кира Сергеевна должна была ей возражать, сказала:

— Мы с Сережей решили вместе поступать на геологический... — И она посмотрела на мать своими ярко-зелеными глазами. Кира Сергеевна вздохнула и молча пошла курить на кухню.

Двадцать пятого августа в обитой дубом рекреации геологического факультета Сметанин увидел на доске объявлений в списках первого курса сначала фамилию «Чернышева», выше было напечатано: «Сметанин». На огромном овальном столе, стоящем здесь же, кто-то из абитуриентов делал стойку на руках. Сергей, не дожидаясь лифта, бегом сбежал по лестнице, прошел, поглядывая на свое отражение то в зеркалах, то в мраморе, до вестибюля главного входа, и там из тесной телефонной будки позвонил Лене.

— Все нормально, — сказал он спокойным голосом, — поступили.

И снова жизнь Сергея Сметанина изменилась.

Жизнь состоит из детства, каждодневных горестей и радостей, из непрерывного ожидания счастья и самого счастья — тех несоизмеримо малых в сравнении со всей остальной жизнью мгновений, которые отделяют нас от осуществления желаний. Но иногда, в юности, мгновения счастья бывают длительны — день, два, недели, месяцы. Пьянящая эта пора позволяет почувствовать, что само существование в мире — чудесное счастье. Потом это чувство теряют в тысячах других переживаний; но время от времени оно возникает теплым облаком между сердцем и рассудком, согревая самые холодные дни.

Начало университетской жизни Сметанина было счастьем. Правда, раз в неделю ему приходилось работать ночью на холодильнике мясокомбината, разгребать окаменелые, острые, белесо-розовые бараньи туши; правда, через день он должен был рано утром разносить письма и газеты, но этот заработок и стипендия давали ему возможность легко тратить деньги. В дождливый вечер, выходя с Леной из университета, он мог как бы между прочим сказать:

— Что трястись в сто одиннадцатом?.. Звонкая, поехали на такси!..

И катить с ней в старенькой «Победе» — вдвоем, сквозь огромный освещенный город.

Учеба имела тоже свой особый, связанный с Леной смысл: он ощущал необходимость знать предметы так, чтобы можно было объяснить Лене то, что ей будет непонятно. Кончилось все для Сергея неожиданно и страшно.

В конце февраля был в университете вечер. Лена сказала, что пойти не может, но пришла, и не одна. С ней был незнакомый, пожилой, как показалось Сергею, мужчина лет тридцати. Лена подошла к ним к Сметанину, назвала его. Мужчина протянул руку, Сергей подал свою, внезапно похолодевшую, посмотрел мимо его лица на танцующих, будто отыскивая кого-то и никого не видя. С этого вечера он старался избегать Лену, по-мальчишески желая ей доказать, что может спокойно существовать без нее. Лена была по-прежнему с ним, приветлива, равна, не замечая его нехитрой тактики. Через ме-

ся, когда перед курсовой лекцией в большую аудиторию зашла инспектор из деканата и для проверки устроила переключку, Сметанин удивился, не услышав фамилии «Чернышева». Он обернулся и посмотрел вверх по рядам, туда, где должна была быть Лена. Она сидела, подперев рукой щеку и наклонив голову так, что ее лица не было видно.

В перерыве она осталась на месте. Сметанин быстро поднялся к ней, подсел рядом.

— Привет, — сказала Лена.

— Привет. На нелегальном положении? — спросил Сергей.

Она пожала худенькими под серым свитером плечами.

— Что ж фамилии твоей не называют?

— Я вышла замуж и поменяла фамилию, — сказала она спокойно.

— Поздравляю, — сказал Сергей, встал и медленно пошел по закругляющемуся ряду амфитеатра аудитории, разглядывая, как внизу у кафедры лаборант снимает с доски таблицы.

Зачеты весенней сессии Сметанин кое-как сдал, но на первом же экзамене получил двойку, решил не пересдавать, сразу забрал в деканате тоненькую папку своих документов и через неделю уехал с геологической партией на Вятский Увал.

Еще горели фонари; окна светили оранжевым, желтым, белым. Все было смягчено утренней синевой молодого снега.

Сергей с приятелями вышел во двор и остановился. Он посмотрел на трехэтажный, похожий на огромную русскую печь дом. Сиротливо чернело родное окно.

— Ах, да что там! — махнул он рукой.

— С богом, — сказал Валерка.

Втроем через двор, оставляя на нетронутом снегу четкие следы, они вышли за ворота и пошли по безлюдной улице.

2. Песни перебивали одна другую. Плясали, взвизгивали, поводя руками, две женщины, одинаковые в одинаковых шубках и цветных платках. Хрипая частушка, которую пронзительно выкрикивала одна из них, то и дело прерывалась смехом плотного круга людей.

В стороне стоял молодой гармонист. Склонив голову, он старательно вытягивал мелодию; его серьезно слушали.

— Дайте мне! — закричал Валерка, проталкиваясь к танцующим.

Он вбежал внутрь круга, прошелся около женщин, притопывая, разводя руками, присвистывая.

Сергей зябко поежился: после бессонной ночи ему было не по себе на октябрьском ветру в летнем пальтишке.

— Ну, как я дал! — Валерка вышел к ним, тяжело дыша. — Разминочка!

— Делать тебе нечего, — сказал Алеша.

— У, индюк, представляю, тебя бы провожали...

То, что жизнь Сергея менялась так круто, делало и для Валеры с Алешей сегодняшнее утро рубежом, отделяющим прошлое от будущего.

Рядом с тремя сверстниками, которые сильно, не в лад били по струнам гитар, стоял, отвернувшись от них, высокий парень в коротком, не по росту кафтане. Он плакал, всхлипывая.

— Ну, Митенька... Будет, Митенька, — говорила ему мать, маленькая пожилая женщина, — подумаешь, остригали... отрастут снова... и будешь опять красивым...

Она крепко держала сына за рукав ватника, глядя на него снизу вверх; слезы текли по ее щекам.

Еще вчера утром, когда парикмахер стрекочущей машинкой бездушно выкосил первую полосу в Митиных каштановых кудрях, Митя Андреев понял, что в мире что-то рухнуло. Он смотрел в зеркало на свою обезображенную голову, на оттопыренные уши и пытался найти то красивое, как он всегда думал, прежде свое лицо. Но из зеркала синими глазками гляделся в него страдающее некто с длинноватым, пожалуй, и чуть искривленным носом, с девичьим маленьким ртом, с первой морщинкой на лбу. Парикмахер не говорил ни слова утешения, лишь толстыми теплыми пальцами наклонял в разные стороны Митину голову.

«Проклятый парикмахер», — подумал Митя и, уходя, изменил своему шикарному правилу оставлять на сером мраморе подзеркальника чаевую мелочь.

От конца тупика, от железных зеленых ворот, за которыми виднелось приземистое здание казармы, рассекая и прерывая звуки музыки, пение, смех, плач, зычно разнеслось:

— Станови-ись!

С некоторой заминкой в каждой отдельной группе людей происходило одно и то же: молодой парень с рюкзаком или чемоданом отходил от провожающих и шел к зеленым воротам, где стоял веселый полный майор со списком в руках.

— Строиться, строиться, товарищи призывники! — повторял он.

У ворот выстроилось пятнадцать человек. Почти все были в ватниках; это уже напоминало какую-то форму.

— Команда — всего ничего, а будто полк провожают... Каждый раз одна и та же история, — сказал майор, строго глянул на неровную шеренгу призывников, сделал четкий шаг вперед, щелкнул каблучками и одновременно выкрикнул: — Становись!

Митя, как самый высокий, пристроился к майору слева, к нему подстроились по росту, долго менялись местами остальные.

— В трех соснах запутались, молодцы, — сказал майор и, скомандовав «смирно», вышел на середину перед строем. — Переключка... Андреев... Дмитрий... Он посмотрел на ребят поверх бумаги, которую держал в руках.

— Здесь, — ответил самый высокий.

— Надо отвечать: «Я».

— Я, — повторил Андреев.

— Вот так лучше...

Из толпы выбежали двое: худенький, стройный парнишка, совсем подросток, и с ним девушка. Они держались за руки. В свободной руке у паренька была спортивная сумка.

— С супружницами не берут! — закричали с левого фланга.

Толпа и строй оживились.

Майор оглянулся. Двое стояли между гудящей толпой и шеренгой. Паренек обнял девушку, покружил, поставил на землю, взял ее лицо в ладони, поцеловал и, повернув ее за плечи, слегка подтолкнул к толпе, а сам побежал в строй. Майор проводил его взглядом.

— Васильев.

— Присутствует...

— Отвечайте как положено.

— Я!

— Сметанин... Сергей! — выкрикнул майор.

— Я, — сказал Сергей.

— Ярцев... Валентин...

— Я, — сказал тот, что прибежал последним.

Сметанин посмотрел на неестественно веселое, побледневшее лицо Ярцева, и чувства, которые он пытался скрыть, мгновенно передались Сергею. Он представил, что его провожает Лена, что он расста-



ется с ней на три года, что это она стоит потерянная, заплаканная среди чужих людей. Сергею показалось, будто он давно знает этого Валентина и дружен с ним.

Валя Ярцев родился, когда его отцу было сорок, а матери — тридцать восемь лет. Сестра была старше его на целую вечность — на двадцать лет. Отец, мать, сестра — все работали на опытном заводе при одном из институтов. Отец был слесарем, каких немного. Рабочих такой квалификации называют профессорами. Иногда замыслы целой лаборатории держатся на умении одного рабочего воплотить чужую мысль во что-то вещественное. Обычно к нему приходили с приблизительными чертежами и иногда толково, а иногда путано объясняли, что требуется сделать. Случаи, когда он не мог выполнить заказ, были редки. Но с годами все больше и больше росло в нем чувство досады оттого, что он сам не умеет придумывать эти чертежи. Несколько раз он пытался взяться за высшую математику, но одолеть уже не мог. Друзья недоумевали: зачем такому мастеру заниматься не своим делом? Наконец, он сам понял, что из его учебы толка нет, и решил: учиться будет сын.

Ах, как любил он сына, с того самого дня, когда принесли они с женой крошечное существо — мальчика! — из роддома, не домой, а в подвал бомбоубежища. Все умиляло его в сыне: пухленькие ручки и ножки, агуканье, первые зубки. На заводе приходилось и ночевать. Война разгулялась по всему миру: под Смоленском погиб его брат, в Керчи — муж дочери. А в квартире старого дома на Крестьянской заставе ползал по дивану мальчишка, едва держа голеньку.

Дочь второй раз замуж так и не вышла — Вальку воспитывали втроем. Каждую субботу вечером собирались и говорили о его отметках: классная руководительница — женщина неплохая, но Вале уделяет мало внимания... математичка поставила тройку за контрольную, а не решен всего один пример... В школу ходила сестра Вальки Ярцева, и ее характера побаивались и завуч и директор. Учился Валентин в общем неплохо; ожидали серебряной медали, но вдруг в десятом классе он заявил, что хочет жениться на соседской девочке Светке Малышевой, толстенкой и круглоглазой. И хотя Валька уступил настояниям родителей, окончил десять классов, но, едва получив аттестат с двумя тройками, по химии и биологии, ударился в самостоятельную жизнь — пошел работать на завод, на отцовский опытный завод. Отцу стыдно было глаза на людей поднять: говорил, сын станет инженером, ученым, а он ученик слесаря Ваньки Лепихина, который и слесарь-то — так себе, больше языком... Стыдно... Но жениться все-таки Валька не успел... Правда (в отместку, что ли?) запретил себя провожать родителям... Отец с матерью приехали на призывной пункт, но стояли в стороне, мать плакала...

Майор откашлялся, тщательно сложил список, пошел вплотную к шеренге и строго спросил:

— Водку, надеюсь, не прихватили?

— От нее, заразы, одни беды, — хохотнул Градов, краснощекий здоровяк, стоявший рядом с Сергеем.

— Вот вы, — кивнул на него майор, — покажите ваши вещи!.. Бывает, склад винный волокут... Приходится ликвидировать...

Градов, добродушно улыбаясь, открыл чемоданчик.

Рассвело. Погасли фонари. В воздухе засновали редкие снежинки. Подошла машина, крытая полуптор-

ка. Глухо забренчали гитары, женские голоса надсадно и недружно затаили «Подмосковные вечера».

Шеренга призывников снова смешалась с толпой. — Товарищи призывники! По машинам! — закричал майор.

— Как дышится? — спросил Алеша, сильно хлопая Сметанина по плечу.

— Нормально, — ответил Сергей.

Оттого, что он хотел сказать это небрежно, а получилось натянуто и сквозь зубы, оттого, что Алеша усмехнулся, он ощутил томительное сожаление о своей судьбе и зависть к остающимся.

В кузове машины были положены поперек оструганные доски. Сергей залез одним из первых и забился в угол.

Дурманно пахло бензином. Было холодно.

— Не баловать, — подходя к машине, сказал майор и погрозил пальцем, — и не курить! Ты старший, — кивнул он Андрееву.

Машина развернулась и медленно поехала сквозь толпу. Замелькали кричащие, смеющиеся, плачущие лица. Шофер дал газ.

Миновали окраину. Запестрели старые и новые дома, вывески, люди, мелькнула между домами рубиновая буква «М».

— Спеть, что ли? — сказал Градов и, откинув голову, завел чисто и высоко: — Прощай, любимый город. Уходим завтра в море. И ранней порой...

Его голос, протяжность песни словно увеличивали и сводили воедино чувства, вызываемые томительным ожиданием неизведанной жизни, от которых хотелось отмахнуться вином, беспечностью, лихостью.

— Ты с кем прощался? — спросил Сметанин Ярцева.

— Так... Знакомая...

Через центр машина выбралась к противоположной окраине Москвы и остановилась у кирпичного нескладного дома. Открылись ворота; машина въехала во двор.

— Слезайте, граждане, приехали — конец... — пропел кто-то.

Запрыгали из кузова на землю, отбивая затекшие ноги.

— Что ж без команды? — вылезая из кабины, недовольно сказал майор.

Он ушел и быстро вернулся с высоким подполковником, затянутым в ремни. Казалось, что подполковник все время улыбается, но это подобие улыбки происходило от асимметрии щегольских усов: левый ус был короче правого.

— Становись! — скомандовал майор.

Построились. Подполковник проверил всех по списку еще раз.

— Среднее образование, шаг вперед, — сказал подполковник.

Ярцев, Сметанин и Андреев вышли из строя.

— Так, — сказал подполковник. — Семь классов и более...

Кроме Градова, все шагнули вперед.

— Что у вас?

— Высшее шестиклассное, незаконченное, — отпартовал Градов.

— Сойдет, — сказал подполковник. — Моя фамилия Мишин. Если доведется, послужим вместе... Еще вопрос. Надеюсь, знаете: войска воздушнодесантные... Прыжки у всех есть?

— У всех...
 — Прыгали...
 — Товарищи призывники, — сказал майор. — Отставить шум... Неудобно...
 — Я не прыгал, — сказал Сметанин.
 — Не боитесь? — шагнул к нему Мишин. Сергей пожал плечами. — Если я прыгну, за мной прыгнете?
 — Наверное...
 — Отлично... Сейчас все на второй этаж. Там у нас зал ожидания. Потом санпропускник; в пятнадцать ноль-ноль — посадка в эшелон. — Подполковник повернулся и пошел к кирпичному дому.

3. Цепочка голых парней стояла перед дверью, где проходил медосмотр. Тянуло по ногам холодом; на телах высыпали пупырышки гусиной кожи. Каждый держал в руке остроребристый кусок мыла; после осмотра шли в душ.

— Куда повезут?
 — Военная тайна... Говорят, в Эстонию...
 — На юг была бы лафа...
 — Иди ты, на юг... Жара! Охота маяться...
 — Следующие двадцать, — сказал из-за дверей скучный голос. Сметанин и Ярцев вошли с этой двадцаткой.

В просторной комнате за рядом столов сидели члены медкомиссии. В самом конце Сергей увидел молодую женщину в белой шапочке набекрень. Хотя казалось, не было ничего особенного в том, что в медкомиссии была молодая женщина, но кокетливая шапочка, ярко накрашенные губы, безразличие, с которым женщина смотрела на голых молодых парней, раздражали Сергея. Подходить к этой женщине ему было неприятно, словно кто-то его оскорблял и он был беззащитен.

По огромной, облицованной коричневым кафелем душевой ходило уже человек сто. Не давали воду. В ожидании ее слонялись сонные, перебрасывались словами. Пахло потом.

В узкие, замазанные белым окна слабо проникал дневной свет...

Вода хлынула вдруг, звонко забила по кафелю. Все оживились, зашумели.

Градов кричал:

— Я не дурак хмель выгонять, за него уплачено!..
 — На копейку выпил, а куражу на рубль! — Кто-то плеснул в Градова водой.

На перроне за рядами пакгаузов были выстроены четыреста призывников. Валил густой мокрый снег.

— Митинг, посвященный проводам молодых москвичей на службу в Советскую Армию, разрешите считать открытым... — услышал Сметанин.

— Ура-а-а! — подхватили недружно по рядам.

— Снега сколько... Будто февраль, — сказал Ярцев Сметанину.

— Слово — представителю городского комитета комсомола товарищу Васильеву.

Вышел молодой человек в каракулевой шапке пирожком.

— Товарищи молодые москвичи! Сегодня мы провожаем вас в ряды нашей армии...

— Сам послужи! — услышал Сметанин голос Градова.

— ...и мы надеемся, что вы не посрамите чести столицы!

— Слово предоставляется воину-ветерану генерал-майору в отставке товарищу Алфимову.

Перед строем встал невысокий человек в долгополой шинели без погон; он снял серую красную папаху.

— Отец! Шапку надень! Простынешь! — закричал Градов.

К шеренгам подбежал молоденький офицер, вглядываясь, кто кричал.

— Друзья! В суровую минуту мы, ваши старшие товарищи, отстаивали независимость Родины. Будьте достойны тех, кто слесжил голову, спасая мир от фашистской чумы...

В отдалении просигналил коротко и басовито маневровый.

Грянул оркестр.

— По вагонам!.. — раздавалась многократно повторенная команда.

4. По обеим сторонам теплушки были встроены в два этажа широкие нары. В середине, прямо против двери, стояла круглая печка-буржуйка; рядом с ней — куча антрацита. В теплушке был полумрак; пахло сеном, постеленным на нарах.

— Не могли пассажирского подать... — ворчал Градов.

Он был недоволен разбавлением; при посадке он, Ярцев, Сметанин и Андрей оказались последними, им достались места на нижних нарах, — сквозь щели между досками сверху сыпался древесный сор, сено, труха.

Сергей лег у самой стены, желая одного: скорее бы тронулся состав.

В открытую дверь вагона заглянул подполковник Мишин.

— Как дела, Иванов? Готовность номер раз...

— Порядок, товарищ подполковник, — ответил старший по вагону сержант Иванов, привставая у печки, в которой он уже начал было разводить огонь.

— Какой же это порядок — сам печкой занимаешься? Дневальных назначь, чтоб все как положено... На стоянке приду проверю...

Подполковник отошел.

— Дневаль кто желает? — спросил Иванов. — Али назначать?..

— Али, али... — передразнил Градов. — Мы присягу не принимали, сам дневаль.

На нарах засмеялись.

— Грамотные, — сказал Иванов и сел возле печки.

Иванова призвали в армию на два года позже срока; прежде он был объездчиком в лесничестве Калининской области. Его участок считался самым глухим. Из своего дома, с окраины маленького поселка, он добирался туда обычно на лошади верхом, а зимой — в санях. За пять лет работы нашел он на каждую пору года свою дорогу на участок. Зимой — самую короткую — по большаку, а потом налево, через озерца и болота; зиму он не любил: надо было одеваться в полушубок и валенки, брать тулуп, ружье (шалили волчишки); зимой и недозволенные рубки случались чаще, а это значило — ругань и тягостные разговоры с людьми, которых он знал и которые браконьерили больше от недостатка, чем от баловства. И в распутицу, осенью или весной, старался он ездить короткой дорогой — тем же большаком и дальше насыпью узкоколейки, которую неизвестно когда и зачем пытались тянуть сюда.

Другое дело — лето! С середины мая просыпался он с петухами, веселый и легкий; седлал хитрую пегую кобылу, тяготившуюся упряжью и железом в зубах; совал в полевую сумку заготовленные ма-

терью с вечера бутылку молока, тройку яиц, несколько вареных картофелин, полбуханки серого хлеба; подводил лошадь к завалинке, становился на бревно и прыгал в седло. Поселок он объезжал задами и сразу попадал в сосновый бор; отсюда началось радостное спокойствие его сердца; чтобы его не нарушить, он ездил такими тропами и просеками, где меньше всего можно было встретить людей. Лошадь мягко ступала по сырой дороге, иногда приостанавливаясь и вздыхая. Он трогал ее тугие бока яловыми премиальными сапогами, и она трусила дальше, вслед захлебывающемуся стрекоту сороки.

Особенно любил он то место долгого пути, где межевой глубокой ямой екатерининских времен кончался участок соседа и за робко голубеющими льнами темным ельничком начинался его лес.

Был Иванов невысоким ростом, мелковат лицом, сухие русые волосы рассыпались надвое; и, глядя на него, не угадывалось, что для такого человека было обыденным делом возвращаться домой в зимних сумерках под волчье завывание.

Себя он считал мужчиной солидным, в возрасте, потому что зарабатывал для семьи с тринадцати лет.

Пока двое суток формировался эшелон и ждали команду новобранцев, он выпросил увольнительную и пошел смотреть Москву. За двадцать два года жизни Володя Иванов впервые попал в большой город. От множества людей, от непрерывного движения, когда ему казалось, что движутся не только люди и машины, но и дома и асфальт улиц, от шума у него разболелась голова. Он вернулся назад к вечеру и долго не мог заснуть в теплушке, прислушиваясь к постоянному ровному городскому гулу. Он устал незнакомой усталостью, но находил в ней удовлетворение — Москва была действительно столицей из столиц.

Новобранцы, которых везли в полк, вызывали в нем любопытство.

«Что ж это за люди, которые живут среди этой толкотни и шума?» — думал он, поглядывая в темноту нар, где лежали его подопечные.

Лязгнули буфера. Состав хрустнул.

— Прощай, столица!

— Куда экспресс следует, сержант?

— Прибудем, узнаете.

Поезд загрохотал на стыках окружного моста перед Ленинскими горами. В приоткрытой двери вагона замелькали черные липы заснеженного Нескучного сада.

...Сергей отвернулся к стене. «В феврале мы с Ленкой шли по этому мосту на каток... в Лужники. И два локомотива тянули состав... Может быть, там тоже сидели солдаты... Мне было наплевать, кто там и что... Я смотрел, как она зажала ладонями уши, смеется, что-то кричит мне... Ничего не было слышно — сплошной грохот... Что она тогда кричала? Нескучный проехали... Здесь я бегал совсем маленьким... Белый бизон стоял среди кустарника... Мы кидали в него снежки... Это уже не повторится... ни бизон, ни Ленка...»

...Жгучее желание вернуться одолевало Ярцева. Он представлял себя выпрыгивающим из вагона, идущим по рельсам назад; видел Свету, она пришла домой... «Плачет? Наверное, плачет... Что плакать? Ну, уехал... Пойдет завтра на работу, встретит Мишку Шутова, тот позовет в кино; что ж не пойти, если картина интересная...» Ярцев вспомнил, как Света, когда он еще в начале их знакомства приглашал ее в кино, наклоняла светло-русую, с тяжелым узлом

косы голову, словно украдкой взглядывала на него и говорила: «Хорошо...»

Ярцеву стало неловко молча лежать на нижних нарах, слушая, как кто-то ворочается наверху, как негромко поют в другом конце теплушки. Он тронул Сметанина за плечо:

— Спишь?..

Сергей сел на нарах.

— Ночь не спал, а спать не хочется...

— Слушай, почему ты подготовки не проходил, не прыгал?

— Некогда было... Учился в университете... весеннюю сессию завалил — выгнали... Подался с геологами в поле на сезон... Вернулся в Москву — повестка...

— И вот пришла ко мне повестка, — запел Градов, — на бумаге... Явиться в райвоенкомат...

— Ну и дурак, — с солидным добродушием сказал Андреев и добавил назидательно: — Сейчас образование — кусок хлеба, да еще с маслом...

— Сам ты с маслом, — презрительно протянул Градов. — У нас в квартире сосед... Вернусь, он, может, уже кандидатом наук будет... Так он сейчас меньше меня выколачивает... Понял? А я работаю... Понял?... Он подмигнул Андрееву и снова запел своим приятным голосом: — Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка...

Недавно, каких-нибудь четыре года назад, Николай Градов приехал в Москву. До этого он жил под Вологдой в деревне. В столицу его вызвал старший брат, который после службы в армии работал в Москве на стройке. Он был хорошим каменщиком — это от отца-печника — и ловким человеком: быстро стал бригадиром, быстро, как он выражался, «охомотал» молодую вдову с приличной комнатой в коммунальной квартире и быстро смекнул, что если прописать в Москве родственников, то можно будет встать на очередь в райжилотделе и получить новую отдельную квартиру. Первой приехала мать, она стала хлопотать по дому; потом он устроил на стройку сестру и прописал ее у себя... Настала очередь Коли. Старший брат сам приехал за ним в деревню, до драки разругался с отцом, но все-таки мальчишку увез. В Москве Коля Градов начал было учиться в ремесленном, да соскучился и ушел на стройку в бригаду брата. Рубли шли ему богатые, жена брата за квартиру вычитала с него по-божески да еще следила, чтобы каждый месяц он откладывал деньги на сберегательную книжку. Справили Коле два костюма: один шили в обычном ателье, другой — в ателье высшего разряда. Все было бы хорошо, но, словно заяц беляк, не успевший к лету сменить масть, чувствовал себя в городе Николай Градов неуверенно. Так часто бывает с людьми, особенно с молодыми, которые внезапно попадают из одной среды в другую. Если в деревне отец учил его, что зарабатывать надо честно и дело делать хорошо, потому что ты мастер и только за это тебе будет уважение от народа, то жена брата, работавшая кассиршей в овощном магазине, говорила, что покупатель — дурак и недодать ему копейку сам бог велел и уважают человека только за лозь...

Брат ей поддакивал.

— Вот и Москва кончилась, — прошептал рядом со Сметаниным Валя Ярцев.

— Ничего, — шепотом ответил Сергей. — Мы еще вернемся...

— Мне так не хочется уезжать... А вдруг война?

— А вдруг состав с рельсов сойдет...

— Смеешься...

— Да нет... Мне самому не очень-то весело... надо заставлять себя верить, что все будет хорошо...

— У меня не получается, — вздохнул Ярцев.

Услышав его вздох, Сметанин сказал, стараясь быть убедительным:

— Может случиться, что ты в отпуск съездишь, а то и пару раз...

— Ты никого не оставил в Москве? — спросил Ярцев.

— Вроде бы нет...

— Тебе легче... Ну, поспать, что ли... Ехать еще долго...

— Спать, — сказал Сметанин.

Проснулся Сметанин от тишины. Вдоль состава шел ремонтный рабочий, постукивая крышками буксов. В вагоне было жарко. Раскаленный цилиндр печки светился; по всей его поверхности вспыхивали светлячками и гасли пылинки. Сержант Иванов в шинели с поднятым воротником сидел у печки на перевернутом ведре. Глаза его были закрыты; лицо казалось грустным.

5. Поздним вечером состав остановился. Снаружи отодвинули дверь. Веселый голос прокричал:

— Здорово, земляки!

В теплушку метнулся луч фонаря.

— Здорово, — сонно ответили с нар.— Фортепьяно закрой! Дует...

— Подъем, гвардейцы! — закричал тот же голос.— Прибыли!

Сметанин выпрыгнул из вагона, огляделся.

Из вагонов полетели на землю рюкзаки, чемоданы, вслед им выпрыгивали призывники. Раздались слова команд. В голове состава оркестр заиграл марш.

Сметанин подошел к военному, который открыл дверь, глянул на его погоны:

— Товарищ майор, нас куда привезли?

— Энк... Медленно высадка идет...

— Это ж от Москвы километров четыреста...

Майор посмотрел на Сметанина.

— Вы старайтесь о Москве поменьше думать... Легче будет...

Из ворот товарной станции вышла темная колонна, по шесть человек в ряду; с глухим шумом колонна втянулась в первую городскую улицу. Улица была узка. Крайним фланговым приходилось идти почти впритирку к глухим заборам. Остервенелый лай собак несли вслед колонне. Шагая между Андреевым и Ярцевым, Сметанин пытался представить, как пойдет его жизнь дальше. Он почему-то видел себя морским офицером, с кортиком, в фуражке с красным.

После недолгого стояния на полковом плацу под холодным звездным небом призывников повели в баню.

В теплом банном тумане перекликались, как в лесу, пели, плескались холодной водой, швыряли друг в друга мочалки, барабанили по днищам пустых шаек.

— Хорошо бы нам с тобой вместе служить, — сказал Ярцев.

— Как тут подгадывает? — спросил Сметанин.— Хорошо бы, конечно...

В спину ему попала мочалка.

— Больно, — сказал Сметанин, с разворота швыряя в теплый туман свою.

II

1. Две влажные сливы смотрели на Сметанина. Слив были веселые.

— Ты кто? — спросил Сергей шепотом.

— Расул...

— Гамзатов, что ли?

— С ума, сошел... Гамзатов... Гамзатова не знаешь?! Магомедов я...

— А чего подъем задерживают?

— Не «чего», а «что» надо говорить; москвич называется...

— А ты откуда?

— Из Амишты...

— Что это за Амечта?

— Амишта! Селение в Дагестане... Мы уже здесь неделю. Все говорят, что москвичей привезут, вот привезут... Привезли вчера... Шумный вы народ, надо сказать. У меня ученики так не кричат...

— Ты учителем был?

— Был... Разве учитель — плохо?

— Они у меня еще со школы в печенках сидят.

— Интересно знать, где у них ты...

Сергей хмыкнул.

— Это верно... Что ж подъема нет?

— Столичным жителям дают поспаться... берегут...

Сметанин привстал и огляделся.

Большой двусветный зал был сплошь заставлен койками. Оставался только проход посередине и узкие проходы у окон. Койки были двухъярусные (ножки верхних кроватей вставлены в спинки нижних). Свет снежного дня за окнами был ослепителен. На соседней койке голова к голове со Сметаниным лежал Ярцев. Сергей провел ладонью по его стриженной голове.

— Я не сплю, — сказал Ярцев; он перевернулся на живот и протянул Магомедову руку между синими прутьями спинки кроватей: — Валентин...

— Расул...

— Давно здесь? — спросил Ярцев.

— Целую неделю... Холодно.

— Третья карантинная рота, подъем! — раздалось от дверей.— Подъем, рота!

— И долго мы еще в карантине проторчим? — спросил Сметанин.

— Говорят, месяц, — быстро проговорил Магомедов, скидывая одеяло и соскакивая на пол.

Он был невысок, с очень широкими для его роста плечами. Дома, в ауле, два года назад Расул выписал через почту польскую книжку о культуризме. И каждый день по утрам со свойственной ему настойчивостью он уходил по тропинке в долину, в персиковый сад, пряча в портфеле от глаз учеников и стариков пару тяжелых гантелей. Однажды женщина, которая шла к роднику по той же тропинке, проследила за ним. Вечером старики на площади у магазина уже покачивали укоризненно вслед ему белыми папахами, а мать, подавая ужин, спросила, поджав губы: зачем делает он семью посмешищем аула? Расул знал, кто разнес весть о его занятиях гантелей гимнастикой, — соседка. И так люди говорили, что он слишком молод для учителя, а тут еще гантели. На другой день он сгорая, за кляксу в тетради, поставил двойку дочери соседки, малышке Айни, и она заплакала так горько, прижимаясь лицом к парте, что он тут же зачеркнул эту жирную двойку, так как не мог видеть плачущих детей...

— Здесь почему тянут? — услышал Сметанин, и одновременно с него сдернули одеяло.— Вас что, команда не касается?

Сергей повернул голову и узнал сержанта Иванова — сопровождающего.

— Отцепись! — раздался голос Градова с нижнего яруса.

— В армии не дома, — сказал Иванов. — А еще мо- сквичи...

Он хотел отойти, но подумал, что, если уйдет, вслед ему станут смеяться, а командирский авторитет — главное для сержанта, это он запомнил крепко еще в сержантской школе.

— Сам поднимусь, — сказал, позевывая, Градов.

— Подъем! — Иванов осторожно дернул одеяло Градова.

Градов подтянул одеяло к себе.

Сметанин, отжавшись на руках, прыгнул на пол.

— С такой высоты во сне свалиться можно, — усмехнулся Сергей, обращаясь к Иванову; ему казалось неудобным стоять в нижнем белье перед одетым человеком.

— Койки какие есть, — сказал Иванов нахмурясь и пригладил рукой свои рассыпающиеся волосы. — Одевайтесь, одевайтесь, — прикрикнул он на Сметанина, не глядя на него.

Сметанин пожал плечами и стал натягивать на себя полученное ночью в бане обмундирование: шаровары, которые он раньше называл галифе, гимнастерку...

— Подъем! — Иванов сдернул с Градова одеяло.

Через полчаса карантинная рота — подразделение новобранцев, в котором они находятся некоторое время отдельно от старослужащих солдат, — сидела в гулком и светлом зале полковой столовой.

На огромных окнах мороз раскатал серебряную фольгу; солнечный свет проникал сквозь нее рыжим сиянием. В зале пахло свежей краской и гречневой кашей.

Над обитыми жестью амбразами — откуда из кухни выдавали горячее — висели две картины. На одной в окружении солдат на привале Теркин, другая была натюрмортом: неестественно сочный плоский арбуз, его, казалось, должно было хватить на всех в зале.

За столом, указанным сержантом Ивановым, разместилось двадцать человек. Длинные столы и скамьи к ним напоминали школьные парты. Клеенка была новой — пахучей и липкой.

— Трое со мной на заготовку, — сказал Иванов.

— Я! — крикнул Градов. — Можно, я?

Через минуту он вернулся, неся связку ложек.

— Сейчас масло принесу, — заговорщически шепнул он Сергею.

В голосе его была значительность, словно масло было главным делом их новой жизни.

В столовой стоял вокзальный шум; одни кричали о нехватке ложек, другие вынимали из свертков свои домашние припасы, третьи перекликались через зал, узнавая знакомых.

Вдруг невзрачный с виду майор прокричал громовым голосом:

— Карантинная рота! Встать!

Начали подниматься. Шум пошел на убыль. Майор дождался, пока все окончательно стихнет.

— Столовая — не трактир! Прекратить разговоры!

Кто хочет шуметь — милости прошу на улицу...

С грохотом сели.

Заготовки принесли стопки алюминиевых мисок, два тяжелых металлических бачка с дымящейся гречневой кашей, разделенное на порции желтое масло, буханки теплого белого хлеба, чайник с кофе.

— Это каждый день так кормят? — отпивая кофе

из зеленой эмалированной кружки, спросил Сметанин у сержанта Иванова, который примостился рядом с ним на конце лавки.

— Пицца такая же. Только по первой хватать не будет.

— Что так?

— Тактика начнется — азарт к еде наживешь, барана будет мало...

Сметанин смотрел на своих новых товарищей.

«Неужели и у меня так топорщится гимнастерка? И я так же изменился со вчерашнего дня? Я стал солдатом... Теперь это надолго... на три года...»

Ему казалось что все три года будет, как сейчас, зима.

2. Устроились удобно. Вся карантинная рота сидела на табуретках в проходе, а они — Сметанин, Ярцев, Магомедов, Градов и Андреев — примостились на градовской койке нижнего яруса.

— Вот ведь дети собрались... Вот дети, — приговаривал Митя Андреев. — «Правда ли, что срок службы сократят?» Кто им такое скажет?.. Уши вянут слушать...

— Закрой уши, — сказал Расул, — чтобы не завяли...

Андреев вспомнил, как оттопыриваются у него уши, и покраснел.

— Ты на что намекаешь? — спросил он вызывающе.

— Дай послушать, — сказал Градов.

Собрание шло уже целый час. В конце прохода, у дверей, за столом сидели офицеры: майор — начальник парашютнодесантной службы полка, или сокращенно начальник ПДС, майор — врач, капитан — хозяйственник и замполит полка — майор Кудрявцев, тот офицер, с которым Сметанин разговаривал у вагона в день прибытия. Время от времени он поднимал руку, привставал, говорил:

— Тише, товарищи... тише... Вот что вы хотите спросить?..

— Товарищ майор, в увольнения когда пускать будут?

— Да, да, в увольнения...

— Об отпусках и увольнении вам еще рано думать. О каких увольнениях может сейчас идти речь, когда многие из вас в расположении части проявляют элементарную невежливость: не приветствуют офицеров...

— Да мы научимся! — крикнули из зала.

— Ну, вот и сейчас! Неужели вы не знаете, что старшего по званию перебивать не положено... даже на собраниях? Это армия... Только не думайте, что армия — другая планета... Конечно, своя специфика, но, как и в гражданской жизни, здесь все зависит от самого человека...

— Специфика, — подтолкнул Ярцев Сметанина.

— Есть ли среди вас коммунисты? — Майор Кудрявцев обвел взглядом сидящих перед ним солдат. Подняли руки пять человек.

— Не густо дала нам столица, — сказал Кудрявцев.

— Молодые еще...

— А комсомольцы?

Почти все подняли руки.

— Вот и ладненько, с сознательным народом легче.

— Я в армии обязательно в партию вступаю, — сказал Андреев.

— Почему обязательно? — спросил Сметанин.

— Для уверенности в жизни...

— У меня отец осенью сорок первого вступил... Это я понимаю! — сказал Ярцев.



3. На вечерней проверке стояли повзводно в проходе между койками. Сержант Иванов строго осмотрел строй взвода и пошел в конец зала, туда, где принимал рапорты старшина карантинной роты.

Вопреки команде «смирно» те, кто стоял во второй и третьей шеренгах, начали быстро распускать брючные ремни, расстегивать пуговицы. Делалось это для того, чтобы по команде «отбой» можно было быстрее снять обмундирование, аккуратно сложить его на табурете, повесить портянки на голенища сапог и броситься в постель.

Раздеться надо было за сорок секунд, утром на одевание давалось тридцать пять; те, кто не укладывался в это время, должны были тренироваться.

Сметанин к отбою не готовился.

«Сейчас — спать; целый день ждешь... Как долго тянется поверка! И зачем только каждый раз пересчитывать людей?.. Отбой... и все тут...»

Иванов остановился перед взводом.

— Вольно! — Он поддернул рукав гимнастерки, посмотрел на часы и, не отрывая от них глаз, тихо сказал: — Взвод, отбой...

Загрохотали сапоги, замельтешило зеленое, белое...

— Время! — крикнул Иванов.

— Готова дочь попова! — укутываясь одеялом, пропихнул Градов.

— Был отбой, — сказал Иванов, подходя к Сметанину. — Вы почему каждый раз копаются?

Сметанин, не отвечая, продолжал укладывать обмундирование на табурет.

Сергею не нравился Иванов, его неопределенного цвета глаза, сутуловатость при невысоком росте, его слегка косолапая походка; спокойствие сержанта казалось Сметанину безразличием; когда же Иванов, краснея, повышал голос, Сергей думал: «Злой парень». Но именно оттого, что парень был в его глазах злым, Сметанину хотелось ему сопротивляться.

— Сметанин, отставить отбой! — сказал Иванов и отвернулся, чтобы солдат не заметил обиду на его лице.

Он не понимал, почему солдаты, вызывавшие в нем уважение за одно то, что они были москвичами, ведут себя по отношению к нему с насмешливой дерзостью. Под их взглядами он чувствовал себя неуклюжим... Чего проще — быстро раздеться, лечь, уснуть; ему гораздо труднее быть все время на виду, заставлять себе подчиняться... Но ведь делает он это каждый день...

«Нарочно тянет, — подумал Иванов о Сметанине. — Дразнит меня...»

«Начинается... — почувствовал Сметанин. — Глупо!.. Человечество скоро пошлет людей в космос, а здесь играй в этот «отбой»... Ужасно!..»

— Товарищ сержант... — начал он было.

— Поменьше рассуждай! — прервал его Иванов. — Шире шаг одеваться...

— Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! — Градов сел на кровати и подмигнул Сергею.

Сметанин медленно натягивал шаровары.

«Делает Иванов из меня посмешище... Командир, двух слов связать не может...»

Едва он оделся, Иванов скомандовал:

— Отбой!

Сергей не спеша стал раздеваться.

— Чего ты с ним цацкаешься, — подошел к Иванову сержант соседнего взвода, — подними парней, пусть они его коллективом воспитывают, такого фон барона!..

— Ежели ваньку валять станешь, взвод подниму. — Иванов обернулся к подошедшему сержанту, своему

товарищу, словно говоря: «Видишь, что за люди мне достались...»

— Вы мне не тычьте, это ведь не положено, — тыкать! — Сметанин одернул гимнастерку и, заложив руки за спину, отвернулся от Иванова.

— Уже и устав знает! — Товарищ Иванова усмехнулся.

— Взвод! Подъем! — закричал сержант Иванов.

— Делать, что ли, нечего...

— Другие взводы уже спят...

Было непонятно, к кому относится это ворчание — к Сметанину или к сержанту Иванову.

— Что здесь происходит? — спросил, подходя к Иванову, пожилой старшина карантинной роты.

— Недовольство проявляют...

— Кто да кто?

— Вот рядовой Сметанин...

— Вы Сметанин?.. За пререкания со старшим по званию объявляю вам два наряда вне очереди.

— Учить надо людей; наказать легче всего, — негромко сказал Расул. Он стоял между кроватями в нижнем белье, сжав кулаки.

— Как фамилия? — спросил старшина.

— Рядовой Магомедов.

— И вам, рядовой Магомедов, два наряда вне очереди за болтовню после отбоя... А вы, Иванов, поэнергичнее... Детский сад здесь не разводите...

— Есть два наряда вне очереди!

— Ну, чего ты добился? — шепнул Сметанину Ярцев. Они уже лежали на кроватях, слыша отовсюду то посапывание, то храп. — Завтра вместо личного времени пойдешь уборную драить...

— Раз есть сортир, должна быть и золотая рота, — позевывая, сказал Сметанин. — Тебе, конечно, личное время необходимо — писать письма, а мне от него толку мало...

— Тише, — сказал Ярцев. — Я не о том... Ты же не собираешься три года вести такую войну...

Ярцев боялся, что Сметанина из-за пререканий с сержантом куда-нибудь переведут и только-только завязанная дружба оборвется. А ему так этого не хотелось. Дома он привык к тому, что есть отец — человек, к которому можно в крайнем случае обратиться и который всегда поможет. Невольно и в дружбе он искал такой же опоры.

— Спи, Валя, — сказал Сметанин. — Спи...

«Он считает, что я нарочно извожу сержанта... А мне об Иванове и думать не хочется... Главное, себя не терять... Впрочем, если бы я был командиром, возможно, и я бы старался приводить подчиненных к одному знаменателю...»

4. Синяя лампочка-ночник горела у входа. Сергей не видел ее, лишь свет над койками. Ему казалось, что брезжит утро.

Было душно. Кто-то вскрикнул во сне.

«Что же будет? Почему я обязательно должен подчиняться этому сержанту, этому старшине? Я не хуже их... Не надо меня учить!.. Я жизнь знаю... И раньше ведь учили... В детском саду учили, в школе учили, в университете... Кажется, хватит...»

Сметанин чувствовал себя человеком, который уже прожил лучшие свои годы и которого на исходе дней снова засадили за парту.

Между рядами коек прошел, чем-то тихо металлически позванивая, дневальный из старослужащих.

Звук этот напомнил Сергею жаркий день середины прошлогоднего лета. На огромной площадке перед главным входом в университет звякали флажшто-

ки о мачты и хлопали пестрые флаги. Страусовые перья фонтанов покачивались вдалеке над мраморным бассейном; смуглые мальчишки плескались в нем, лежали на его теплых серых бортах. Сергей ждал Лену. Она задерживалась. И когда он увидел, как она бежит от остановки автобуса, наискосок по пустой, залитой солнцем площади, словно пытаясь обогнать свою укороченную полдень тень, Сергей с бьющимся сердцем вышел из-за толстой колонны и побежал к ней навстречу, прыгая через ступеньки...

«Да-да, это было, это могло продолжаться. Но больше этого никогда не будет... Что же остается от счастливых минут? Сознание, что они были? А радости мне в этом сознании?.. Значит, я никогда больше не буду счастлив...»

С этой мыслью, несмотря на всю ее горестность, он мгновенно и крепко заснул.

5. На следующий день после завтрака Сметанин вызвал командир взвода старший лейтенант Углов. Он сидел перед Сергеем, закинув ногу на ногу и сцепив на коленях руки.

— Не возьму в толк, — говорил он, словно приглашая Сметанина поспорить с ним. — С одной стороны, это детство какое-то не желать быстро раздеваться и в то же время — форменное неуважение к людям...

Он выжидающе смотрел на Сергея. Тот молчал. — Сержанта Иванова вы ни во что не ставите... Не зная вовсе человека, оскорбляете его своим высокомерием...

Сметанин пожал плечами.

— Не делайте вид, что не понимаете... Вы в университете учились, с вас особый спрос... Скоро из карантина вы перейдете в подразделение, в наш третий батальон; очевидно, попадете в наш взвод связи... Сержант Иванов будет командовать вами еще по крайности года полтора; но учтите: во взводе старослужащие не простят вам такого отношения... Вам придется туго...

— Вы меня пугаете? — спросил Сметанин, глядя на ладно вшитый в гимнастерку погон старшего лейтенанта с тремя изящными звездочками.

— Да нет, — вздохнул Углов. — Я хочу, чтобы вы все-таки поняли... Это ведь самое легкое — упереться на своем... Того же Иванова вы и не знаете вовсе... Думаю, что вы вели бы себя иначе, если бы вам пришлось подчиняться человеку, у которого высшее образование, который умел бы красиво говорить и прочее.

— Не знаю... Смотря, что за человек...

— С вами не столкнешься. Скажу одно, — Углов встал, — без дисциплины жизни в армии нет... И не стоит устраивать трагедию из-за того, что вам придется подчиняться... Идите...

Сметанин сказал:

— Есть! — Несколько нечетко повернулся через левое плечо и вышел, испытывая благодарность к Углову за то, что тот не заставил его повторить этот отход.

6. Старший лейтенант Углов возвращался из казармы домой уже после отбоя. Он не стал обходить весь военный городок, чтобы выйти через КПП, а дошел до старенького деревянного забора, подобрал полы шинели, подтянулся на руках и перемахнул через ограду с той же легкостью, с какой на занятиях показывал солдатам преодоление препятствия. Теперь до дома было рукой подать.

Сегодня приезжала из Москвы жена Углова. Она училась заочно в педагогическом институте и два раза в год ездила на сессию.

Углов добегал по пустому темному переулку до перекрестка, откуда видны были окна дома. На их половине коттеджа горел свет... Теперь Углов пошел не спеша, поглядывая на зеленый огонь в комнате и желтый на кухне.

Как ценил он обычное для других понятие «мой дом», с каким страстным чувством вспоминалось ему где-нибудь на учениях, в лесу у костра, что за сотни километров есть полкоттеджа с верандой, куда он может войти как хозяин, лечь спать или читать на диване книжку, где он может обедать или не обедать, курить или не курить, и что ждет его там женщина, которую он крепко любит! Ни дома, ни людей, любящих его по-настоящему и любимых им, у Марата Углова долгое время не было. Перед войной он внезапно осиротел, и с шести лет мотало его из детдома в детдом, а когда началась война, девятилетним мальчиком прибило к детскому дому в небольшом поселке Ильичевске, что за Уралом. Учился он очень хорошо, и казалось, что только за это прощала ему неумное озорство заведующая детским домом — пожилая женщина, бывшая политкаторжанка-большевичка, осевшая на зауральской земле после 1905 года.

Марат Углов и на фронт пытался бежать два раза: летом сорок второго, когда немецкие дивизии ползли по югу России, и после Сталинградской битвы, — он решил, что с пленением армии Паулюса война вот-вот закончится и он на нее не успеет. Отец его был красным командиром, и Марат хотел погибнуть хотя бы простым бойцом.

Перед самой капитуляцией Германии Марата чуть было не отправили в исправительную колонию. Утром восьмого мая он распахнул перед уроком дверь в класс и закричал:

— Войска Третьего Белорусского фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фриш Нерунг, заняли...

Марат размахнулся портфелем, чтобы швырнуть его через весь класс к себе на заднюю парту, но рука сорвалась, и портфель врезался в оконное стекло... Марат смотрел на ребят, сидящих за партами, а они, медленно вставая, смотрели поверх его головы: за спиной Углова стояла директор школы.

Рано утром на другой день Марата разбудил вкрадчивый голос воспитателя Тимофея Ивановича. Наклонясь к нему лысенькой, пахнущей одеколоном головой, Тимофей Иванович тихо и настойчиво говорил:

— Одевайся быстрее, одевайся быстрее... И без шума... Вчера решили отправить тебя за твои художества в колонию... И без шума...

— Без заведующей нельзя, — выдавил из себя Марат.

— Все можно, голубчик, когда имеешь дело с такими субъектами. А заведующая вернется из области через две недели... Невозможно же две недели заражать коллектив...

Они уже шли по коридору. Марату все казалось дурным сном: и Тимофей Иванович, и длинный узкий коридор бывшего монастыря, и собственные слезы. Вдруг из комнаты младших вышел заспанный, в одной рубашонке мальчишка Андрюшка Золотов. Он посмотрел на Тимофея Ивановича и Марата глазами, полными ужаса, бросился к старшим и закричал:

— Марата забирают!

И от срывающегося его голоса трапезная монастыря, в которой была мальчишеская спальня, напол-

нилась таким единодушным воплем возмущения, что сердце Тимофея Ивановича затрепетало и он, оставив Марата, засеменил по коридору, что-то приговаривая.

Товарищи не дали увести Марата Углова в колонию. А спустя несколько часов стало известно, что фашистская Германия капитулировала и наступил День Победы...

Через двенадцать лет старший лейтенант Углов увидел в толпе новобранцев на полковом плацу знакомое, родное лицо Андрюшки Золотова.

Теперь Золотов уже служил третий год во взводе связи, которым командовал Углов.

...На цыпочках прошел Марат через холодную террасу и постучал.

— Да,— услышал он и постучал снова.

Нина Васильевна подошла и открыла.

Они с мужем были почти одного роста; он обнял ее, приподнял и поцеловал в ямку между ключицами. Она упиралась руками в его плечи, звездочки погон врезались ей в ладони.

— Ужин остынет.

Он все не отпускал, а когда отпустил, снова обнял. Каждый раз, встречаясь с женой после разлуки, Углов в первую минуту видел незнакомую женщину и лишь спустя мгновение понимал, что большие голубые глаза, чуть припухлые губы, ямочки на щеках — все очаровательное лицо ее улыбается именно ему. Но он боялся своего восторженного чувства и тем более никогда не говорил о нем жене, словно, высказанное словами, оно могло поставить его в какую-то зависимость.

За ужином она сидела против него, смотрела, как он ест, и рассказывала, что в Москве погода плохая, что в театре она была всего два раза, что контрольные в этом году трудные.

— Ты скучал?

Он кивнул.

— Дрова завезли березовые, так что тебе не мучиться, как в том году... А ты бритву для Андрея купила?

— Конечно, электрическую... тарыхтит... Как он там?

— Пока мы с Ивановым в карантине, командует во взводе... Быстро время идет, через год Андрей демобилизуется. Надо день рождения его как следует отметить...

— Обязательно... Знаешь, я с тобой поговорить хотела...

— О чем? — спросил он, уже предполагая, о чем будет речь, и готовясь к ответу.

— Я с тобой поговорить хотела... И сразу... — Она отвела со лба волосы. — Сразу... чтобы не оставлять...

— Ну, ну... — покивал он.

— Ты же знаешь. — Нина встала и не спеша заходила по комнате.

Марат глянул на ее цветастый халатик, и ему уже трудно было отвести глаза от мелких розочек на нем, дрожащих при каждом ее шаге.

«Это она специально расхаживает, чтобы я согласился...»

— Сядь, пожалуйста, — попросил он. — Сегодня у меня трудный был день...

Нина не села, но остановилась и, облокотясь на спинку стула, посмотрела на Марата.

Он опустил глаза в тарелку.

— Я уже на четвертом курсе, — сказала Нина, — и могу пойти...

— ...и можешь пойти работать в школу, — подхватил он, раздражаясь от того, как подчеркнуто она

сказала «уже». — Каждый год — одна песня: ты должна заниматься педагогической деятельностью, иначе ты погибнешь... Или в библиотеке плохо? Заниматься же там можно!

— Но пойми... — Сунув руки в карманы халатика, она снова прошла по комнате.

В голосе ее Марат услышал слезы и, чтобы заглушить в себе расслабляющее чувство, которое они вызвали, заговорил жестко и отрывисто:

— Что понимать?... Панферова работает? Нет... Римма работает? Нет...

— Не хочу я жить, как Римма...

— Значит, я день напролет в казарме, а ты в школе? Римма не работает, но ведь у них дети...

— Марат!

— Сначала детей не было, потому что мы были слишком молодыми, ты боялась переездов, потом потому, что ты училась, теперь ты будешь работать...

— Я хочу твердо стоять на ногах...

— Денег, что ли, не хватает?..

— Ты пойми меня... Нельзя же готовить обеды, мыть полы, торчать в очередях и считать себя счастливым... Я тоже хочу...

— Посмотрите на эту рабыню!... Хочешь свободы?.. Прекрасно... Уезжай к матери... Живи одна...

Нина постаралась примиряюще улыбнуться ему.

— Ты устал и несешь чушь.

— Устанешь, — сказал он, вставая из-за стола и вынимая сигарету. — Стоит, понимаешь, перед тобой какой-нибудь Сметанин, смотрит с усмешкой, мол, все-то я знаю, вас насквозь вижу... И вправду видит, знает, что у меня обязанность такая: уговаривать...

— А ты как хотел?

— Я офицер, а не Песталоцци... Даже конфеты тебе забыл купить...

— Кури, пожалуйста, на веранде...

— Ладно, ну его, Сметанина. Давай спать...

7. Прошла неделя. Был понедельник, светлый от свежего снега.

Три барабанщика в шинелях и фуражках стояли посреди плаца. Трещали малые барабаны, кругло ухал большой. Под ритмичные звуки этой сухой музыки по всей черной асфальтовой полосе, четырехугольником окружавшей плац, ходили нарочито замедленно, для усвоения строевого шага, солдаты карантинной роты, одинаковые в своих новеньких бушлатах, стянутых в талии ремнем с сияющей пряжкой, в краснозвездных светло-серых ушанках.

Сметанину казалось смешным то, что, к примеру, кисть руки должна подниматься выше пряжки на ширину ладони и непременно именно так, а не иначе. Но ему нравилось в ответ на отрывистые команды Иванова твердо и звучно впечатывать ногу в асфальт, круто разворачиваться через левое плечо, приговарывая к тому, чтобы начать движение после поворота с левой ноги. Однако у него это плохо получалось, и он завидовал Ярцеву, который выполнял все точно, красиво и легко, словно танцуя.

С утра сапоги смазывали по ранту дегтярной мазью, ведерная банка которой стояла в коридоре у умывальников, пропитывая воздух своим жирным запахом.

Сыпал дождь. Ветер шевелил тяжелыми красными флагами. Зима дала сбой.

По глянцевиному асфальту военного городка рота за ротой шли к столовой. Матово светились сапоги, сияли пуговицы и пряжки на темно-зеленых парад-

ных мундирах. Впереди каждой роты шел барабанщик, барабан висел у него через плечо на алой ленте с золотой бахромой. Кленовые легкие палочки пружинисто стлетали от звонкой кожи. Звуки отскакивали от казарменных стен, путались и перебивали друг друга.

— «День Седьмого ноября — красный день календаря», — сказал Расул, усаживаясь рядом со Сметаниным.

В столовой гремела полковая музыка; дребезжали стекла. Праздничный завтрак: котлеты, жареная картошка, какао в чайниках — все стояло на столах. Запах в зале были домашними. Несколько офицеров в белых куртках поверх парадных мундиров расхаживали по залу.

Старослужащие солдаты уходили в город на праздничную демонстрацию, а карантинные роты должны были идти в цирк.

— Какая закуска пропадает! — сказал Градов.

— Так бы каждый день! — вздохнул Митя Андреев. Ему вспомнились мамины пироги с капустой, с мясом, соленые гуси, компот из черешни. Так вспомнились, что захотелось плакать.

— Разговорчики! — прикрикнул Иванов. — Кто там в цирк не желает идти?

— Напугал, — шепнул Сергей Расулу. — Тащиться по грязи...

— Да, погода сегодня неважная...

Арена пахла мокрыми опилками и зверинцем. Под куполом корабельными снастями висели приспособления для воздушных гимнастов. Было пестро в глазах от одежды детей, зелено от солдатских гимнастеров.

Оркестр грянул марш. Погас свет, прожектор метнул луч к выходу на арену.

Сметанину после ходьбы в строю через весь город хотелось спать. Промелькнули акробаты в шелковых малиновых рубашках, медведи в намордниках... Униформисты в синих гусарских куртках начали готовить арену для номера с лошадьми. Вышел клоун. Он швырнул в публику свою измятую шляпу, она бумерангом вернулась к нему, едва не задев лица сержанта Иванова. Иванов, привстав со своего места, захохотал. Рядом с ним на коленях у матери хохотал белобрысый мальчишка.

Сметанин смотрел в их сторону.

«Он похож на этого мальчишку, наш сержант...»

В антракте, хотя это было запрещено, пили из тяжелых стеклянных кружек холодное свежее пиво, закусывая водянистым мороженым.

Маленькая розовая гимнастка сделала на трапеции первое «солнце». Сергей вспомнил историю гуттаперчевого мальчика и свои детские слезы о нем. Замолчал оркестр, предвещая особо опасный трюк. Сергей, прищурясь, смотрел, как работает гимнастка. Вот она поплыла над зрителями, посылая воздушные поцелуи. Сметанину привиделось, когда гимнастка мелькнула над ним, что она улыбнулась именно ему.

«Если сейчас не пойти со всеми строиться, а остаться, подождать ее и дожидаться... И подойти к ней и познакомиться... И сказать... Что сказать? Ах, это неважно. Глупо... Но ведь она так посмотрела на меня!..»

У выхода, когда солдаты смешались с толпой, Сметанин услышал, как девочка с белыми бантиками спросила:

— Мама, почему эти люди такие одинаковые?

— Это солдаты, Мариночка.

III

1. Сергею провели по губам горячим; он проснулся, но не открыл глаз.

«Кто-то из старослужащих куражится...» — Он приготовился к отпору.

Днем карантинную роту перетасовали с подразделениями старослужащих. Из одноэтажного желтого здания молодых солдат перевели в кирпичную, похожую на школу трехэтажную казарму.

Здесь было просторнее — кровати стояли в один ярус.

Слухи, которые ходили среди новобранцев об отношениях между старослужащими и молодыми солдатами, были мрачными:

«Новые шапки и ремни сразу отберут; обменяют на свои старые...»

«В наряды только нас и будут посылать...»

«Шкодят над молодыми...»

Сергей понимал, что старослужащим солдатам все в армии не внове, и они могут наилучшим образом выполнять то, что требуется по службе; но он не хотел терпеть унижения.

«Почему, кроме командиров, я должен подчиняться еще кому-то? Бояться старослужащих?.. Кто они такие? Откуда же у них право отбирать то, что мне положено?..»

— Чего тебе, чего? — услышал Сметанин голос Градова и открыл глаза.

Между коек ходил приземистый солдат в шапке, с ножом у пояса. Он держал в руке оладушку и проводил ею по губам спящих. В свете казарменного ночника его лицо, с мягко очерченными скулами и тяжелым подбородком, было бледным.

— Подъем, гвардия, подъем!.. Оладьи горячие, почти что блины... Подъем, салаги, — масленица полуночная...

«Наши старослужащие сегодня в наряде по кухне, — вспомнил Сметанин. — А это Золотов, ефрейтор Золотов; он дневалит...»

Сергей сел в кровати.

— Ананьич, выдай горяченькую, — сказал Золотов.

Худенький солдат в застиранном до белесости обмундировании без ремня — так было принято работать в кухонном наряде — подошел к Сметанину и протянул ему большую миску, в которой лежали душистые оладьи.

— Давай, мни!.. Видишь, сёмая рота в карауле, так нас на кухню запрягли. Ничего, занятия начнутся, нас, связистов, особо трогать не будут... Тебя как зовут? А то я вас, молодняк, все путаю... Не запомнишь сразу...

— Сметанин... У тебя отчество Ананьевич?

— Фамилия Ананьев; все: Ананьич да Ананьич... — Он улыбнулся. — Как жратва?

— Сочные...

— Много не ешь: на комбижире жарили, изжога замучит...

— Ананьич, сыпь в этот край, — сказал Золотов, — здесь тоже голодающие объявились!..

«А они ничего ребята... Симпатичные... Даже приятно: оладушки раздают...»

Сметанин сунул ноги в сапоги, накинул на плечи байковое одеяло: подошел к койке Градова, стоящей у самого окна, где уже сидели, укутавшись в одеяла, Андреев, Ярцев, Расул, и молча и шумно ели.

— Вот бы салаг подбросить на кухню, враз бы управились!.. — сказал Золотов.

— Успеют еще. — Ананьев сел на подоконник.

— Успеют, говоришь? Они, небось, и не знают, чего им успевать здесь придется...— Цыганские, чуть раскосые глаза Золотова, казалось, смеялись.

— Марьину рощу на понт не возьмешь,— сказал Градов, хотя он никогда не жил в Марьиной роще и даже не бывал в этом районе Москвы.

— Дядя Федя из отпуска приедет, покажет тебе Марьину рощу!

— Какой еще дядя Федя?

— Комбат наш. Да вы его должны были примечать, он старшим в Москву за молодежью ездил...

— Здоровый такой, с усами?

— Во-во, с усами... Как, Ананьич, с усами?

— Ну тебя... Лучше про Москву поинтересоваться, раз не спим...

Сметанин посмотрел в окно; отсюда, со второго этажа, был виден слабо освещенный луной заснеженный двор перед казармой, забор, коттеджи военного городка с темными окнами, редкие фонари. Где-то далеко в городе, на перекрестке одной из городских улиц, поднимающихся по холму вверх, мигал желтым светом...

— Холодно в казарме что-то,— пожаловался Расул.— Топить лучше надо...

— Привыкнешь,— сказал Золотов.— Мы для тебя у Иванова второе одеяло попросим... Он даст...

— А у меня в Москве,— дожевывая оладушку, сказал Градов,— считай, всю осень баба была...

— Ишь ты какой!— Золотов покачал головой.— Неужто баба?

— Баба!— Градов оглядел солдат с гордостью.— И такая, я вам...

— Это жарче, чем в казарме,— перебил его Золотов.

— Кончай базар, связь!— хрипло крикнули из расположения роты.

2. Короткими перебежками «справа по одному» бежали от сосновой рощи по неглубокому снегу пустыря к высокой железно-дорожной насыпи.

У Сметанина в руках был новенький автомат, больше похожий на игрушку— мальчишечью мечту, чем на оружие, которым можно убивать. Сергей не хотел, неумело волоча автомат, ползти по снегу, поэтому все движения, показанные в начале занятия Ивановым, он выполнял старательно.

На первом перекуре Иванов сказал:

— Похвалы заслуживают действия рядового Сметанина... С него должны брать пример солдаты первого года службы...

Сергей переглянулся с Ярцевым и пожал плечами. Иванов посмотрел на свои часы, купленные недавно на деньги, сэкономленные с сержантской полочки. До обеда оставался час, надо было заканчивать занятия, чтобы солдаты успели почистить автоматы.

— Завязывать пора!— закричал Золотов, который все занятия шел позади взвода шагом.

Если от батальона нужно было выставить на соревнования в части бегуна, или автоматчика, или радиотелеграфиста, то посылали Золотова. Он почти всегда побеждал и не только потому, что хорошо бегал, работал на телеграфном ключе и был отличным стрелком (обычно на ночных стрельбах он первой очередью разбивал лампочку светящейся мишени), но еще и потому, что чувствовал в себе неутолимую жажду побед.

Он хотел, чтобы и взвод, в котором он служил и где командиром был Марат Углов, его товарищ по детскому дому, стал лучшим в части. Кроме того, Андрей Золотов слышал однажды, как Нина Василь-

евна уговаривала Марата подавать документы для поступления в военную академию, а в академию из части отпускали только командиров отличных подразделений. Андрею казалось, что Иванов не тем и не так занимается с молодыми солдатами и что с таким сержантом взвод никогда не будет отличным.

Иванов подошел к Золотову.

Каждый раз, когда надо было приказывать Золотову, Иванов чувствовал, что не может заставить себя приказывать так, как положено. Ему приходилось продумывать про себя все то, что он хотел сказать, но почти каждый раз произносились не властные, решительные— командирские— слова, а другие: вялые, заискивающие. В ответ Золотов обычно усмехался.

— Ты молодежь не отвращай,— тихо сказал Иванов.

— Глупостями занимаемся...

— У нас по плану тактика.

— Тактика, тактика! Ты соображай, что со связистов на учениях требуют,— связь! А мы салаг как стрелков натаскиваем. Тактика!..

— Планы не нами составлены...

— Солдат-связист нужен, а не план!.. Я и взводуному сегодня скажу... А то раскиснут... Раскиснут, говорю, на учениях салаги!

Из-за поворота, от сосновой редкой рощи слышался надрывный гудок паровоза. Дым сливался с низкими серыми облаками. Перед собой паровоз толкал платформу с красным гробом, усыпанным еловыми ветками. На платформе стояли железнодорожники в форме, без шапок, женщины в черном.

Сметанин опустил голову.

«Для чего же все это? Для чего я родился и живу?... Для чего эти роща, небо, паровоз?... Все кончается...»

— Курить есть?— подтолкнул Сергея Панкратов, солдат второго года службы.

Шапка была сбита у него на затылок, некрасивое крупное лицо возбуждено.

Сметанин протянул ему сигарету.

— Должно быть, машинист был,— кивая на платформу, быстро заговорил Панкратов.— Это уж точно!.. Я знаю... У нас в депо тоже машинистов так хоронят.— Он выпятил толстые губы и прогудел:— Уууу... Батю в тот год хоронили,— сказал он тихо.— У него на перегоне под самой Казанью... сердце разорвалось... Я хоронить ездил... Отпуск дали...

Панкратов тоскливым взглядом проводил паровоз, отвернулся от дороги и зажал ладонями уши, чтобы не слышать непрекращающийся гудок.

Сметанин почувствовал жалость к этому полужнакомому парню, он хотел ему сказать что-то, но не знал, что... Сергей зажег спичку, поднес к сигарете, которую Панкратов крепко держал в зубах. Панкратов глубоко затянулся горьким дымом дешевой сигареты. И вместе с его вздохом и взглядом, которым он посмотрел на Сметанина, Сергей перестал ощущать тоску от мысли, что все в мире кончается.

3. Оружие чистили без гимнастерок. В белых нательных рубашках, засучив рукава, стояли у длинных столов с бортами, в которых были прорезы для автоматов. Около каждого лежали принадлежности для чистки и ветошь.

Работа шла неспешно. После нескольких часов на зимнем воздухе, после обеда, в тепле клонило ко сну.

Рядом со Сметаниным чистил автомат Маков, одногодок Золотова. Все части разобранного автома-

та аккуратно лежали перед ним на белой тряпочке. Сверх масленок, протирки и ершика, отвертки с выколоткой, которые были у каждого, у него имелись всяческие деревянные инструменты для удобства чистки.

— Автомат ухода требует, вроде скотины...— медленно поучал Маков Сметанина.— Тут главное — не запускать. Запустил — хана, не дочистишься!.. Увидел на металле пятнышко, сейчас бери резинку — почисти, не сделаешь — после ржа... Ты как из магазина пружину вытаскиваешь?.. Гляди, глаз кому вышибешь... Дай-ка...

Сметанин смотрел, как Маков взял в свои короткие пальцы плоский рожок автоматного магазина, тихонько нажал на кнопку, продвинул крышку. Пружина медленно выползла ему на ладонь.

Это была простая работа, внимание к деталям которой давало возможность не задумываться о прошлом, о будущем...

Усвоение нехитрых навыков обращения с автоматом, само прикосновение к его деталям, запах промасленной ветоши, поучающий голос Макова — все успокаивало, делало жизнь прочной.

Рядом у Ярцева от неправильного движения пружина вырвалась, дзинькнула, отлетая в сторону.

— Гляди, что делаешь! — Золотов отошел в сторону. — Москвичи называются!..

Ярцев покраснел.

Сметанин посмотрел на Золотова.

«Маков тоже служит третий год, но ведь не орет на каждого... А этот Ноздрев какой-то...»

— Чего уставился? Чисть, чисть оружие...

«Ноздрев...»

Ярцев нагнулся за пружиной, вправил ее в рожок, закрыл его, затем проделал все сначала; пружина вылезла наружу с той же покорностью, что и у Макова.

4. Класс взвода был небольшой, светлый и теплый. Около двери прибита гладко оструганная доска с крючками вешалок; на них, заправленные аккуратно, будто одно целое, серые шинели, поверх шинелей светло-зеленые бушлаты. От дверей по низу стены в обе стороны — закрытые стеллажи, в них рации, телефоны, телефонные катушки с туго намотанными проводами, инструменты и прочее оборудование связистов, нужное и ненужное. Примерно раз в три месяца над «прочим оборудованием» нависала угроза: сам комбат, подполковник Мишин, производил ревизию стеллажам, выбрасывая все, что ему казалось лишним. После этого происходил новый этап накопления, который кончался так же плачевно.

— Даем точку! — Иванов встал из-за преподавательского стола. — Еще раз глянули на плакат; кисть руки должна быть свободной... Рядовой Андреев, не напрягай... не напрягайте руку... Развод ключей у всех нормальный? Начали... И раз... и раз... и раз...

Правая рука Сметанина держала телеграфный ключ; по команде Иванова он резко встряхивал кистью.

«Кажется, я никогда не выучусь... Превращать чеповческие слова в туканье... Язык дятлов...»

Он вспомнил, как еще в детском саду летом услышал на опушке леса дятла и подкрался к сосне, которую тот долбил. Птицы не было видно; он приложил щеку и ухо к теплой смолянистой коре ствола; внутри словно стучало сердце: «Тук, тук, тук...» И он тогда подумал, что дятел сидит внутри дерева.

— Рядовой Сметанин, вы что даете?

— Я! — Сметанин встал.

— Все дают точку... Вам что, медведь на ухо наступил?

— Никак нет... Но абсолютного слуха не имею...

— Ваньку валять нечего. Не хотите во взводе связи служить, хотите в роту, так и скажите: хочу-де в роту...

— Буду служить, где прикажут!

— Садитесь!

— Товарищ сержант, разрешите вопрос! — поднял руку Расул.

— Пожалуйста.

— Почему ротой пугаете? Почему рота плохо? Всюду служба...

— Гордость должна быть, раз ты связист... Нету гордости, связист разгильдяем будет... Нам разгильдяев не надо... Садитесь. Продолжаем...

5. Сергей Сметанин давал мало клятв в своей жизни, и только раз — на людях, когда его в третьем классе принимали в пионеры. От этого события осталось чувство неловкости; на торжественной линейке надо было подойти к знамени, затем произнести слова пионерской клятвы и после этого встать на одно колено и поцеловать знамя. Выйдя по скользкому паркету в пустоту середины актового зала, он быстро отговорил текст, стараясь не смотреть на два ряда мальчиков в белых рубашках. Перед вишневым полотнищем портретами Ленина и Сталина он растерялся; забыв, на какое колено надо опускаться, на левое или на правое, опустился на оба и услышал смех ребят и смех пионера, который держал знамя. От этого сдержанного смеха он почувствовал себя навек несчастным, даже повзрослев, вспоминал об этом, краснея...

Сперва думали принимать присягу молодых солдат всем полком на плацу. Неожиданно установились такие морозы, что темными утрами бежали по визжащему снегу на зарядку в бушлатах и шапках. Было приказано присягать в казарме по подразделениям.

День присяги был объявлен выходным днем. Готовясь к нему с вечера, подшивали на полученные со склада мундиры полотняные подворотнички, купленные на первые солдатские деньги.

Иголка попала в Сметанину тупая и толстая, туго входила в плотный материал мундира. Пришить надо было таким образом, чтобы подворотничок высовывался над воротником на два миллиметра. Сергей исколот пальцы, но тонкий лоскут полотна то шел волнами, то кособочился.

— Посмотри... Нет, ты посмотри, Сережа, какой у меня мундир! — приговаривал Расул, весело глядясь черными глазами в треугольный осколок зеркала, прислоненный на подоконнике к темному стеклу.

— Черт с ними, с мундирами!..

— Ты не в духе? Почему?

— Расул, ты слишком затянулся, отпусти ремень. — Ярцев уже стоял в парадной форме; пуговицы, пряжка ремня, надраенные асидолом, сияли золотом в электрическом свете; лишь тонкие его ноги, противореча щегольству мундира, болтались в голенищах кирзовых сапог. — Кончай психовать, Сережа; подшивайся быстрее, пойдем на пару Иванову докладывать...

— Иди, — сказал Сметанин.

— Ну, что, салаги, с кем в шахматки? — спросил Золотов, входя в класс. — Не сдюжишь никак? Расставляй фигуры, я тебе подошью. — Он потянул мундир из рук Сметанина.

Золотова вводило в азарт то обстоятельство, что каждый раз, играя со Сметаниным в шахматы, он

проигрывал; Сметанин делал ходы, почти не задумываясь, небрежно двигал пешку или бросал по диагонали слона. И говорил-то он в конце игры уже не «мат», а «копять» и улыбался.

Прежде во взводе Золотов обыгрывал всех.

— У самого руки есть, — сказал Сметанин.

— Расставляй... расставляй... Смотри, как я сварганю.

Золотов достал из ящика своего стола жилку проводника, пассатижи, откусил ими нужную длину жилки, выставив крепкие белые зубы, зажал ими проводку и вытаскивал ее из жилки. Он взял из рук Сметанина мундир, оторвал подворотничок, обернул материал вокруг жилки и начал подшивать.

— Игла у тебя дрянь... Расставил?

— Какими играть будешь?

— Загадывай.

Сметанин заложил в кулаки белую и черную пешки.

— Изладил, — бросая на стол мундир, сказал Золотов. — Левую, — указал он на руку Сергея.

Сметанин разжал ладонь.

— Ба, опять черные... Судьба такая.

— Ты ему мундир отлично заделал, — сказал Градов. — Дай жилки, товарищ ефрейтор...

— Возьми в ящике. Да не всю хватай.

— Достанем еще, товарищ ефрейтор...

— Играй белыми, мне все равно. — Сметанин повернул доску белыми фигурами к Золотову.

— Нашелся Ботвинник! — Золотов вернул доску в прежнее положение.

— Рядовой Сметанин, — приоткрыв дверь и не заходя в класс, сказал Иванов, — у вас как койка заправлена?

— Была нормально.

— Идите посмотрите и переделайте...

— Я не виноват, если на ней кто-то валялся...

— Не пререкайтесь, а выполняйте!

— Володя, чего ты к нему цепляешься?.. Видишь, мы в шахматы наладились. Какие койки, когда через двадцать минут отбой? — Золотов сидел на стуле в расстегнутой гимнастерке и рассматривал фигуры на доске. — Ходи, — бросил он Сметанину.

— Вас не спрашиваю, не встревайте, не разлагайте молодых солдат...

— Опять конем походил... Так... — Золотов двинул пешку и повернулся к Иванову. — Ты чего покраснел?.. Не лопни, смотри...

— Встать! — вдруг крикнул Иванов.

Золотов медленно встал и тяжело посмотрел на сержанта.

— Объявляю вам два наряда вне очереди! — сказал Иванов.

— Замучаешься, друг мой... Скучный ты человек... — Золотов нарочито зевнул.

Сметанин быстро встал.

— Товарищ сержант, я сейчас все сделаю! — Бомом мимо Иванова Сергей вышел из класса.

«Не хватало только, чтобы люди из-за меня ругались...»

Кровать была действительно слегка примята. Сметанин сдернул одеяло, простыни, разбил руками неровности матраца, натянул одну простыню, а вторую сложил так, что по краям образовались маленькие валики. Эту хитрость он подсмотрел у старослужащих в роте; теперь, когда он накрыл все одеялом и туго заправил его под матрац, постель гляделась ровно, как кирпичик.

«И мы не лыком шиты...»

— Товарищ сержант, ваше приказание выполнено! — подошел Сметанин к Иванову.

Сержант кивнул.

— Разрешите вопрос, товарищ сержант...

— Пожалуйста...

— Товарищ сержант, можно мне сегодня не ложиться спать?

— Это как понимать-думать?

— Жалко постель мять.

— Спать положено каждую ночь, — серьезно и убеждающе сказал Иванов. — А койки положено заправлять каждое утро... Жизнь и всякое дело состоят из мелочей... Сегодня койку не заправил, завтра... Ясно?

«Я пошутил», — хотел сказать Сметанин, но, взглянув на Иванова, который смотрел на него внимательно и грустно, сказал:

— Так точно, товарищ сержант, ясно!..

Утром в казарме, освещенной сквозь замерзшие окна холодным светом солнечного дня, рядовой Сметанин, стоя во второй шеренге строя связистов, услышал свою фамилию, слегка хлопнул левой рукой по плечу впереди стоящего и, когда тот, шагнув вперед и вправо, пропустил его, сделал несколько шагов на середину перед строем, четко развернулся лицом к товарищам, взял из рук старшего лейтенанта Углова текст присяги и начал читать слова, которые давно знал наизусть:

— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик...

IV

1. По легкой песенке надо было взбираться на дощатый трамплин на самой верхотуре парашютной вышки. Отсюда был виден весь город на береговом холме, заснеженный, с вымпелами дымов.

Ветер нещадно прохватывал сквозь бушлат; каждый, кто забирался сюда для тренировочного прыжка, хотел быстрее очутиться на земле.

Занятия по парашютнодесантной подготовке взвод связи проводил вместе с седьмой ротой. Один из солдат роты, надев подвесную систему, затоптался было на площадке. Те, кто стоял рядом с ним, начали подбадривать его; снизу засвистели.

Сметанину подумалось, что он не задержится с прыжком, хотя бы для того, чтобы не слышать свиста.

Уменьшенная сверху казарма, городская даль, паровозное депо в клубах дыма и пара занимали внимание Сергея, пока он дожидался своей очереди на помосте, пока пристегивал лямки подвесной системы. Проверяющий осмотрел крепление, кивнул:

— Пошел...

Сергей мысленно быстро сосчитал до трех; не давая себе расслабиться, шагнул вниз...

— Ноги! Ноги! — услышал он крик и вспомнил, что при приземлении ноги надо сдвигать вместе и поднимать под углом к земле... Но было поздно...

— Как же ты приземляешься, — строго сказал старший лейтенант Углов. — И выпрыгиваешь безобразно. Вот-вот. — Углов показал вверх на солдата, у которого ноги при прыжке дернулись, как у игрушечного клоуна на веревочках. — На первый раз тебе двойка... Давай на «бис»...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите я с ним, — сказал Ананьев.

— Ну-ну, помоги товарищу...

— Да у меня у самого плохо получается...

— Ананьич у нас сознательный... Только в Чебоксарах такие,— засмеялся Панкратов.

— Да иди ты к черту, хочу и прыгаю... Пошли...— Ананьев потянул Сметанина за рукав.

Сергей еще раз полез на вышку вместе с Ананьевым, уже не разглядывая город, а репетируя прыжок в уме...

Через два дня должны были начаться прыжки с аэростата. Ждали, когда утихнет ветер...

2. Наконец погода установилась. Полк на лыжах двинулся к аэродрому.

Взвод связи обошли уже три роты, вышедшие из расположения части позже. Движение связистов тормозил Магомедов.

Расул стыдился своего неумения ходить на лыжах. Он страстно желал бегать на них так же легко, как другие; но то, что на первый взгляд казалось простым — одновременные совмещенные и беспрерывные движения рук и ног, — не давалось ему.

Еще тогда, когда лыжи только получили и надо было оборудовать их — поставить мягкие крепления, просмолить, раскатав тугим пламенем паяльной лампы смолу на дошках лыж, подогнать палки, то есть сделать вкусную в своей простоте и смолистых запахах работу, — Расул, сидя один в отсеке холодного коридора перед умывальной, где стояли ящики для чистки сапог, смотрел с ненавистью на лежащие перед ним дощечки с загнутыми носами, на бамбуковые палки с кольцами...

Лыжня первого кросса на десять километров была проложена огромным эллипсом по бесконечному полю. Расул, не скользя, а поднимая, как при ходьбе, обутые лыжами ноги, плелся далеко сзади. Его обгоняли и обгоняли солдаты; он чувствовал себя несчастным.

Окружающая его равнина вызывала никогда прежде не испытанное им чувство тоски; едва он поднимал голову от лыжни, оглядываясь окрест, его взгляд скользил по заснеженной плоскости, не задерживаясь ни на чем до самого горизонта; в памяти возникали то корявые, то сглаженные лесами хребты, за которые можно было заглянуть только в воображении.

— Мы на команду «отставить» нарвемся,— сказал в спину Углову шедший позади него Золотов.

Углов утром подобрал удачно мазь, и теперь ему казалось, что лыжи несут его сами.

«Какое сегодня скольжение! Жалко, что надо идти медленнее, сейчас бы рвануть... И что это Андрей ворчит, как старик... Прыжки кончатся часа в три... Обедать буду дома... Раньше говорил Нине: «Не готовь, не готовь дома», — все в столовых, а теперь — только дома... Старею! И то — двадцать восемь... Уже двадцать восемь, и все взводный; лыжи, автоматы, противогазы... Радиоинженер называется... Ну-ну, не нюнись... В следующем году — в академию...»

— Обедать нам сегодня не видать,— сказал Золотов.

Углов обернулся:

— Ефрейтор Золотов, вместо того чтобы ворчать, возьмите одного человека и помогите Магомедову...

— Есть помочь! — отрубил Золотов.

Углов улыбнулся.

— Сметанин! Со мной! — крикнул Золотов, останавливаясь и пропуская товарищей.

Взвод прибавил ход; скоро за пушистым поворотом лесной дороги утих шум движения.

— Вот тебе палки, вставай на среднюю лыжню, мы тебя потащим,— предложил Золотов Расулу.

— Он так никогда не научится,— сказал Сметанин. — Сделаем так: я иду чуть впереди, ты сзади. Он будет смотреть, как я двигаюсь, повторять за мной, а ты следи за ним и поправляй...

— Также правильно,— сказал Золотов.

— Да я сам, ребята, дойду... Что вы со мной, как с первоклассником?..

— Только тебе учителем быть? Мне тоже охота,— сказал Золотов. — Двинули...

3. На краю аэродрома разгружали с машин парашюты — основной и запасной вместе в брезентовой сумке, с металлической пломбой и фамилией хозяина.

Парашюты несли к первой линии проверки, вытаскивали из сумок и ставили на поп, на расстеленные по снегу длинные брезентовые столы. Офицер парашютнодесантной службы проверял внешние детали укладки. Потом солдаты надевали парашюты и переходили на следующую линию проверки, здесь смотрели, так ли надеты парашюты, правильно ли вставлены красные металлические кольца, раскрывающие основной парашют; на третьей линии давалось последнее «добро».

Проверка шла быстро, но cabina аэростата была рассчитана всего на четверых, дело тормозилось — к месту посадки тянулась длинная очередь.

Сметанин смотрел на аэростат.

Время от времени, когда в подвешенную к нему маленькую открытую кабину садились парашютисты, начинал работать барабан огромной лебедки; трос, связывающий аэростат с землей, отпускаясь, легкость аэростата тянула кабину и людей в небо... Затем с высоты летели четыре черные человеческие фигурки, четыре белых облачка с легким хлопком вспыхивали над ними и плавно опускались к земле; аэростат и кабину лебедка причаливала к старту.

«Если бы прыжки отложили до завтра... снег бы, что ли, пошел... Завтра, завтра, не сегодня — так лентяи говорят... Хорошо, что мысли невидимы...»

— Давай, Ананьич, в ладушки, погреемся...

— Давай...

Сметанин и Ананьев стали друг против друга и принялись биться ладонью об ладонь: левая с левой... правая с правой... двумя вместе... все быстрее и быстрее; стало жарко...

К связистам третьего батальона подошел замполит полка майор Кудрявцев:

— Гвардейцы, меня без очереди возьмете?

— Чего уж там, товарищ майор, становитесь...

— Мишинские связисты?

— Так точно...

Сметанин тоже узнал замполита полка.

«Кажется, хороший дядька... Не хватало только, чтобы он заметил, что я робею...»

— Как настроение? — спросил майор Кудрявцев.

— У нас салаги, товарищ майор, того... побаиваются,— засмеялся Панкратов.

— Чтоб я, гвардеец, не слышал больше этого «салаги»... В армии есть солдаты и только... — строго сказал Кудрявцев. — Ясно?

— Так точно.

— Дело одно делаете, учитесь Родину защищать... А если бой, в нем нет никаких разделений... Иной молодой солдат дорого стоит...

— Это обычай такой: «старики», «салаги»... — оправдывался Панкратов.

— Плохой обычай! Отказываться надо от таких обычаев! — сказал майор Кудрявцев.

В кабине аэростата на скамейках друг против друга разместились Ананьев, майор Кудрявцев, Расул и Сметанин.

Выпускающий, командир аэростатной команды, залез в кабину, махнул рукой. Трое солдат, державших кабину, отпустили ее; барабан лебедки закрутился, отдавая трос, аэростат быстро пошел вверх...

— Василий Иванович, успеете сегодня всех обслужить? — спросил майор Кудрявцев у выпускающего.

— Даже не скажу. День какой-то шепутной. С утра отказчик попался, из первого батальона... И прыжков у него десяток... а что-то забоялся, заплакал даже...

— Да-да, знаю... Говорили с ним; обещает завтра прыгнуть.

Все, что находилось на земле, стало быстро мельчать; взглянув вниз на массу людей, можно было подумать, что это бивак старинной армии: составленные в ряды лыжи были похожи на пиццали на рогульках.

— Как, малыцы, прыгать или плакать будем? — весело спросил выпускающий.

Сметанин смотрел вниз. Зимний день на высоте стал бесшумным. Заснеженная земля слилась в одно громадное весеннее озеро с темно-синими островами — лоскутами лесов.

— Скажете тоже — «плакать»... Первым у нас москвич идет... Сколько прыжков? — спросил майор Кудрявцев у Сметанина.

— Я первый раз...

— Приготовиться... Только не топтаться и быстро... Выпускающий мельком осмотрел крепление карабинов вытяжного фала на тросе, приоткрыл дверцу, сделал жест рукой, обозначающий «встали»...

Все поднялись.

Выпускающий подмигнул Сергею:

— Ноги вместе... Давай...

Сергей не слышал его слов, увидел только это подмигивание. Ему вдруг стало жарко.

«Прыгну! Прыгну! Прыгну!» — заклинанием говорил он про себя единственное слово.

Он встал, и стоять ему было тяжело.

— Пошел! — крикнул выпускающий и хлопнул Сметанина по плечу.

— Москвич, вперед! — услышал Сметанин голос майора Кудрявцева; Сергею показалось, будто он сам это крикнул...

Сергей сделал шаг на приступок, оттолкнулся, бесконечно проваливаясь, полетел на одном дыхании... Над головой ухнуло, словно огромный камень кинули в темную воду омут; в глазах Сметанина поплыли оранжевые круги — парашют раскрылся. Сергей остановился посреди неба, вдохнул полной грудью. Ему не хотелось опускаться на землю; он закричал:

— Эхо-хо!

И едва себя услышал.

4. — Надо в библиотеку записаться, — сказал Расул. — Слушай, сбегает, это ведь рядом...

— Служебки есть — можно пойти, — согласился Сметанин. — Ярцев, идем?

— У Иванова придется отпрашиваться. — Ярцев поморщился. — Ну его...

— Мы же на полчаса... Время сейчас личное...

— Я с вами, — сказал Андреев, — только без бушлатов холодно.

— Если я без бушлата, — сказал Расул, — то тебе по снегу босиком можно... Не нарушай компанию...

— Вы куда двинули? — спросил Ананьев.

— В библиотеку... Пошли, Ананьич: ты у нас за старшего будешь...

— Ладно, мне все равно книги менять надо...

Вышли на улицу, еще не чувствуя холода, оскальзываясь, побежали, при свете радужных от мороза желтых фонарей, по главной аллее мимо тополей в сугробах, потом наискосок через плац по протоптанной тропинке. У порога обмели сапоги веником и вошли в казарму, где слева находилась солдатская чайная, откуда пахло дешевым печеньем и мылом, а справа — библиотека.

Здесь было тепло, тихо... Столы с разложенными на них подшивками газет стояли по-школьному — в два ряда. Полки с книгами от остального зала отгораживал коричневый барьер...

— Записываться? — спросила из-за барьера молодая женщина.

Она сидела у стола. Свет зеленой лампы мягко освещал ее лицо.

Солдаты остановились. Ярцев одернул гимнастерку; Расул глянул на свои тупоносые кирзовые сапоги и вздохнул; Андреев пытался припомнить слова, которые он говорил девушкам при знакомстве.

— Здравствуйте, Нина Васильевна, — сказал Ананьев. — Молодежь привел...

— Здравствуйте, — сказала Нина Васильевна и наклонила голову, чтобы солдаты не заметили ее улыбки. — У вас уже есть служебные книжки? — справясь с улыбкой, спросила она почти строго.

Сметанин решительно сделал шаг до барьера, положил на него свою серую служебную книжку и посмотрел на Нину Васильевну. «Какие у нее пухлые губы, как у ребенка...»

— На днях получили, — сказал он.

— Насколько лучше паспорт, — усмехнулся Андреев; заложив руки в карманы, он придиричиво оглядывал зал библиотеки. — Паспорт — и ты, как птица...

Целых полтора месяца Митя не видел женщин и теперь, даже остриженный, он хотел заставить эту библиотекаршу заметить его.

Нина Васильевна взяла служебную книжку Сергея.

— Сметанин, — произнесла она нараспев. — Где-то я слышала вашу фамилию... «Это Марат говорил, — вспомнила она, — ругал его за что-то, а он совсем ничего... даже симпатичный...»

— Не знаю, — пожал плечами Сметанин. — Прославиться я как будто еще не успел.

— А вам непременно слава нужна? — улыбнулась Нина Васильевна Сметанину.

Первое время, работая в библиотеке, она пугалась того будоражащего чувства, которое испытывала, когда солдаты, приходя за книгами, смотрели на нее полувлюбленными глазами. Так мнительным людям каждое непривычное ощущение кажется болезнью. Нина Васильевна старалась быть нарочито строгой; она тогда чуть не сказала мужу, что испытывает. Но, подумав, решила не говорить. Она любила Марата, и ей казалось, что эта любовь появилась с того момента, как однажды, поссорясь еще до женитьбы, они пошли по улице в разные стороны и она, обернувшись, увидела его прямую курсантскую одинокую спину.

Теперь, спустя три года, чужие взгляды смущали ее редко, и она могла позволить себе быть веселой, ей нравилось, что мальчишки-солдаты часто заходят в библиотеку, чтобы только увидеть ее.

— Слава — это, наверное, неплохо. — Сметанин снова посмотрел на Нину Васильевну. «Улыбается

почти как Лена, и глаза... белки глаз, словно перламутровые... это у всех красивых женщин...»

— У вас здесь свободный доступ к книгам? — Расул положил на барьер свою служебную книжку. Нина Васильевна кивнула ему.

— Да,— протянул Андреев иронически,— маловато книг...

Книг Митя брать пока не собирался, понимая, что читать сейчас не придется; но он хотел сразу поставить все на свое место: конечно, библиотекаря — женщина красивая, но они жители столичные и не такие библиотеки и не таких женщин видели.

Нина Васильевна внезапно покраснела до слез. Она тщательно собирала библиотеку и не просто покупала книги на деньги, которые отпускались в часть, а старалась найти все лучшее, что появлялось в городе, разыскивала хорошие книги в букинистическом магазине, привозила их из Москвы. Библиотека полка получала и толстые литературные журналы. Когда свежий журнал приходил в часть, Нина Васильевна прочитывала его за два дня: самое, по ее мнению, интересное приносила домой, Марату, а потом по очереди выдавала журнал наиболее активным читателям.

Она мечтала о том, что в часть когда-нибудь придет пожилой известный писатель, который сумеет оценить собранные в полковой библиотеке книги.

Андреевское «маловато книг» напомнило ей о московских читальных залах, и этот десяток стеллажей показался ей обидно ничтожным. И она самой себе представилась жалкой, провинциальной женщиной...

— Извините, не знаю, как вас зовут,— обратился к ней Расул.

— Нина Васильевна, — сказала она тихо.

— А меня Расул Магомедов... Нина Васильевна, я вижу — Большая Советская Энциклопедия, можно будет брать по одному тому?..

— Энциклопедия не выдается... Да зачем она вам?

— А чтобы... Как бы это сказать? Чтобы пополнить багаж знаний...

— Он у нас камера хранения.— Андреев похлопал Расула по плечу.

— Ну, ты! — сказал Расул, не оборачиваясь к Андрееву, и пошел смотреть книги.

— Чего мне брать? Чтобы завлекало. — Ананьев стоял рядом со Сметаниным в проходе между полками. Сергей жадными глазами перебегал с корешка на корешок.

В книжном магазине, в библиотеке Сергею иногда казалось, что ему нужна не та или иная книга, а лишь возможность взять книгу в руки, открыть ее, листать страницы... К каждой новой книге он должен был сперва привыкнуть, как привыкают к новым вещам, и только потом, сжившись с книгой, мог читать ее по-настоящему.

На полках стояло многое из того, о чем Сергей знал только понаслышке.

«Отличная библиотека». Переводя взгляд с корешка на корешок, Сметанин предвкушал удовольствие. Он увидел «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова и уже потянулся к ней, но вдруг ему захотелось найти такую книгу, взяв которую можно было бы удивить Нину Васильевну. Сергей сам не осознавал, почему хочет быть замеченным ею; он лишь чувствовал, что ощущение внезапной радости, появлявшееся прежде в его душе, когда он видел Лену или думал о Лене, ощущение, давно не возникавшее, слабо ожило в нем.



Сметанин увидел белые буквики: «Плутарх»... «Возьму Плутарха!»

— Ты что, оглох? — Ананьев подтолкнул Сергея. — Чего мне взять?

— Вон там, внизу... да вон, вон, «Королева Марго»... Читал? Нет?! Я ее прочитал лет в десять; до сих пор помню...

— Ладно, — согласился Ананьев, — поверю.

«Плутарх» — записала Нина Васильевна в формуляр и посмотрела на Сергея снизу вверх с любопытством.

Среди ночи Сметанин проснулся, сунул ноги в холодные сапоги и пошел между кроватями.

В классе взвода связи горел свет; Сергей приоткрыл дверь.

Ананьев, в нижнем белье, в накинутах на плечи шинели, сидел за столом в дальнем углу и читал.

— Ананьич! — окликнул Сметанин.

Ананьев поднял голову от книги:

— Молодец... Ты просто молодчага... Это ж такая книга...

— Ананьич, слушай: Нина Васильевна...

— Понравилась? — Ананьев загнул угол страницы и закрыл книгу. — То-то...

— Ты страницы не загибай...

— Нина Васильевна — жена Углова, нашего взводного... Мы к ним дрова ходили пилить, а она...

— Ладно, я спать пойду...

— Постой! Послушай... — Ананьев распахнул книгу. — Где это?.. Ага. Слушай: «На помощь! — кричала королева Наваррская вне себя. — На помощь!»

— Ты что, дурак?! — заглянул в класс дневальный. — Орешь...

— «Ах! Вы убиваете меня! — с отчаянием сказал Ла Моль. — Умирать от звука такого чарующего голоса...» — громко прошептал Ананьев из своего угла...

V

1. Слухи, которые ходят среди солдат о планах командования и их изменениях, обычно точны. Дело здесь не только в том, что писарь из штаба шепнул своему земляку, когда и в чем батальон или рота будут «задействованы»; просто бывалый солдат умеет улавливать малейшие изменения привычного течения казарменной жизни, знает отношения, существующие в части; это позволяет ему предугадывать будущее и готовиться к нему.

То, что вместо первого батальона на стрельбы пойдет третий, для многих было ясно с самого начала. Командир третьего батальона Мишин был в отпуске, и комбату первого не составляло большого труда убедить командование части изменить первоначальные планы и провести в его батальоне сперва ротные учения, а уж затем стрельбы. Тем самым выигрывалась неделя, которая, как казалось ему и всем в его батальоне, будет решающей в закреплении навыков стрельбы у молодых солдат.

Окончательно о том, что в лагерь выходит третий батальон, было объявлено за два дня до выхода.

Связисты проверяли рации, носили на зарядку черные тяжелые ящики аккумуляторов, чистили оружие, подгоняли лыжи и амуницию...

2. Батальон вышел из военного городка сразу после завтрака. Миновали малолюдный днем центр города. Шли в десантном обмундировании: легких теплых брюках, покрытых зеленой шелковистой материей, и таких же куртках с серыми воротниками. За неимением знаков различия эта форма могла бы сойти за гражданскую одежду, если бы в нее не было одето сразу столько людей.

Впереди батальона, чуть сзади заместителей комбата, шел взвод связи.

Нагруженный рацией, лыжами, автоматом, противоголоном, Сметанин вразвалку шагал рядом с Андреевым в первой шеренге.

По окоченелой, оцинкованной льдом реке шарилась с сухим шорохом поземка. Пегое от снежных застрогов поле реки слева на повороте сливалось с серым низким небом, в той стороне виднелась обозначенная елками транспортная переправа с редкими машинами, пронесшимися на полной скорости; за ней выпирал полуостров, возвышающийся над рекой стенами старого монастыря.

Не доходя метров двухсот до берега, Золотов увидел армейский «газик» и стоящего рядом с ним высокого человека.

— Никак Мишин, — обернулся Золотов к Сметанину.

— Где?

Уже многие заметили командира батальона.

— Держись, салаги! — крикнул кто-то в роту. — Дядя Федя после отпуска отдохнул...

Сметанин взглянул в человека у машины.

«Я же его видел... перед отправкой, в Москве... Человек как человек...»

Батальон стал быстро выходить на берег и строиться на гребне дамбы перед деревянными домами набережной заречья. Тем, кто шел позади, пришлось бежать...

Все — офицеры и солдаты, — занимая места в строю, невольно поглядывали в сторону комбата.

Подполковник Мишин стоял, чуть расставив ноги в больших валенках, спрятав руки за спиной. Через плечо на длинном ремешке у него висела потертая, хорошей кожи рыжая полевая сумка. Он то и дело раскачивался с пятки на носок, словно был в новых сапогах, и ему доставляло удовольствие поскрипывать ими. Прищуренным, слегка насмешливым взглядом подполковник Мишин смотрел на своего заместителя по строевой части майора Изотова, который замешал его во время отпуска.

По мере того, как с шумом и некоторой суетой, создаваемой молодыми солдатами, батальон строился, лицо Мишина все более мрачнело.

— Смирно! — Майор Изотов, невысокий, кругленький, расправив плечи, пошел строевым шагом к подполковнику Мишину.

Мишин вытянулся, сдернул меховую перчатку с правой руки, приложил к виску загорелую крупную ладонь, при этом мизинец у него оттопырился...

Сметанину было смешно смотреть на этот мизинец.

«Как у томной барышни с чашечкой кофе...»

Невдалеке толпились мальчишки с портфелями. Глядя на строй солдат по одну сторону и на мальчишек и Мишина по другую, можно было подумать, что два подразделения приветствуют друг друга.

Мишин выслушал рапорт, хмуро поглядывая на батальон. Он сделал несколько широких шагов вперед, с отсутствующим лицом повел взглядом с левого фланга на правый, тихо сказал:

— Здравствуйте, товарищи...

Ответное приветствие сорвалось.

— Не авантажный вид у войска, — покачал головой Мишин; не отрывая ладони от виска, левой ру-

кой в перчатке он потрогал усы, словно проверяя, на месте ли они.— Что ж, будем тренироваться...

— Начинается,— громко прошептал Золотов.

Мальчишки кричали следом за батальоном:

— Здравия желаем, товарищ подполковник!

Мишин не обращал на них внимания.

Наконец раздалась команда, и батальон двинулся вверх по улице, а вслед все несло мальчишеское, недружное, звонкое:

— Здравия желаем, товарищ подполковник!

— Что же вы, Федор Михайлович, с корабля да на бал?.. Подсуропили нам эти стрельбы, очередь-то не наша.— Майор Изотов чувствовал себя виноватым за неудачное построение, за эти внеплановые стрельбы.— Как отдохнулось?

— Если подобное построение считать балом, тогда вы правы,— сухо ответил Мишин.— Обыкновенно отдохнулось, благодарю. Вызовите в голову колонны командиров рот.

— Командиры рот, к командиру батальона! — обернулся Изотов к связистам.

— Командиры рот, к командиру батальона! — церемониально пошло по колонне.

— Товарищи офицеры, я вас собрал, чтобы на ходу сообщить боевую задачу: противник занял оборону в районе деревни Харпуново силами до двух рот... Надеюсь, местность вам известна без карт...

Золотов присвистнул тихонько.

— Чего? Чего? — забеспокоился Градов.

— Сейчас догадаешься... Повело kota на мясо...

«Неужели будут учения?» Все, что Сметанин слышал об учениях от старослужащих, казалось, по их рассказам, делом тяжелым, которое выдержать может не всякий... Эти рассказы, дополненные картинками, нарисованными его собственным воображением, превращали само слово «учения» в нечто пугающее, словно «рыбий жир» или «укол» в детстве.

«Зачем же, кому это надо, чтобы я сейчас бежал, нагруженный, как вьючное животное, или полз по мерзлой, заснеженной земле?.. Сейчас бы в тепло...»

Сергей вспомнил белые узоры меловых формул на черной доске в защищенной толстыми стенами аудитории университета. «Там не было ни ветра, ни мороза, ни рации за спиной...»

— Товарищ подполковник, разрешите вопрос? — обратился к комбату командир седьмой роты.

— По существу, пожалуйста...

— Роты настроены на марш, они не готовы к учениям...

— Не понимаю,— обернулся к нему Мишин.

— Люди готовились к маршу до лагерей Сосновых; молодые солдаты по-настоящему еще не втянуты, им будет трудно...

«Правильно, правильно,— возликовал Сметанин, ловя каждое слово.— Какой он милый, какой приятный человек!..»

Он другими глазами взглянул на сухую, подтянутую фигуру капитана, которого прежде не замечал.

— И все-таки не понимаю... Что за стенания? У нас, десантников, готовность номер один, а вы: «готовились к маршу»... В таком разе я вам сообщу, что они лучше всего к посиделкам готовы... Итак, девятая рота — левый фланг, седьмая — правый, восьмая и все спец — центр. От каждой роты выделить по отделению на предмет имитации противника на рубеже Харпуново. Старший этой группы вы, товарищ капитан. — Мишин кивнул командиру восьмой роты.— Оставьте своего заместителя, а я проверю тактическое искусство вашего подразделения. Связь зрительная и голосом. Общий сигнал атаки — зеленая ракета... Вопросы?

— Как же с лыжами? Сейчас на лыжах в поле не особенно пойдешь — снега мало, а с ними несподручно...

— Предусмотрено. Лыжи поротно сложить на обочине и оставить по одному солдату из взвода, из старослужащих... Машина подойдет.

3. Сергей привалился боком к борту ложбинки так, чтобы рация упиралась в землю и не чувствовался ее вес. Он был счастлив тем, что лежит недалеко от дороги, а не где-нибудь на фланге — тогда при свертывании батальона в походный порядок ему пришлось бы бежать лишних полтора километра.

Перед собой он видел торчащий из-под снега голый бугорок, на котором порывистый низовый ветер шуршал сухими клочками пожелтой травы.

Цепочка теплых неярких огней деревни провисла на темном холме. Батальон, развернутый в цепь, лежал у подножия в ожидании атаки.

«Я дойду до этих огней — и потом все, потом лягу и усну; черт со всем, дальше я не пойду», — медленно думал Сметанин, отлично зная, что он не сможет, не сможет физически не пойти за рубеж этих огней, если пойдут все... Но сама мысль о том, что можно упасть, лежать, не двигаясь, была сладостна.

Подполковник Мишин стоял позади цепи, невдалеке от того места, где лежал Сметанин; он держал в руках сигнальную ракету, похожую на футляр большого термометра. Казалось, Мишин ждал какого-то тайного для остальных момента, чтобы отвернуть зеленый колпачок ракеты, дернуть нить, давая тем самым сигнал к движению, к броску вперед десяткам людей.

Ему нравились мгновения перед атакой; само ощущение жизни обострялось для него. Где-то в глубине памяти возникал пронизывающий все существо озноб ожидания настоящей атаки, когда отговорила артподготовка, от тишины знобит, а горячка боя еще не раскалила мозг, и чувство неизвестности пульсирует в каждой его клеточке: «нет» — «да»; «жив» — «мертв»... Вместе с этими давними ощущениями Мишин твердо сознавал, что атака, в которую сейчас должны идти его люди, — учебная; ни один из них не будет ни убит, ни ранен; рядом с ним самим не чиркнет пуля.

Вдруг, как плоский камень, пущенный по воде ловкой рукой, откуда-то с правого фланга выскочил заяц и бесечно запрыгал по дуге, которую составляли залегшие солдаты. Улюлюканье и свист сопровождали его. Кто-то вскочил, побежал следом...

— Ложись! — закричал этому человеку Мишин.

Человек упал.

— Ах ты, длинноухий, — пробормотал Мишин зайцу, — какую атаку изгадил...

Подполковник Мишин спешащими пальцами свинтил колпачок с сигнальной ракеты, направил ее в небо, дернул нить... С мгновенным хлопком, с протяжным шипением ацетиленовой горелки ракета пошла в темную глубину выси; где-то в своем зените еще раз хлопнула; над полем и холмом, заливая все окрест слабой зеленью, повисло ее леденцовое свечение.

— Ура! Ура! — закричали по фронту.

Ракета погасла. Стало еще темнее, чем несколько секунд назад.

С задних дворов деревни световой морзянкой холостых патронов ударили автоматы.

Сергей пошел было со всеми на эти выстрелы, но остановился...

«Градов лежал рядом... Не встал со мной... И не догоняет...»

Сметанин вернулся к ложбине.
 — Градов! — окликнул он.
 — Чего? — Градов сидел на земле.
 — Вставай, идти надо...
 — Иди ты...
 — Что злишься?.. Устал? Давай автомат... Говорят, от Харпунова до лагерей уже недалеко...
 Градов встал.

— Знать бы про десантные войска... Я думал, на машинах да на машинах... А тут переть пехом...

Сметанин взял у него автомат.

— Догоняй потихоньку. — Он двинулся вперед. Градов, чертыхаясь, пошел следом.

Казалось, что прошагать сорок километров, пусть даже с полной выкладкой и попутными непредвиденными учениями, не составит особого труда молодым, здоровым людям. Но так длинны незнакомые дороги!..

Стемнело совершенно. Машины мгновенно проносились по шоссе, ослепляя светом фар, и движение колонны казалось до обидности незаметным.

4. «Вышка» — двухэтажный, бело оштукатуренный дом со стеклянной будкой на крыше — господствовала над местностью. Фасадом она была обращена к стрельбищному полю, к невысокому сосновому лесу за ним; в тылу, за неглубокой линией учебных окопов и кочковатого луга, шла шоссе-яная дорога. С правого фланга вплотную к «Вышке» примыкал взрослый сосняк; слева открывалась синька далей, на которой плоско проступали деревня и церковь с остовами куполов.

Когда утром другого дня Сметанин после команды «подъем», спрыгнув со второго этажа нар, выбежал из душной комнаты на улицу и увидел деревенку и церковь, они ему показались ненастоящими.

«Где же я это читал? — вспоминал он, делая вслед за ухающими командами Иванова наклоны и приседания. — Такая же деревушка, церковь, стрельбище... а деревушка и церковь, как декорации, из досок... Ах да, это же у Гайдара про блиндаж и детей, только там еще была мельница... Наверное, это тоже стрельбищная деревенька...»

Сергею стало весело от мысли, что то, о чем он когда-то читал, существует на самом деле: он захотел, чтобы сегодняшний день начинался побыстрее, чтобы сегодня же можно было попасть туда — в эту даль...

— Сметанин, — не прекращая движений, закричал им в такт Иванов. — О чем думаешь?! Руки на бок! Руки на бок! Резче! Резче!

Побежали по мягкой, мшистой тропе, огибая прилегающие к зданию «Вышки» строения, направо к лесу.

От вчерашнего похода болели ноги, но эта мускульная боль, ее преодоление были приятны, как и тишина, налитая морозом.

5. Благодушные и медлительные после сытного завтрака, солдаты батальона были построены на утренний развод занятий.

Подполковник Мишин, свежий, подтянутый, единственный среди офицеров обутом в сапоги — все остальные были в валенках, — обходил строй. Он шел медленно, окидывая взглядом каждого в первой шеренге, то и дело заходя во вторую и третью, молча указывая на недостатки в одежде, иным сам поправляя то шапки, то ослабленные ремни, то поднятые воротники курток.

Мишин остановился перед связистами.

Сметанину показалось, что командир батальона смотрит на него.

— И это связь, это интеллигенция батальона... — сказал Мишин. — Посмотрите на себя, вы, гвардеец...

Мишин протянул руки, с силой стянул воротник куртки Ананьева и застегнул верхний крючок.

Ананьев заулыбался.

— Здесь слезам место, — сказал Мишин и прищурился.

— Щекотно, товарищ подполковник...

Мишин тяжелыми, медленными шагами вышел на середину перед строем, обвел взглядом шеренги.

— Товарищи, — сказал он негромко и потрогал усы. — Кого я вижу перед собой? — Мишин поднял голову в слабую синеву неба. — Это не боевое подразделение, это какой-то женский батальон времен души Керенского... Даю пять минут времени для придания должного вида, после этого срока к нарушителям формы буду применять уставные меры... Офицеры и сержанты, ко мне...

Офицеры и сержанты сделали несколько шагов вперед. Мишин молча повернулся и пошел к казарме. Офицеры и сержанты потянулись следом...

— Расположение дядя Федя пошел проверять, — тихо сказал Ярцев Сметанину. — Сейчас стрелять пойдем. А вечером, я слышал, — в оцепление...

Перед боевыми стрельбами в близлежащие деревни, на пересечения дорог высылается оцепление: по два солдата-связиста в каждый пункт. Они должны предупредить местное население о начале стрельб и следить за тем, чтобы кто-нибудь ненароком не забрел в сектор обстрела. Оцепление держит радиосвязь с командным пунктом стрельбища.

Те места, куда посылались связисты, делились среди них на удобные и неудобные. Самой лучшей считалась поездка в оцепление в дальнюю деревню, куда начальство, особенно зимой, не добиралось. Деревни, как правило, были привилегией старослужащих; они ездили в одну и ту же деревню, где были у них добрые знакомые, в домах у которых они останавливались и жили совершенно гражданской жизнью. Молодых же солдат посылали на перекрестки дорог недалеко от стрельбища, где всего-то и удовольствия было: костер да глухая тишина.

— Говорят, в деревню в оцепление можно попасть, — сказал Сметанин.

— Замучаешься ездить, — услышав его слова, сказал Золотов. — В оцепление... — протянул он, — третий год на «Вышке» и в лесу будем сидеть, а салаги на печках спать...

— Ты чего, я так...

— А «так» и болтать нечего... Куда назначат, туда пойдешь.

«Нашел чем хвастать, — «третий год»... — подумал Сметанин с неприязнью.

— Сейчас бы где-нибудь перехватить минуточек шестьсот, — сладко потянулся Градов.

— На стрельбище належишься, — пообещал Панкратов.

— Разговорчики, — сказал Золотов. — Мишин идет...

6. «Черт, мимо...»

— Спокойнее, Сметанин, спокойнее, — сказал за его спиной Углов. — Сейчас еще раз... Выше бери...

После выстрела отдаленный наушниками шапки его голос был слабо слышен.

«А Валька Ярцев попал с первого показа...»

Фанерный человек — поясная зеленая мишень в ста метрах от Сметанина — опустился, но он уже успел засечь место, откуда тот появлялся: как раз



в створе между верхушками двух высоких елей над ровной кромкой далекого леса.

Сергей скосил глаза на Ярцева и увидел, что тот лежит на боку, держа автомат над собой, готовый бежать к следующему рубежу; трехпалые армейские рукавицы были засунуты у него под ремень.

«Я свои не снял, дурак...»

Сметанин хотел было стащить перчатку с правой руки, с той, которая лежала на спусковом крючке автомата, но в это время Углов за его спиной крикнул:

— Показалась!

Он увидел мишень, и ему стало жарко от мысли, что он снова смажет, пули взметнут снег чуть в стороне и придется ждать третьего показа.

Задержав дыхание, приподняв ставший вдруг тяжелым автомат, крепко зажмурив левый глаз, он аккуратно посадил мишень на черный обрез планки, свел мушку с центром мишени; левой рукой до боли сжал цевье и надавил неуклюжим в перчатке, закованном указательным пальцем правой руки на податливый спусковой крючок.

Автомат содрогнулся у него в руке.

Сергей открыл левый глаз и увидел, что мишени нет...

«Попал! Попал!» — возликовал он.

«Попал! Попал!» — повторял он про себя, вставая по команде Углова и идя к следующему рубежу.

От быстрого шага по узкой тропе в свежем снегу, от счастья мысли об удачном выстреле ему стало теплее, зимнему дню в его глазах прибавилось света.

— ...да предохранитель, черт вас дерит, предохранитель! — услышал он голос Углова и обернулся.

Углов грозил ему черным в перчатке кулаком с зажатым в нем красным сигнальным флажком.

«Что это он? — подумал Сметанин. — Я же попал...»

Он прошел еще несколько шагов с этим чувством несправедливо обиженного человека.

— Я кому говорю — предохранитель! — подбегая к Сметанину совсем близко, закричал Углов.

«Это же он мне... я забыл...» Неловко, холодной рукой в перчатке, он сдвинул тугой предохранитель, стряхнул перчатку в снег, походя втоптал ее валенками и, сделав еще несколько шагов, услышал команду Углова:

— Ложись!

Сметанин распластался на рассыпчатом снегу рядом с синим столбиком, которым был отмечен очередной рубеж второй цели.

«Предохранитель!» — скомандовал он себе и передвинул рычажок в верхнее положение... «Расстояние!» — Он оттянул ползунок на прицельной планке и переставил его на отметку 200 метров.

— Показалась! — крикнул Углов.

«Я должен попасть...» — Сметанин вдавил приклад в плечо, сдвинул локти и напряг глаза, боясь потерять на фоне леса зеленую фигуру мишени.

Она поднялась чуть правее того места, где он предполагал ее увидеть, однако он заметил ее сразу, с холодной враждебностью повел ствол автомата, целясь и постепенно надавливая на спусковой крючок, выстрелил.

Его дважды сильно толкнуло в плечо; на мгновение он зажмурился, а открыв глаза, мишени не увидел.

— Встать! — скомандовал Углов.

Ярцев и Сметанин одновременно, со свойственной молодым солдатам на стрельбах старательной четкостью поднялись, перекинули автоматы через плечо дулами вверх...

— Кругом!

Сметанин повернулся; Углов поднимал его руку.

— С огневого рубежа, шагом марш... — негромко сказал Углов. — Держите... — протянул он Сметанину рукавицу.

— Спасибо...

— В другой раз повнимательней с оружием, а то кого-нибудь подстрелите невзначай...

— Ясно, — сказал Сметанин.

— Давайте-ка бегом. — Углов заметил на валу, над рвом исходной позиции, подполковника Мишина. — Бегом! — закричал Углов звонко.

Далеко справа, словно навстречу им, ударил ротный пулемет; затем утробно содрогнулась земля, и в тишину клином вбился звук выстрела безоткатного орудия.

7. Сметанин и Ярцев сидели перед костром, разложенным ими на земляном полу полуразвалившегося бревенчатого дома, который когда-то, еще до войны, был штабом части; здесь проходила заброшенная дорога от шоссе, краем стрельбищного леска и дальше — к какой-то неведомой деревне.

Чернели проемы окон. Отсветы огня колебались на покоробленных стенах, на стропилах прогнувшейся крыши, на холмике снега, наметенном в углу.

— А рубать не несут, — сказал Сметанин.

— Кому тащиться охота!... Старики по деревьям развезались — «картошка с грибочками солеными, огурчики...», Иванов... — Ярцев махнул рукой. — На Расула одна надежда...

Включенная на прием рация шумела у костра.

— Давай еще разочек с «Вышкой» свяжемся, — предложил Сергей.

— Толку-то, — Ярцев позоршил еловой веткой костер; затрещало легко, полетели искры. — Знаешь, иногда подумаю, какого черта мы здесь торчим...

— Назначили... — зевнул Сметанин. — Только зачем назначили: по этой дороге никто не ходит...

— Я не об этом, я вообще...

Сметанин протянул ладони к огню, согрел их и прижал к щекам.

— Зябко, хоть в костер полезай... Я тебе честно скажу... — Сергей встал и заходил около костра. — Сколько я рассуждений слышал: «Ах, армия!», «Ах, дисциплина!», «Ах, эти команды!...» Да... Вот холодно, это — фигово; рубать не несут — плохо; дисциплину я сам, понимаю, не больно люблю: подьемы всякие, отбой, но если взять самую основу, то, наверное, ни одно государство не заплатило такой большой кровью, чтобы быть сильным государством, какой заплатили мы... Вот тебе и «вообще»...

— Руки вверх! — закричал, неожиданно появившись в дверном проеме, Митя Андреев. — А мы с Расулом слышали... Надо будет на собрании обсудить ваши разговорчики...

— Иди ты!... — вяло отругнулся Сметанин.

Одно дело — разговаривать с Валькой Ярцевым, совсем другое — с Андреевым.

Митя поставил на бревно около костра котелок.

— Какой же это штаб? — Расул положил два одеяла, поставил свой котелок рядом с первым и удивленно огляделся. — Дом какой-то разваленный... Теперь понимаю, зачем Иванов велел одеяла взять...

Расул вытащил из-за пазухи две фляжки с чаем.

— Что новенького? — спросил Сметанин, присаживаясь на бревно и жадно принимаясь за едва теплую крутую пшеничную кашу.

— Все старенькое, — с усмешкой сказал Андреев. — Градов на «Вышке» устроился, а мы по лесу рыскаем... Ты ему, бугаю здоровому, автомат всю дорогу тащил... и дурак, он тебя-то даже не вспомнил...

— Дурак так дурак, — согласился Сметанин. — Курить принесли?

— Ой, забыли! — Расул взмахнул руками и хлопнул себя по бушлату. — Мы же оба не курим... Хочешь, я сбегаю?...

— Перебьемся...

— Как это — перебьемся? — спросил Расул и вытащил из кармана карандаш и маленький блокнотик, куда он записывал непонятные русские слова.

— Перебьемся, — значит проживем без чего-нибудь...

— Почту не привозили? — Ярцев отставил кашу и взялся за фляжку с чаем.

— Была бы, принесли. — Андреев снял рукавицы, положил их на бревно и присел на корточки у огня. — Что вздыхаешь, как слон в зоопарке? Письма идут тебе по два на неделю, а ты недоволен. Но, если трезво прикинуть, что одно письмо в год, что триста шестьдесят — без разницы... Три года есть три года: а женщина, она есть женщина, так они устроены, никуда не денешься.

Тоненькую пачку писем от Светланы Ярцев носил во внутреннем потайном кармане гимнастерки, который он сам пришил. Валентин не хотел, чтобы хоть строчка из этих писем попала на глаза чужому человеку. Иногда он доставал то одно, то другое письмо и читал: «...мама бросила меня на произвол судьбы — уехала в дом отдыха. Я сама себе хозяйка. Сегодня у меня «сладкий» день, и я ем только сладкое; купила полкило конфет и торт. Жалко, что ты далеко... Когда идет снег, я стою у окна и вспоминаю тебя...»

Читая это, Валентин сразу представлял комнату Светланы, то, как она стоит у окна, и вспоминал, что у этого окна он в первый раз ее поцеловал; окно было открыто, мальчишка закричал на улице: «Чур не вожу...», и Светлана испугалась...

— Уважаемый товарищ Андреев прочтет лекцию на тему «Женщины двадцатого века»... Слушай, зачем молчишь? Мы аплодисменты будем делать. — Расул захлопал.

— Читаю первую главу теоретического курса, — объявил Андреев. — Садись, Расул... Итак, предположим, рядовой Ярцев хотел жениться на известной особе и женился. Выиграл он или проиграл? Проиграл! Почему? Потому что круг его знакомств ограничен чрезвычайно — две-три одноклассницы, выбор равен почти нулю... Постепенно граница его общения с людьми будет расширяться, выбор увеличиваться; и по теории вероятности у него через несколько лет будет гораздо больше шансов встретить женщину, которая соответствует его идеалу... Вопросы?

— Трепач ты, — сказал Ярцев.

— Вопросов нет... Продолжайте ваш скудный ужин...

Шум радиации в углу прервался. Иванов откашлялся и произнес:

— Штаб, штаб, я — «Вышка». Как слышите меня? Прием...

В углу снова монотонно зашумело.

— Очень хорошо вас слышим, незабвенный товарищ Иванов. — Андреев поднял фляжку над головой. — Ваше здоровье...

Сергей встал, потянулся и сквозь пролом в стене вышел.

Над невысокими соснами прочерчивали темень раскаленные линии трассирующих пуль; время от времени медлительная ракета, зеленая или красная, поднималась к зениту, гася звезды, и зеленым или красным становился снег; сосны выбрасывали на него длинные тени и быстро втягивали их в себя.

Роты вели ночную стрельбу...

Через три дня батальон вернулся в город.

VI

1. Сметанин заступал в наряд в самое тяжелое время суток — с нуля до двух часов; в этот промежуток времени, в тепле, рядом со спящими людьми, безудержно тянет ко сну. Дневальный должен был стоять у тумбочки перед входом. Над постом горела лампа.

— Панкратов смылся, — сказал Сметанину Градов, которого он сменял.

— Как это смылся?

— В самоволку...

— А ты чего?

— А чего я? Куда он денется?.. Придет...

В ящик тумбочки Сметанин положил книгу; ящик он оставил выдвинутым и читал стоя. Садиться на табурет было не положено и опасно: можно уснуть и быть застигнутым врасплох дежурным по части.

Через пятнадцать минут у Сметанина заребило в глазах; он задвинул ящик, отошел к окну, открыл нижнюю форточку и высунул голову наружу; в лицо словно плеснули холодной водой.

Вдруг послышался быстрый топот сапог по лестнице. Сметанин метнулся к тумбочке, поправил шапку, одернул гимнастерку, замер...

В казарму вбежал Панкратов.

— Мишин был?

— Нет...

— Он меня засёк...

— Как?

— Иду, а он из переулочка... я сперва вроде не заметил, а когда заметил — за угол и рвать... он за мной... Сметанин, ты меня не видел. Бушлат заправь на вешалку... Дежурный по роте спит?

— Спит...

Панкратов в секунды разделся и затаился на койке. У класса взвода связи Сергей аккуратно заправил на место бушлат Панкратова и встал у тумбочки в напряженном ожидании дальнейших событий.

Дверь снова распахнулась, стремительными, широкими шагами вошел и двинулся прямо на Сметанина подполковник Мишин, в руках у него был маленький чемоданчик.

«В баню, что ли, ходил...»

Сметанин четко сделал три шага навстречу комбату.

— Товарищ гвардии подполковник...

— Дежурного по роте ко мне! — прервал его Мишин.

Сметанин растолкал маленького сержанта из роты, который спал одетый, положив ноги в сапогах на табурет.

— Чего?.. Чего?..

— Комбат пришел... вызывает...

— Случилось чего? — вскакивая, застегивая ремень, надевая шапку и поправляя повязку на рукаве, хриплым со сна голосом спросил маленький сержант и откашлялся.

— Не знаю...

Сержант решительно пошел по коридору к Мишину, Сметанин за ним.

— Товарищ гвардии подполковник, за время моего дежурства в роте никаких происшествий не случилось. Дежурный по роте сержант Вдовин.

— А во взводе связи?

— Никак нет.

— Значит, все хорошо... Вы спите... Самовольщики по городу разгуливают. Так?

— Не могу знать...

— Где уж знать... Вам сон дорог... Пойдемте считаем связистов... эту батальонную интеллигенцию...

Они вдвоем прошли в спальный зал, где из угла раздавался чей-то храп.

«Сейчас он возьмется за меня», — азартно подумал Сметанин, готовясь молчать в любом случае.

— Так... — протянул Мишин, выходя из зала... — Все спят... и даже самовольщики спят... Дневальный!

— Я.

— Здесь кто-нибудь сейчас до меня проходил?

— Никак нет...

— Я вас спрашиваю, — особо выделяя «вас», сказал Мишин. — Вы никого не видели?

— Никак нет...

— Хо...ро...шо... — по слогам сказал Мишин и, заложив сжатые в кулаки руки за спину, покачался на носках, поскрипывая сапогами. — Очень хорошо... — Он посмотрел на Сметанина, опустив углы тонкого рта. — Дежурный по роте, объявите взводу связи тревогу. Наряд сменить, возьмите людей из своего взвода...

— Взвод связи! Тревога! — крикнул сержант в сонную глубину казармы — Взвод связи! Подъем! Тревога!

— Заткнись! — крикнули из зала.

— Связисты! В ружье! — крикнул во весь голос Мишин и зажгел свет.

Иванов, сбрасывая с себя одеяло, закричал:

— Посыльный! За командиром взвода!

Вставали с ланчой, щурясь от света, но, заметив Мишина, все начинали торопиться.

— Товарищ сержант, — обратился Мишин к Иванову, — постройте взвод на первом этаже в штабе батальона. Я буду там... — Мишин резко повернулся и вышел; дверь за ним тяжко ухнула.

Проснулась рота; одни едва подняв голову от подушек, другие — сев на кроватях, смотрели, как одеваются связисты.

— Андрей, чего это вас? — спросили Зопотова из роты.

— Делать ему нечего... — мрачно ответил Зопотов.

В окно постучали, и Углов проснулся. Он быстро прошел босиком по холодному полу и открыл форточку.

— Товарищ старший лейтенант, тревога! — крикнул Градов.

— Что там еще такое?

— Мишин говорит, видел нашего в самоволке. Он взводу тревогу объявил...

— А, черт... Ладно, иди, я тебя догоню...

— Закрой форточку, — попросила Нина.

Он отошел от окна и стал быстро одеваться.

— Что-нибудь серьезное?

— Везет мне... — Углов натянул сапог и сел на стул. — Самоволка... и попались Мишину. Он уж случая не упустит...

— Марат, подойди сюда...

— Ну, что? — Углов еще в одном сапоге подошел к кровати.

— Поближе...

Он наклонился.

Она обхватила его рукой за шею и поцеловала.

— Не волнуйся... Обойдется...

2. Штаб батальона размещался в небольшой комнате, где стояли два казенных шкафа, однотумбовый стол, стул около него, еще несколько у стены; между шкафами один на другом возвышались два маленьких коричневых сейфа. По стенам были развешены схемы и таблицы — творения батальонного писаря.

Мишин сидел, наклонясь к столу, он тихо сказал: — Товарищи связисты, один ваш товарищ тяжело нарушил воинскую дисциплину. Он был замечен мною в самовольной отлучке... Было это, Панкратов? — Мишин посмотрел на солдат, потрогал усы и снова опустил голову.

— Никак нет...

— Дневальный, когда рядовой Панкратов явился в казарму? — спросил Мишин Сметанина.

— Не могу знать... Я его не видел... Лег, наверное, спать вместе со всеми, — пожал плечами Сметанин.

— Никак нет... Не могу знать... — постепенно повышая голос, повторил Мишин. — Как скалу разрушают вода, ветер и солнце, так аморальщики и лгуны разрушают монолит нашей армии... Но я не позволю! Каленым железом мы будем выжигать в батальоне эту заразу... Не для того мы воевали, не за это нам Родина давала награды...

— Товарищ подполковник, — сказал в наступившей тишине Ананьев, — может быть, если бы мы воевали, у нас здесь, — он похлопал себя по левой стороне груди, — тоже бы что-нибудь было...

Мишин стремительно поднялся из-за стола, в этот момент открылась дверь штаба, вошел Углов, за ним стоял посыльный — Градов.

— Товарищ подполковник, старший лейтенант Углов по вашему приказанию прибыл...

— Отлично, — сказал Мишин. — Прекрасно, что прибыли. Слушайте боевой приказ: взводу связи немедленно выйти в район сосредоточения батальона и ждать там моих дальнейших приказаний... Форма: полная боевая, с рациями. Вопросы есть?

— Никак нет, — четко ответил Углов.

— Взвод! — командовал Мишин. — Нале-во! Из штаба шагом... марш!

Мишин остался один, сел на стул и стал старательно рассматривать календарь под стеклом.

«А может быть, ошибся?.. Нет! Каждого связиста ведь знаю... Конечно, Панкратов... Его фигура... бегаёт он здорово... А этот Сметанин покрывает...»

Мишин возвращался в первом часу ночи из городского Дома офицеров. Он взялся настроить там пианино — довоенный «Красный Октябрь». Инструмент был в плохом состоянии: трещина в деке, неисправен механизм... Он начал работу сразу после прихода батальона из лагерей. И утопляя молотком колки в буквой доске, меняя фильц — белый войлок на молоточках, укрепляя пружины глушителей, он вспоминал отца, его круглую спину, клочковатые седые волосы и то, как он стоит боком к инструменту, с никелированным настроенным ключом-восьмеркой, правой рукой держа этот ключ и поворачивая им колки, а пальцами левой ударяя по клавишам.

Свой первый инструмент, старенький «Беккер», подполковник Мишин отремонтировал и настроил в двенадцать лет, когда звали его Федькой и когда мечтал он стать великим пианистом. Правда, темпериацию, то есть тонкую настройку этого «Беккера», делал отец.

Иногда, бреясь и глядя на себя в зеркало, Мишин сомневался, был ли действительно этот коротко остриженный, тяжеловищий подполковник с ниточкой усов над верхней губой тем мальчиком, который ходил в музыкальную школу и мог заплакать только оттого, что где-то далеко в летнем саду духовой оркестр плавно выводит вальс «На сопках Маньчжурии».

Мишин ушел в армию шестнадцати лет, вместе с отцом в ополчение. Он пригрозил родителям, что все равно сбежит на фронт. Мать, зная характер

сына, отпустила его с отцом — так ей казалось спокойнее, безопаснее.

Подполковник Мишин хорошо помнил то лето, ту осень — тысяча девятьсот сорок первый год.

Он помнил, как третьего июля они с отцом пришли к серому зданию райкома партии записываться в ополчение.

Через сутки, разделенные двумя шеренгами, они шагали в общей колонне еще по-граждански одетых, невооруженных людей, пели со всеми: «Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее...»

На московских улицах им вслед оглядывались редкие прохожие и козыряли милиционеры...

Потом был сосняк в Химках, пыль знойных дорог, натертые ноги, гул немецких самолетов, бомбежки, горячие спелые хлеба, горящие деревни, линии свежих окопов, чужие танки...

Отец погиб под Вязьмой десятого октября.

А Федор Мишин попал в плен, но бежал, вышел к своим и прошел до конца всю войну, до Кенигсберга, где был легко контужен и где осколком мины ему отсекло кончик безымянного пальца на левой руке...

К строевой службе он оказался годен, но музыкой заниматься уже не мог, только иногда для души занимался настройкой...

3. Жесткий, оледенелый в крупные зерна наст хрустел под лыжами. Луна в радужной пелене светила над открытым полем. На дальних холмах темнел лес.

Взвод молча и спорно, будто совершая привычную работу, двигался по обочине дороги.

Сметанину было тяжело держать общий напряженный темп; всего час назад у тумбочки дневального каждая клетка его тела жадно ждала сладкого мгновения: холода простынь, жесткой подушки, тишины засыпания... Но надо было идти и идти, не отставая от товарищей, чувствуя за спиной тяжесть сундучка рации, вдыхая холодный ветер. Несмотря на большую усталость от бессонной ночи и этого движения, на душе у Сметанина было легко. Он знал твердо со школьных лет, что выдавать товарища плохо; и то, что он поступил так, как привык, не боясь Мишина, облегчало ему работу.

Машина с фарами, приглушенными сверху щитами светомаскировки, на большой скорости обогнала взвод, притормозила метрах в трехстах впереди.

— Шуршим, братцы, живее; дядя Федя подкатил...

— Давай принципиальный перекур...

— Кончай гам! — крикнул Углов.

— Отставить разговоры! — повторил за ним Иванов.

Углов понимал, что командир батальона отдал приказ сгоряча. Нельзя же было из-за одного человека поднимать взвод и посылать людей в район сосредоточения.

«Его самого за это по головке не погладят», — думал Углов, вспоминая все те слова, которые говорили недавно Мишину на партийном собрании о его резкости и чрезмерной суровости к подчиненным.

Все замолчали. И так же молча, подчеркнuto молча и энергично, подошли и миновали место, где стояла машина; за ветровым стеклом рядом с шофером в редких вспышках сигарет было видно лицо комбата.

Мишин испытывал сейчас некоторую неловкость перед Угловым за то, что поднял его взвод по тревоге: завтра в полку пойдут разговоры, Углова будут вызывать к начальству — и все из-за того, что Мишину показалось, будто солдат, мелькнувший впе-

реди него на ночной улице, — Панкратов. Ему пред-
ставились мысли Углова и солдат, идущих одинокой
цепочкой по снежному полю; они могли только ру-
гать его и думать, что старый холостяк бесится от
одиночества. Сейчас погоня за солдатом казалась
ему глупой. Он почувствовал, что сам себе испортил
вечер. Но тогда — в первую минуту, только увидев
знакомую фигуру, — Мишин мгновенно и ясно вспом-
нил страшный случай десятилетней давности: двое
солдат его роты ушли на ночь в деревню, где в пя-
тое послевоенное лето справляли пьяно и горько яб-
лочный спас, и один из солдат был там убит под ут-
ро, — из ревности ли, из пьяного ли озорства его
полоснули ржавым серпом по горлу.

Мать солдата, приехав на похороны, кричала Ми-
шину — тогда еще ротному командиру: «Убийца!»
А он командовал ротой всего вторую неделю...

Дверца машины распахнулась; подполковник Ми-
шин крикнул вслед взводу:

— Командир взвода связи! Ко мне!

Углов резко, одним переносом лыж, развернулся
и подъехал к машине.

Взвод остановился. Солдаты, воткнув впереди се-
бя лыжные палки, наклонились, опираясь на них.

— Взвод, стой, — тихо сказал Иванов уже после
того, как Маков, шедший впереди, и за ним весь
взвод остановились.

— Дерьмо ты, Васька — сказал негромко Золотов.

— А чего? — задиристо спросил Панкратов; он
чувствовал за собой мальчишескую правоту лихого
и ловкого человека.

— А ни хрена... Ты удовольствие справляешь, а
Углова по твоей милости долбить теперь будут...

— Так Мишин точно не знает: я, не я... Известно,
дядя Федя...

Был слышен ровный гуд проводов, по-зимнему ту-
го натянутых между черными, на четверть просмо-
ленными столбами, с белыми птичками изоляторов
на перекладинах.

Ананьев снял ушанку, прислушиваясь к разговору
у машины.

— Назад вроде вертать хочет, — сказал он.

— Шапку надеть, простынешь, — сказал Иванов.

— Благодарю, товарищ подполковник, я со взво-
дом, — услышали все голос Углова и увидели, как
он, козырнув, пошел не спеша назад.

Машина лихо развернулась, с места рванула к го-
роду.

(Окончание следует)



Иван Савельев



Лесом ли, полем пройду я,
Тропку ль взведу на холмы,—
Что мне январские думы,
Белые думы зимы!
Праздник веселых снежинок,
Чтоб ни о чем не жалеть,
Сколько осталось, скажи мне,
Думам твоим молодеть!
Как не хочу я лишиться
Этой недолгой любви,
Как они тихо ложатся,
Белые руки твои!
Помню, вот так же щемяще,
Нас не успели согреть
Руки отцов, уходящих
Вечной дорогой, сулящей
Славу да раннюю смерть...



Мальчишка с обручем несется
По дымным лужам напрямик.
А во дворе — лицом на солнце —
Сидит на лавочке старик.
Причесет луч его бородку.
Закурит дед. Захочет пить.
Поднимется. Идет к колодцу —
Так, словно учится ходить...

Прощанье с мартом

Легче стала ступать нога.
Выше — небо, леса, карнизы...
Понимаю твои снега.
Принимаю твои капризы.
За веселым моим селом
Я дышу наравне с природой
Тридцать первым твоим числом,
Как своим тридцать первым годом.
...Ты исчез, как дым, в синеве.
Но бегу я по первым лужам.
На весенней сырой траве
Твой последний след обнаружить.



Люблю неяркие цвета.
Они точней ведут рисунок.
Они негромко жить рискуют.
Цветам кричащим не чета
Люблю спокойный цвет звезды,
В веках сумевший сохраниться,
И неба цвет, и цвет воды,
Когда меж ними нет границы.

АЛЕКСАНДР
КРИВИЦКИЙ

утраченное

Турецкий
поэт-
коммунист
о двадцати
восьми
героях-
панфиловцах

Жарким июньским днем 1951 года мы поехали на аэродром встречать Назыма Хикмета. Семнадцать лет он был узником турецких тюрем и последние тринадцать провел в заключении без перерыва. За поэта вступились миллионы людей. Газеты разных стран били тревогу. Отдаленный гул натился к стенам тюрьмы в Бурсе.

Уступая разгневанной общественности, турецкие власти выпустили Хикмета на свободу. Он тайно бежал из Турции, опасаясь нового ареста, и вот теперь мы, радостно возбужденные, переговариваемся, то и дело задираем головы вверх, высматриваем в воздухе летящую точку. И кто-то сказал:

— Истинный поэт — дар небес

И кто-то дополнил или поправил:

— И как небесная влага, он сливается с землей...

А третий подвел итог:

— Очень красиво говорите, братцы! Смотрите, дар небес как раз уже сливается с земной твердью.

Самолет рулил в нашу сторону. Я ожидал увидеть турка, смуглолицего, с черными глазами-маслинами, может быть, даже в феске. Но из самолета вышел светловолосый, голубоглазый человек с красивым и бледным лицом. Единственно, что внешне принадлежало в нем Востоку, это мягкие, округлые жесты, то, как он сложил ладони у сердца, оставаясь на последней ступеньке лестницы, приставленной к «дугласу».

Весь тот первый день и вечер допоздна мы провели вместе с Хикметом. Я в ту пору редактировал международный отдел «Литературной газеты». На ее страницах мы вели яростную кампанию за освобождение поэта, печатали его стихи, подробности его биографии. И хотя за ужином милый Борис Горбатов, поблескивая стеклами очков, уже вербовал Назыма в болельщики футбольной команды «Шахтер», Хикмет все еще оставался во власти пережитого. Он хотел знать, как мы доставали его стихи. С какого языка мы переводили, с турецкого или с французского? Кто его переводчики? Перепечатывала ли иностранная пресса эти наши материалы? Он спрашивал, изумлялся и снова спрашивал.

Назавтра он приехал к нам в редакцию. Я водил его по «иностранным» кабинетам, рассказывал о нашей работе, знакомил с людьми, а к концу этой экскурсии припас сюрприз. «Вот, — говорю, — хочу тебе представить человека, который, собственно, и вызволил тебя из кутузки. Шучу, конечно, а все же...»

Высокий худощавый парень стоял перед нами. Он и был тем самым сотрудником, который непосредственно отвечал в отделе за материалы о Хикмете. Парень этот лишь недавно поднялся с университетской скамьи, был еще «зеленым», поначалу держался в редакции обособленно, отчужденно, тянуло от него этаким эгоцентризмом.

Но на наших глазах происходило чудо. Порученная ему «борьба за Хикмета» меняла его буквально на глазах. Он вплотную прикоснулся к чему-то большому. Он увидел, как сто стран — лучшее, что в них есть, — поднялись на защиту одного поэта. Он предметно ощутил общественную функцию литературы. Не в умозрительном, а в конкретном выражении утверждал он и свою причастность к тому высшему типу отношений между людьми, что зовутся интернационально-социалистическими. Он был очень молод, и Хикмет при всей реальности тюремного заключения казался ему существом полусказочным. Когда я шепнул этому юноше: «Хикмет скоро будет в Москве», — он просто обомлел.

И теперь вот поэт, узник Бурсы, еще недавно отделенный границей, расстоянием, решетками, запорами, огромным чужим миром, протягивал ему свою руку — парень дрожал от волнения. Живой Назым Хикмет, да еще какой! Не согбенный, а статный, не с потухшими глазами, а с твердым пытливым взглядом. Красивый и даже элегантный, в красном широком шарфе, повязанном на шее, как галстук. И только бледный, очень бледный.

— Вот, Назым, — говорю я, — это тот, кто отвечал у нас в газете за рубрику «Свободу Хикмету!». Но мало того. Он перевел несколько твоих стихотворений и сейчас, наверно, прочтет хотя бы одно...

— Спасибо, брат, — откликнулся Хикмет и полюбил молодого человека.

Я легко представил себе, что творилось на душе у моего юного сотрудника. Чуждавшее, незнакомое, но ставшее родным, вдруг вырвавшись из пестрого, бешено вращающегося клубка событий, пересекая моря и горы, придвинулось и стало рядом, вплотную.

— Читай, брат, — сказал Хикмет.

Мы уселись, кто на стульях, кто на столах отдела «литературы и искусства за рубежом», и парень дрогнувшим голосом произнес первую строчку... Он пошел красными пятнами, горло у него пересыхало, дважды пил он воду, но дочитал прекрасное

Продолжение см. на стр. 33.

И возвращенное

Назым
Хикмет



Перевод
Б. СЛУЦКОГО.

Человеческая панорама

У Халила рука смугла,
узловатые пальцы сильны.
Линия фронта пролегла
у самой столицы

Советской страны.

Карта, как понимаете вы,
чертеж.

На карте фронт идет от Москвы
в полутора сантиметрах.
А на земле, где снег идет,
в семидесяти километрах фронт идет
и менее

чем в семидесяти километрах.

Зато на земле, где сыплет снег,
врагу противостоит человек,
врагам человечества — новые люди,
черной смерти — светлая жизнь.

Так что фактически
враг от Москвы на расстоянии
роста нового человека.
Вот почему не в состоянии
Халил поверить

в возможность успеха
фашистов.

Сорок первый год. 16 ноября.

Тени немецких танков

на Волоколамском шоссе.

Двадцать немецких танков
через снега ползут.

Черные все.

Громадные все.

Каждый страшен и яроsten,
как слепой носорог,

уродлив, как пехлеван¹,
как пехлеван — глуп.

Каждый скорпиона напомнить бы мог,
если бы не был

так тяжек и груб.

В Петелино, в окопах,

двадцать восемь наших солдат

глядят на немецкие танки, ползущие
через снега,

усталые солдаты друг другу в глаза глядят:
они только что покончили с батальоном

врага.

Трупы еще валяются перед окопами.

Танки приближаются,

ревушие, словно гроза,

в окопе

прищуривает виноградины-глаза

Мустафа Сунгурбай:

— Ой, мамочка, — говорит, —

их двадцать голов! —

улыбаясь,

как охотник,

встретивший двадцать волков.

В окоп впрыгивает

комиссар Клочков.

— Привет, ребята!

И сразу смолкает,

как будто в запасе есть

у него

особенно хорошая весть.

В батальоне Диевым звали Клочкова.

Украинец Бондаренко придумал очень

толково:

Диев — значит «делал».

Жизнь, как тесто, месил

Клочков своими ручищами

уверенно и счастливо,

действовал

и передышки никогда не просил,

как муравей — работающий,

плодовитый, словно олива.

Окоп слушает Диева:

что им нужно делать!

— Я сосчитал: их двадцать.

А нас — двадцать девять.

На сорок пять процентов

их меньше, чем людей.

На сорок пять процентов

люди танков сильнее.

Однако Диев ошибся в расчетах:

один из солдат был трусом.

Когда на окоп навалился

танк

своим страшным грузом

и немец крикнул: «Сдавайтесь!», —

— Сдаюсь! —

этот трус сказал.

Общий, без команды

свалил его наземь залп.

В окопе осталось двадцать восемь.

Сражение длилось четыре часа.

Семеро людей

и четырнадцать танков

недвижно замерли на снегу...

Среди притихшего окопа

снова слышится голос Клочкова:

— Сосчитали новые!

— Нет.

— Их тридцать.

Старых, кроме того, шесть.

¹ Пехлеван — профессиональный борец.

Итого тридцать шесть.
Нас двадцать один человек.
Грубо говоря, на одного бойца
танков приходится примерно два.
Но будем, товарищи, стоять до конца.
Отступать некуда. За нами — Москва.
И тогда Кужебергенов сказал:

— Обнимемся!

Все посмотрели на него удивленно:
самый серьезный из всего батальона!
Сам в себе,

как рыба в воде,

Кужебергенов жил.

Не пел никогда,

не шутил нигде.

Ни с кем особенно не дружил.

— Пока есть время — обнимемся! —

повторил Кужебергенов.

И все обнялись.

Новые танки подошли совсем близко.

Сражение продлилось полчаса.

Погибло семь или восемь танков

и шестнадцать наших солдат.

У людей кончились боеприпасы,

только у Клочкова-Диева

осталась одна граната.

Но непобедимо сердце Дэва¹,

даже если Дэв безоружен.

Люди живут вместе,

сражаются вместе.

Умирают — каждый в одиночку.

Словно река из берегов выходит,

дождавшись нужного часа,—

так Кужебергенов из окопа выходит,

когда у него кончились боеприпасы.

Выпрямившись во весь рост,

скрестив руки,

так

Кужебергенов

пошел на танк.

«Быть или не быть» —

этой проблемы

не ведал советский боец.

Руки скрестив,

усмехаясь немо,

Кужебергенов

встречает конец.

Пулями плюнул танк.

Кужебергенов умер так.

Три немца выскочили

из горящего люка на снег.

Мустафа Сунгурбай медлить не стал.

— Ой, мамочка,

кончу сейчас их всех!

В оскале зубов

заблестела сталь,

В сиянье зубов —

сиянье ножа.

Нож

в зубах держа,

струйкой прополз Мустафа через снег

и кончил всех.

Но рядом взорвался горящий танк.

Мустафа Сунгурбай умер так.

Николай Масленко,

когда патроны кончились

с голыми руками

бросился на танк,

схватил гусеницу

и тут же скорчился.

Николай Масленко умер так.

Пальцы его

в иступлении

схватили сталь,

раздавили сталь.

В это время с гранатой последнюю

Диев-Клочков над снегом встал.

Словно в белоснежной постели —

не на черном снегу,

пули приняв,

что в него летели,

умер, как жил,

Клочков — на бегу.

Был он доволен, этот воин.

Был он,

этот воин,

спокоен,

потому что видел, как вспыхнул танк.

Диев-Клочков умер так.

Последний из двадцати восьми, Натаров,
был ранен.

Когда стемнело, из окопа

выполз, преодолевая боль,

вплача тяжелые, как оковы,

кровавые следы за собой,

Натаров,

а стонать он не мог,

кричать не мог,

потому что голос берег.

С вестью, застывшей на устах,

он полз,

а когда повстречался с людьми,

рассказал историю двадцати восьми

и умер.

Натаров умер так.

За ними была Москва

с кровью на белых бинтах своих.

За ними была Москва,

уверенная в них.

Двести миллионов, как один человек:

зенитка палит вверх.

а у зенитчицы в кармане стихи,

загнуты страниц углки.

Затемнено любое окно,

но Москве по-прежнему нравится

играть в шахматы,

ходить в кино,

слушать Чайковского и Штрауса.

Молодой рабочий ушел на фронт.

Новый станок уехал в тыл.

Но старый рабочий достает

старый станок, что на складе стыл.

Лучше нового

со всех ног

спешит, работает

старый станок.

Строит баррикады,

роет рвы

Москва

на окраинах Москвы,

и Пушкин стоит бронзовый,

слагая стихи для всех,

и на закате — розовый

на пелерине снег.

¹ Дэв — сказочный богатырь.

УТРАЧЕННОЕ И ВОЗВРАЩЕННОЕ

(Начало см. стр. 30).

стихотворение до конца. Мне оно очень нравилось, и я уже хотел показать Хикмету заранее приготовленный номер «Литературки», где оно было напечатано.

— Ну, как, хорошо? — обратился я к Назыму, гордый так, будто сам был автором перевода.

— Плохо, брат! — сказал Хикмет. — Очень плохо. — И я понял, что только сейчас и именно в эту минуту начинаю с ним знакомиться.

Подлинный смысл старинного выражения «ни жив ни мертв» я тоже понял только тогда, поглядев на молодого переводчика. Его пошатывало. Он прислонился к шкафу, набитому газетными вырезками, чтобы не упасть.

— Плохо, — повторил Хикмет без тени неловкости и без всяких извиняющихся ноток интонации или жестов.

Переводчик молчал. Я попытался обратить все в шутку:

— В Болгарии, когда говорят «да», то отрицательно качают головой. У вас, в Турции, когда хотят похвалить, то говорят «плохо», так, что ли?

— Нет, не так! — с ужасающей твердостью отклонил Хикмет мою попытку увести дело в пустоту. — Очень плохо! Разве я мог так написать?

В этом стихотворении речь шла о голодовке в тюрьме, и поэт говорил:

Не хочу умирать я, и если
За решеткой до смерти замучат меня палачи,
Все равно не умру!
Буду жить среди вас.
Буду жить —
В Поля Робсона песне,
В звонких стихах Арагона,
В смехе докеров Франции — моих сыновей...

— Разве я мог написать о стихах Арагона «звонкие»? Никогда. Какие угодно, брат, только не звонкие. Откуда взял эти «звонкие»? У меня такого не было. Пожалуй-ста, бери «строгие», «твердые», «четкие». Русский язык — локомотив. Он повезет, вывезет любой нюанс. Звонкие — так можно сказать про стихи Северянина, но не Арагона.

Если бы разверзлась земля и у наших ног пролегла трещина или ударил гром и молния сожгла бы листок бумаги в руках у бедного переводчика, — он и все, кто сидел вокруг, не смогли бы выказать большего волнения, чем в ту минуту, когда Хикмет сказал свое «плохо». Как? Ты только недавно покинул тюрьму, бежал из родной страны, вчера прибыл в СССР, а сегодня уже ругаешь перевод своего стихотворения? И сделанный кем? Человеком, бившимся на страницах газеты за твоё освобождение! Нет, это уж слишком, брат! Где же твоя вежливость? Мог бы и похвалить для начала. Или в крайнем случае промолчать, или пробормотать что-нибудь неопределенное. Нельзя же так сразу, напролом.

Но таков был Хикмет. Таким он оставался всегда — прямым, честным, открытым. Шло время, я узнал его близко и хорошо. Но тогда, в тот день, я, удивляясь и радуясь, слушал, как он с величайшей укоризной, но без всякой злобы продолжал разносить этот перевод, так доверчиво предложенный ему в редакционной комнате, где молодые ребята готовили материал для рубрики «Свободу Хикмету!». А оказавшись на свободе, Хикмет твердил:

— Как ты мог написать такое, брат? «Докеры Франции — моих сыновей». Я так не сказал. Докеры Франции не мои сыновья. Сознательный рабочий есть сын Ленина, не турецкого поэта. Я сам — сын Ленина. Докеры Франции — мои братья. — И Хикмет обвел нас серьезным, внимательным взглядом. — Я не писал «сыновья», где ты взял эти «сыновья», брат?

Шел скоротечный и блестящий урок политики и словесности...

Мы двинулись дальше, по этажам, оставив нашего переводчика в состоянии, близком к обморочному.

В коридоре я сказал Хикмету:

— Здорово ты его... — и сделал рукой секущее движение.

— Не здорово, — ответил Хикмет, — совсем, совсем дружески.

Нет, никогда мне не забыть этих первых хикметовских дней в Москве. Мы и потом встречались с ним — и у него дома, и у меня, и при общем деле. На моей книжной полке стоит рядок книг с его автографами.

Однажды, кажется, в день своего рождения, Хикмет созвал друзей. К концу пиршества, когда люди разбили о минувшей войне. Только что Пабло Неруда прочел свои с Назымом долгий разговор о минувшей войне. Только что Пабло Неруда прочел свои новые стихи, и это было как бы ритуалом богослужения неведомой религии. Он читал тихо, нараспев, молитвенно воздев короткие, пухлые руки и слегка раскачиваясь. Теперь он сидел рядом, с торжественным лицом Будды. Помню еще в этом тесном маленьком кружке добрейшего Володю Стеженского — работника иностранной комиссии Союза писателей. В соседней комнате докипало застолье — гостей было много...

Хикмета интересовали подробности московской обороны. Война еще была близка, за спиной. Я рассказывал. Хикмет неторопливо переводил Неруде, задумываясь, снова спрашивал, а потом неожиданно сказал:

— Ты первый написал о двадцати восьми героях-панфиловцах. Но знаешь, брат, кто был второй? Наверно, я.

Я ахнул. Уже второй год Хикмет в Москве, а я вот так, случайно узнаю пора-

зительную вещь. Оказывается, существуют его никому у нас не известные стихи, посвященные двадцати восьми героям Дубосекова.

— Где они, эти стихи? — спросил я взволнованно и торопливо

— Не знаю, брат, не знаю... Я написал их в Бурсе, в тюремной камере, осенью сорок первого года. Я начал писать тогда историю XX века и назвал ее «Человеческой панорамой». Переправлял ее за ограду частями, в письмах, на отдельных листах, разными способами и разным людям. Вот так, брат. Поэмы нет у меня, как ее теперь собрать? Ищи ветра в поле! — твердо, совсем чисто по-русски выговорил Хикмет.

Он горевал, конечно, думая о судьбе книги, развешенной по всему свету бурей его жизни. А вместе с тем что-то и нравилось ему в этой коллизии. Она была ему по плечу. И то, что он сам разбил книгу вдребезги, а осколки ее разлетелись на все четыре стороны света. И то, что, может быть, люди по одной строфе будут узнавать облик поэта, как естествоиспытатель по одной кости представляет себе ископаемый рост мамонта.

Мы несколько раз возвращались с Хикметом к стихам о двадцати восьми, но перемен в их судьбе не было. Между тем «Человеческой панораме» он отдал десять лет жизни в заточении. И вся она не исчезла. Три первые ее книги были найдены, собраны и в 1962 году изданы на русском языке. Еще раньше, до побега Хикмета из Турции, в Советский Союз попали его небольшие поэмы, озаглавленные здесь самими переводчиками: «Симфония Москвы», «Зоя», «Габриэль Пэри». Они были переведены Павлом Железновым, Маргаритой Алигер, Никитой Разговорным.

Но то были не замкнутые поэмы, а части единой главы четвертой книги «Человеческой панорамы». Это выяснилось только после приезда Хикмета в Москву. Прошло немало времени. Давно уже нет на земле Назыма — отчетливо помню день его похорон на Новодевичьем. Давно уже не видно его красиво посаженной головы, не слышно его прекрасного обращения «брат», но стихи его, живые стихи слетаются к его могиле. Не так давно в Турции обнаружена часть архива Хикмета, а в нем текст всей четвертой книги, а в нем строфы о двадцати восьми героях. В переводе Музы Павловой они уже звучали по радио, теперь печатаются впервые в переводе Бориса Слуцкого.

Нет, не пеплом развеялись по миру стихи Назыма, а стаей птиц, что поднялись на крыло в дальний перелет, а ныне вернулись к родному гнездовью.

Теперь остался один вопрос. Как же Хикмет, сидя в тюрьме, узнал о подвиге двадцати восьми, да не только о самом факте, но и в подробностях?

Советский ученый Акпер Бабаев, исследователь творчества Хикмета, говорит по этому поводу:

— Очевидно, он узнал о них по радио, поскольку трудно себе представить, чтобы в тюрьму далекого города Бурса мог быстро попасть газетный лист. Факты, приведенные в стихах, достоверны. Очень вероятно, что Назым Хикмет прослушал по радио очерк Александра Кривицкого, опубликованный в газете «Красная звезда». Простое сопоставление стихов Назыма и очерка подтверждает это предположение. В конце 1941 и в начале 1942 года этот очерк неоднократно передавался по советскому радио на русском и иностранных языках. Я сам в то время работал на бакинском радио и помню, как он несколько раз передавался на Турцию.

В свое время я, видимо, не спросил Хикмета об источнике его стихов, иначе их сюжетная структура, о которой говорит Бабаев, не показалась бы мне сейчас такой неожиданностью. Известие о подвиге распространилось тогда по всему миру. Оно было общедоступным и могло достигнуть Хикмета разными дорогами. Утерянные стихи я представлял себе в виде нескольких строф — искра факта высекла короткое лирическое раздумье. Так получилось у Михаила Светлова, когда он узнал про схватку возле Дубосекова. Марк Лисянский положил свои стихи на песенный лад. Николай Тихонов написал эпическую поэму, последовательно воспроизведя драматический ход событий 16 ноября 1941 года. На этот же путь вступил и Хикмет.

И это поражает.

Значит, находясь в заключении, он регулярно слушал передачи из Советского Союза и даже их записывал. Да, так оно и было. «Ежедневно три раза в день слушаю последние известия», — сообщал Назым в записочке из тюрьмы в 1941 году своему другу турецкому прозаику Кемалю Тахиру. Здесь, по-видимому, речь идет об официальных передачах радио Анкары. Но у Хикмета был еще и тайный приемник с наушниками. Он мог пользоваться им ночами. Тогда, очевидно, он и услышал тот давний мой очерк.

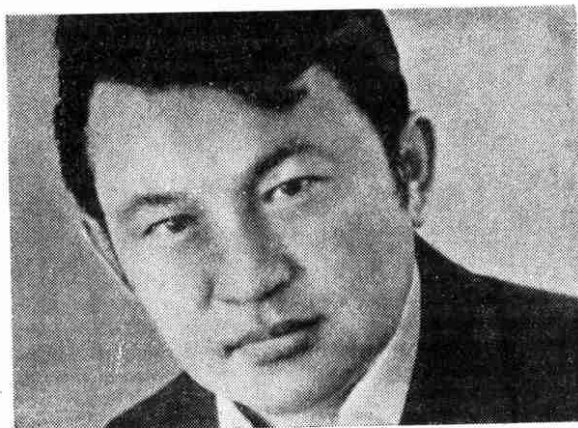
Еще несколько слов перед тем, как читатель прочтет чудесно найденные стихи Назыма Хикмета. В них есть неточности: панфиловец Сенгирбаев назван «Сунгурбай», а Москаленко превратился в Масленко. У Хикмета фигурирует Петелино как боевой рубеж двадцати восьми панфиловцев. Это название написано правильно, но употреблено не к месту. Полк Капрова, где служили эти герои, занимал оборону на линии высота 251 — деревня Петелино — разъезд Дубосеково. Но двадцать восемь гвардейцев находились ближе к разъезду, и его именем окрестился их бой с танками противника — бой при Дубосекове. Эти неточности объяснимы, можно, пожалуй, и удивиться: их мало. Ведь под рукой у Хикмета не было печатного источника.

Вот и все. Я был счастлив, дорогой Назым, написать о тебе эти несколько страничек.

В 1941 году, когда я сдавал в набор свой очерк, я не думал о турецком городе Бурса и ничего не знал об узнике в его тюрьме. Знал другое. Тогдашние реакционные правители Турции только и ждали падения Москвы, чтобы бросить страну в войну на стороне Гитлера, не опоздать к дележу добычи... А как обернулось дело!

Хикмет и тогда верил в нашу победу и писал о ней стихи. Тридцать лет их считали утерянными. Но талантливые стихи, как и истинная вера, остаются с людьми.

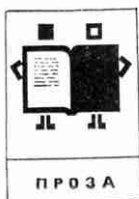
МЕДЕТБЕК
СЕЙТАЛИЕВ



ДОЧЬ МЕЛЬНИКА

ПОВЕСТЬ

Перевод с киргизского
Е. КОЛЕСНИКОВА



Рисунки
Олега ВУКОЛОВА.

I

А ил лежал в горной долине. По долине протекала река, разделенная на протоки. У одного протока, в стороне от аила, на отводном арыке, стояла старая бревенчатая мельница. Сколько лет здесь был аил, столько, наверное, стояла и эта мельница. За аилом возвышался лысый холм, на нем по вечерам собирались айльчане, встречали с дальнего пастбища свой скот — коров, телят, овец и коз. Здесь обычно шли неторопливые разговоры о разных делах — айльных и семейных, обо всех новостях.

Так было и в этот вечер. Стадо брело по редкому тугаю — смешанному лесу в речной пойме. Впереди шел колхозный бугай с короткими, но толстыми рогами; он иногда останавливался, взрывал копытами землю и ревел. А вокруг стада, среди деревьев и кустарников, гарцевала на пегой кобылке дочь мельника. Кобылка легко перемахивала через валуны и пни. Мелькала красная, как весенние маки, косынка...

Айльчане, наблюдая за этой джигитовкой, начали судачить:

— Сарыкыз!.. Ну, сумасшедшая девчонка. Разве можно так гонять кобылу? А вдруг споткнется?..

— Боже, сохрани ее!

— Не девчонка, а шайтан.

— Парни на нее уже заглядываются, а она как сорванец.

Стадо свернуло к аилу, а бугай побрел к мельнице — чем-то она ему приглянулась или, наоборот, не приглянулась. Он остановился перед мельницей, снова начал взрывать землю копытами и реветь. Этот бугай был известен своим злым нравом. Многие, завидя его издали, сворачивали в сторону. Однажды он, расвирепев, сбил на землю пастуха вместе с его конем, чуть совсем не растоптал. В аиле только и было разговоров об этом происшествии... Бугай подошел к бревенчатой избушке, поддел рогом осевший угол, потом уперся в него крутым лбом и начал бодать, вертя головой, — того и гляди, избушка повалится. Девчонка на пегой кобылке заметила, как бугай вольничает, вскинула плетень и наметом помчалась к мельнице. Она с маху огрела бугая по хребтине. Бугай развернулся, выставил рога, выкатывая злые глаза и роняя изо рта пену. Дев-

чонка снова на него налетела, со свистом опускала плетью. Бугай мотал головой, а она хлестала по рогам, по тупой морде, широкой, как сиденье стула.

— В своем ли она уме? — встревожились айльчане. — Бугай лютый. Как бы не стряслось беды...

— Джигиты, кто смел, бегите на помощь. А то поздно будет...

Бугай все же не выдержал, отступил и рысцой побежал к реке. Девчонка догнала его, ухватила левой рукой за хвост и продолжала хлестать плеткой.

— Не трогай мельницу! Не трогай мельницу!

Бугай бросился в реку, в быстрый поток, выбрался, мокрый и лоснящийся, на галечный остров, встряхнулся — во все стороны полетели брызги, шумно втянул ноздри воздуха и скосил глаза на свою противницу, словно пригрозил: «Ну, погоди!..» Девчонка захохотала, откидываясь в седле, как бы вальсировавший всадник, похлопала ладонью кобылку по выгнутой горячей шее и снова пустила ее наметом — по лесной поляне, среди тополей, кустов облепихи и боярышника.

— Торе! Крепче держи повод!

Это закричал мельник. Он тоже стоял среди айльчан, наблюдая за дочерью; сорвал с головы облезлый малахай и помахал. Услышала она окрик отца или не услышала, но натянула поводья, посмотрела в сторону холма, щелкнула плетью, словно нарочно демонстрируя свою лихость, и скрылась за тугаем. Вдруг она вынырнула из-за пригорка красным тюльпаном...

— Загонит она лошадей! Как ей не жалко!.. Вы бы хоть одернули дочку... — сказала одна женщина, обращаясь к мельнику.

— Ничего. Пусть резвится. Крепче будет, — твердо сказал старый мельник и пошел с холма к своему дому.

Девчонка подскакала к отцу, осадил кобылку; ее глаза сияли, как мокрые от дождя сизые сливинки.

— Дочка, поставь кобылу на выстойку, — сказал мельник.

— Нет! Зачем ей выстойка? Немного погоняла... Это даже хорошо. — Она снова похлопала кобылку по влажной шее. — У нее вышел весь пот.

Мельник промолчал.

— Ата¹, я попасу ее ночью... Там... Ладно?

— Как хочешь, дочь моя.

Если бы их слышали айльчане, они бы догадались, о чем говорила дочь мельника. Она говорила о запретном пастбище, находившемся в местечке Кара-Таш — Черный камень. Там росли высокие, сочные травы. Люди, у кого были свои дойные кобылы, пасли их там тайно, только ночью. В таких местах в лунную ночь двойная благодать — и скот насытится и душа отдохнет.

Торе всю ночь пробыла на пастбище; с ней в ночном были и другие ребята. Домой она вернулась на рассвете. Мать спала во дворе под навесом. Торе разбудила ее и сказала с укоризной:

— Кто же спит до таких пор!..

Мать сладко зевнула, встала, помыла руки и пошла доить кобылу, у которой за ночь вымя разбухло, как большой резиновый мяч. В стороне арыка гудела мельница; по ее шуму Торе поняла, что отец уже там. По-мальчишески расторопная, она нашла лепешку, в большую пиалу налила кумыса и, как человек, готовящийся к спешному делу, быстро —

большими кусками — съела лепешку, одним духом опорожнила пиалу.

— К отцу пойдешь? — спросила мать.

— Сначала отгоню корову в стадо.

— Корову я сама отгоню...

— Ну вот еще! — недовольно буркнула Торе, не любившая отступать от своих намерений, и пошла отвязывать корову.

— Корова еще не доена.

— Так быстрее подои! — сказала дочь таким тоном, как будто она была в доме хозяйкой.

Мать, звякая ведром, под села к корове. Торе подобрала лопатой свежий навоз, перемесила его и ловко нахлопала круглых, как лепехи, кизяков.

— О, золотые мои руки! — похвалила ее мать.

— Не говори так! — нахмурилась дочь. — То я какая-то рыжая... То уже и золотая...

Девчонку звали Торайым. Это имя приблизительно означает «начальница женщин». Но у нее в отличие от других айльных темнолицых и черноголовых девчонок было светлое лицо и волосы с рыжинкой, и айльчане называли дочь мельника по-своему: Сарыкыз — «рыжая девушка».

Мать подоила корову. Торайым отогнала ее за аил, на широкий выгон, где все стадо уже собралось и двинулось на пастбище. С выгона Торайым пошла на мельницу. Она всегда с радостью шла туда: на мельнице жизнь совсем другая. Мельница была старенькая, на подгнивших, замшелых сваях, вся — от нижних бревен до камышовой крыши — белая, в мучной пыли. Она особенно выделялась своей белизной по сравнению с округой, была видна издали. Торайым казалось, что мельница создана тогда, когда появилась сама земля. Она пахла теплым хлебом, чем-то близким, дорогим и уютным...

Торайым толкнула тяжелую скрипучую дверь. В дальнем углу, у верстака, отец, весь белый, в белой тюбетейке, сдвинутой на затылок, с белым высоким лбом, белыми мохнатыми бровями и даже белыми ресницами, строгал рубанком. Его черная, с серой проседью борода тоже была вся белая и казалась очень длинной, как у мудрого старика из сказки. Отец был похож на байгамбара — пророка...

— Салам алейкум! — по-мужски сказала Торайым.

— Алейким салам! — так же серьезно ответил отец.

Они всегда — по утрам, на мельнице — так приветствовали друг друга. Как мужчины...

Торайым, точно барсенок, вскочила на дощатый пол, привстала на цыпочки и заглянула в чанак! — он был почти полон пшеницы. Перекикивая мельничный шум, она спросила, глядя на отца:

— Чье зерно в чанаке?

— Из Тегерека... Матай.

«Матай...» Кажется, ей знакомо это имя. «А-а...» вспомнила она. — Это тот, что ездит на тарантасе, похожем на тачанку. Черный такой, толстый, как карагачевое бревно.

— Свое?

— Говорит, колхозное.

— А есть у него справка, что зерно колхозное?

— Торе!.. Хотя сегодня не спрашивай про эту справку. Матай — уважаемый человек. Да и нам он не чужой. В родстве состоим.

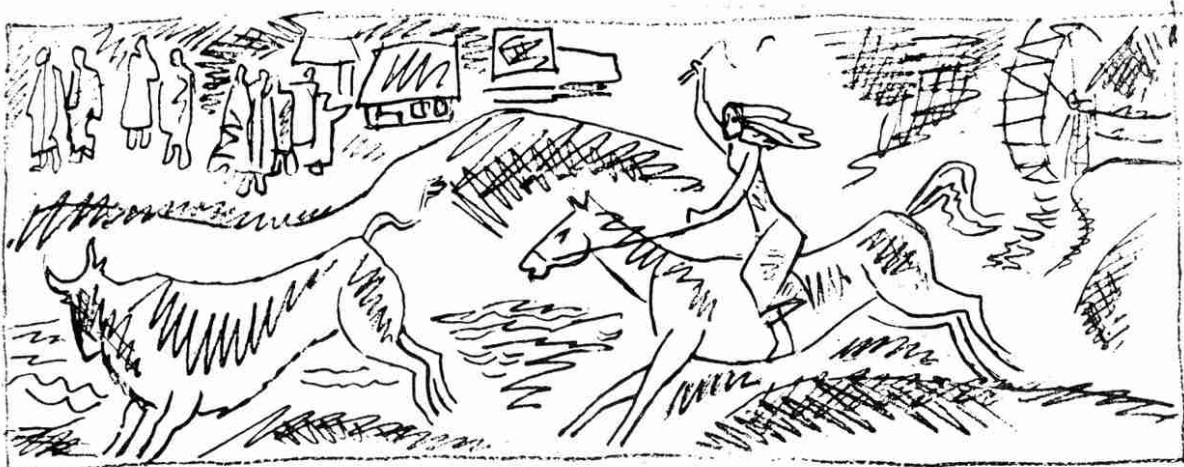
Торайым строго покосилась на отца — она заподозрила, что он снова нарушил придуманный ею закон о справках.

— Когда приедут из Тегерека?

— Обещали к обеду.

¹ Ата — отец.

¹ Чанак — бункер для зерна.



Отец перестал строгать, его насторожил задиристский тон дочери.

— Торе, иди домой, к матери. Я сегодня поработаю на мельнице сам.

— Нет, ата,— упрямо мотнула она головой.— Сегодня я буду на мельнице. Ты устал, иди отдохни. Приходи к вечеру.

Отец не на шутку забеспокоился, догадываясь о тайных намерениях дочери, и, зная, что ее настойчивости не сломить, да в душе и не желая этого, он осматрел мешки, приваленные к стене, склонил голову и мягко попросил:

— Торе, приедут люди Матая, прошу тебя, не требуй у них никакой справки. Послушай меня...

— Ладно. Мое дело...

— Я пойду на ток, надо помочь веять зерно. Если не вернусь к обеду, пришлю сюда мать.

Мельник взял рубанок и остроганные дощечки, посмотрел на дочь так, словно хотел повторить свою просьбу — важную просьбу, — но она отвернулась, и он тихо сказал:

— Ну, я пошел, дочка... Будь умницей.

— Буду! — Она повернулась, сохраняя серьезность, а когда он вышел, ее лицо растянулось в озорной улыбке, она захохотала и запрыгала. — Я им покажу!..

Мельник шел и все оглядывался на избушку, покачивая головой, словно сокрушался: «Справка... Придумает же такое! Ох, упорная девчонка! И откуда она выкопала, что нужны справки — свое зерно или колхозное?.. Да оно и правильно... Вдруг ворванное?»

В свободное от работы на мельнице время старый колхозный мельник часто бывал на току — вместе со стариками — или возле пилорамы, установленной под навесом у колхозного сарая. Он был угрюмым, неразговорчивым, скупым на ласку человеком. Но стоило посмотреть на его руки и можно было представить, какую он прожил жизнь, — на его больших волосатых руках выступали толстые, темные жилы, как плетеные камчи¹. Этими ручищами он когда-то один легко, почти играючи, ворочал многопудовые камни и отделял мельничные жернова.

Никто в аиле точно не знал, сколько ему лет. Станным было то, что мельник, кражистый и сильный, никогда не выступал в кураше — национальной борьбе, в козлодрании, в конных состязаниях. Всю свою недюжинную силу он отдавал мельнице — вы-

брасывал старые, стершиеся жернова и правил новые, расчищал арык, на котором стояла мельница, ремонтировал деревянный желоб, по которому падала вода, вращая мельничное колесо, таскал тяжелые мешки и оставался здесь даже ночами, если набиралось много зерна для помола. Когда же он уходил с мельницы, его заменяла хромая жена, а в последнее время — и подросшая дочь. Для аильчан это имело важное значение. Старик был непреклонный, несговорчивый, он молол зерно не очень крупно и не очень мелко — так, как он считал нужным; его побаивались и не смели протестовать. Дочь забияка, хотя уже годилась в невесты, мастерица на всякие выдумки, придиралась ко всему: чье зерно, почему заплатка на мешке оторвана, откуда взялся ячмень вместо пшеницы... А начнет молоть — одно горе: кому нужно мелко смолоть, она смелет крупно, кому нужно крупно смолоть, она смелет мелко. И только жена мельника, хоть и тоже молчаливая, но добрая женщина молола так, как ее просили: крупно — так крупно, мелко — так мелко. Поэтому аильчане старались молоть свое зерно в то время, когда на мельнице была она, а не ее дочь.

У мельника было справное хозяйство: дом с просторным двором, сарай для скота, сарайчик поменьше — с верстаком и столярными инструментами, две коровы, пегая кобылка и десяток овец. В те времена, когда в аиле не было ни одного дерева и люди знали только дикий тугай за аилом, около мельницы зеленел уже настоящий сад. По этому саду люди отдаленных селений находили мельницу — всю кормилицу: посреди долины зеленый лесок, как оазис, а рядом белая мельница, точно какой-то богатый храм. В саду росли ветвистые яблони и груши, между ними стояли пчелиные ульи...

Уже этим мельник отличался от остальных аильчан. Он был связан с русскими, что жили в Таласе. Там жил и друг его юности — Григорий. Правда это или нет, но говорили, что он с Григорием в молодые годы пас свиней у некоего богача Тряпкина. Иногда в аил к мельнику приезжали русские мужики со своими полногрудыми женами и конопатыми дочерьми, которые носили платья выше колен.

Русские друзья научили его столярному делу. Он толково владел топором, ножовкой, долотом, рубанком. Мельник никому не показывал столярные инструменты и никому их не давал. Они хранились в сарайчике — его мастерской. Только однажды, когда инструменты понадобились на строительстве новой колхозной конторы, сам председатель пришел к

¹ Камчи — плетень.

мельнику и с большим трудом выпросил их на несколько дней.

Случалось, что кто-нибудь шутки ради, начиная перечислять всех зажиточных людей аила, непременно мельника называл первым. Даже в трудные времена — в годы басмачества, когда почти все семьи перебивались с мякинной лепешки на воду, — и тогда казан мельника не покрывался ржавчиной, а блестел жиром. Однако мельник не был скрягой. Он помогал аильчанам — от многих он слышал слова благодарности. Во время войны и в первые послевоенные — голодные — годы он особенно заботился о вдовах и сиротах. Часто он зазывал в свой дом голопузых ребятшек, копавшихся в дорожной пыли, просил жену накормить их талканом¹.

— Накорми досыта!

Ребятишки жадно ели талкан, перемешанный со сметаной, а жена мельника смотрела на них задумчивыми, печальными глазами и вздыхала:

— Ох, проклятая война!..

Она шла в кладовку, выносила старые тряпки, с треском разрывала их на лоскуты и завязывала муку — по миске — в эти лоскуты.

— Нате, отнесите домой, — говорила она, протягивая каждому по узелку.

Ребятишки шумно, с радостными криками бежали по аилу.

— Дай бог им здоровья! — говорили обрадованные матери. — Все же свои люди, понимают беду...

То ли за такую щедрость, то ли вообще за твердую справедливость и размеренную — несуетную — жизнь все жители аила, и старый и малый, уважали и сурового мельника и его покладистую жену, а уважение — не дешевле хлеба.

Рано утром Сеил, жена Кадыра — бригадира по полеводству, — шла на мельницу. Она несла полмешка зерна — мука в доме кончилась, нужно было срочно смолоть — и всю дорогу думала: «Хоть бы на мельнице оказался сам мельник или его жена. Только бы не дочь!» Сеил родилась в этом аиле и выросла здесь, и вся ее жизнь была по-аильному однообразной, она ни разу никуда не выезжала. И самым примечательным для нее в аиле была мельница. А старый мельник казался волшебником — его не мог и не может заменить никто другой.

Сеил осторожно, с опаской приоткрыла дверь и вошла, пригибая голову, хотя дверь была высокая. Ее встретил густой гул жерновов, мельница ходила ходуном. На полке, у чанака, по-мужски скрестив ноги, сидела Сарыкыз в легком мучном тумане, словно присыпанная пудрой, — белесо-рыжеватые волосы, выбившиеся из-под косынки, матовое лицо, прямой тонкий нос, брови вразлет. В этом тумане остро чернели ее глаза. Грудным, намеренно грубоватым голосом она заговорила:

— Чего пришла так рано? Сегодня тебе не смелю... Видишь, сколько мешков стоит! Все колхозные. Приходи завтра. Иди...

Сеил оторопело смотрела на дочь мельника, странно восседавшую на полке в позе оракула; она даже забыла о мешке, который оттягивал ей плечо.

— Что уставилась? Первый раз, что ли, видишь меня? Я же сказала: приходи завтра!

— Может, я оставлю мешок здесь? — растерянно попросила Сеил. — Чтобы завтра в первую очередь...

— Не будешь ждать. Сказано раз — и все.

Сеил, обиженная, подбросила на спине мешок и повернулась к выходу.

— Эй, келин!¹ — окликнула Торайым ее у порога.

Торайым с такой напускной строгостью и бесцеремонностью обращалась с немолодой уже Сеил по той причине, что не любила бригадира — он на всех кричал в аиле, изображая из себя большого начальника. Торайым сама играла в строгого крикуна, а тут появился соперник. Поэтому, с неприязнью относясь к бригадиру, она с такой же неприязнью относилась и к бригадировой жене, называя ее непочтительно — а больше ради озорства — «келин», хотя Сеил была лет на двадцать старше дочери мельника.

— Келин, ты, кажется, жена бригадира, а мешки таскаешь сама.

— А что, жена бригадира, думаешь, святая? Если надо, и мешки приходится носить. Свой хлеб, это мне не зазорно.

Сеил, видимо, по-настоящему обиделась — она быстро шагнула за порог. Торайым не изменила своей позы, только бросила вдогонку:

— Келин, что же ты не посылаешь свою дочку? Жакил...

— Ей некогда. Надо будет — пошлю... Моя дочь не такая грубиянка, как ты.

— Подумаешь!.. — Торайым вскинула руку так, будто в ее руке был жезл полководца.

В аиле дочь мельника среди своих сверстников — и девчонок и мальчишек — всегда была заводилой. Она собирала ватаги и вводила за реку, в тугай, а то и дальше — к высокой красной скале. Случалось, она заигрывалась с ребятами на лужайке в догонялки, в мяч или в чиж, забывала про мельницу, про зерно в чанаке, а потом спохватывалась и во весь дух бежала к мельнице, когда из двери уже курился дым — жернов накалялся и пережигал муку. Мальчишки, признавая ее вожаком, были привязаны к ней и скупали, если она целый день не выходила из мельничной избушки. Женщины и старухи судачили о ней, склоняли ее имя на все лады, но Торайым не обращала на это внимания, а может, делала вид, что пустые байки ее совсем не трогают.

Иногда в аил привозили кинофильмы. Торайым важно и гордо шла к старой колхозной конторе, приспособленной для показа кино. Каждому — и тонконогой девчонке, и курносому подростку, и красующемуся джигиту — хотелось пройтись рядом с ней. На площадке у конторы ее окружала целая толпа — знали: дочь мельника расскажет что-нибудь интересное, забавное. Скажет — причем обязательно смешное, это она умела, — и все хохочут. Возле нее всегда рушилось извечное правило, по которому женщины должны быть отдельно, а мужчины тоже отдельно. Взрослые ворчали:

— Чего она там чудит? Бесстыдница!..

Девушки ревниво косились:

— Что в ней особенного? В платье, а на девчонку не похожа. Дикая!

Торайым была у мельника единственной дочерью, которую судьба ему подарила на старости лет. Он любил ее и гордился ею, хотя внешне не очень это показывал. Он не осуждал ее за то, что она своим характером и повадками похожа на мальчишку. Наоборот, видя, как она носится с ребятами по лугу, кувыркается, смело расправляется с драчунами, если случалась стычка, мельник поглаживал бороду: «Пусть и девчонка, а лучше любого мальчишки. Не хлюпик...»

Да, старому мельнику можно было гордиться своей дочерью. Она исправно орудовала на мельнице, где приходилось иметь дело с увесистыми мешками. Она ловко развязывала тугие полосатые мешки, от-

¹ Талкан — жареный молотый ячмень.

¹ Келин — невестка, молодая женщина.

сыпала половину зерна в ведра, а остальное подхватывала, подталкивая коленом, бросала на пол, потом опрокидывала, вытряхивала в чанак.

Часто Торайым оставалась на мельнице одна даже ночами, ничего не боялась. Она наполняла чанак доверху, ложилась на мешки и, закрыв глаза, прислушивалась к окружающим звукам. Шумела, плескалась вода в широком желобе и на лопастях колеса, ровно, монотонно гудели жернова, поскрипывал деревянный остов мельницы. Даже в полудреме она чувствовала, когда кончалось в чанаке зерно и нужно было подсыпать.

Лежа на мешках, Торайым думала о своей древней мельнице — какая все же она интересная, о своем отце — какой он все-таки добрый, о самой себе — какая же она юная, но смелая и сильная. Чего ей больше всего хочется в жизни? Да, чего? Перед ее глазами всегда вставала красная скала... Торайым поднимается на самую вершину — от высоты дух захватывает, она стоит, ни разу не покачнувшись, потом вскидывает руки и летит, летит над долиной, над всей землей. Люди смотрят в небо и показывают: «Вон летит Сарыкыз! Дочь мельника. Ее никогда не догонит смерть...»

Торайым не могла терпеть тех айлычан, которые говорили неправду, всякую напраслину или отлынивали от настоящего дела, бесцельно слонялись по дворам. Когда такие приходили на мельницу, начиналось представление: зерно засыпано в чанак, мука течет в чисто выскобленный ящик, и вдруг мельница, вздрагивая, останавливается.

— Что случилось, чон кыз¹?

— Надо жернов править. Видите, не мука, а крупа идет.

— Ой, милая, пусть хоть крупа, только домели.

— Нельзя! Камни погорят.

— Да разве камни горят? Будь добра, не упрямысь, домели.

— Мне мельница дороже вашей муки!

Торайым надменно вскидывала брови, со скрежетом захлопывала дверь и уходила — вроде звать отца, а сама тугае пробиралась к небольшому, обрамленному камышами озеру, где она почти каждый день с наслаждением купалась. Она там плавала, ныряла, и легкие волны расчесывали ее густые волосы, закрывавшие всю спину. Искушавшись, сидя на берегу, в тени камышей, она, уединившись, смотрела на волны, наблюдала за солнечными зайчиками и была счастлива, оттого, что появилась на этот многообразный и увлекательный белый свет.

Три вещи в долине Торайым считала кровно своими — мельницу, озеро и красную скалу.

Эта скала вошла в ее жизнь давно, с той поры, когда она только начала понимать себя, землю, всю природу, встречавшуюся на пути. У предгорья, среди серых холмов, сглаженных ветрами, одиноко возвышалась скала из красного песчаника. Она четко выделялась на фоне далеких голубых горных вершин со снежными шапками, алела, прямо горела под солнцем, особенно по утрам, когда солнце всходило. Только в середине скалы, метрах в двадцати от подножия, зиял черный провал — то была пещера. Со всех сторон скала была почти отвесная, и никто не осмеливался на нее подниматься. Айлычане сторонились необычной скалы с черной пещерой, считали, что там обитает нечистая сила.

Однажды дочь мельника исчезла из айла перед вечером, и не было ее всю ночь. И сам мельник с женой и соседи думали, что она уехала в ночное на пастбище Кара-Таш, а Торайым задумала дерзкую по-

теху. Она встретила своего одноклассника Асана, сына конюха Кудаша.

— Ты сегодня ночью погонишь свою кобылу пастби?

— Погоню, — ответил Асан.

— Поедем со мной, вдвоем.

— Почему вдвоем?

— Дело есть. Пока секрет... Умеешь держать язык за зубами?

— Умею.

— Вот и хорошо. Поедем не на Кара-Таш, а к красной скале, там, за холмами, есть луг. Там и попасем.

— Почему к красной скале? — испугался Асан.

— Потом узнаешь. Вечером расскажу...

Перед закатом солнца они выехали, но направились не в сторону пастбища, а к дальней окраине пойменного леса. В тугае они наломали четыре вязанки сушняка, навьючили на кобылиц и повезли к красной скале. У подножия скалы они свалили сушняк в кучу и стали ждать сумерек.

— Асан, ты сиди тут, внизу, а я полезу в пещеру, — сказала Торайым.

Она связала небольшую охапку сушняка длинной бечевкой, сделала лямки, перекинула охапку за спину, как рюкзак, и полезла на скалу. Как лучше добраться до пещеры — это она много раз уже разведывала днем. Хватаясь за каменные выступы, Торайым вскарабкалась на узкую площадку перед пещерой, сбросила со спины охапку, положила ее у самого входа в пещеру, постояла, прислушалась к пещерной немоте, спустилась вниз и связала другую охапку. Так она перетаскала к пещере весь сушняк.

Пока перетаскивала, стемнело. В пещере было совсем темно, каждый звук гудко отдавался в темной глубине. Торайым — в этом она могла признаться только самой себе — было боязно, моментами охватывала даже жуть, ей вспомнились слухи, что во время войны здесь, в этой пещере, прятался дезертир. А вдруг его здесь не нашли, не вытащили отсюда, не арестовали и он живет здесь до сих пор, сидит сейчас, притаившись, за каменным углом, весь обросший, страшный и по-звериному злой и голодный. Схватит, разгрызет горло и высосет кровь. Да и нечистая сила... Кто знает, может, старухи правы? Но Торайым крепилась, подбадривая себя мыслью, что смерть ее никогда не догонит. Она достала из-за пазухи коробок, чиркнула спичкой — вспыхнул огонек. Сушняк, потрескивая, быстро разгорался, пламя росло, ширилось, металось, отбрасывая темноту. Начали трещать и толстые палки. Жаркий свет костра падал к подножию скалы, на холмы, на реку и тугай. Торайым, ликуя, повернулась к костру спиной, широко развела руки и смотрела перед собой, в потревоженную ночь, — ее качающаяся тень ложилась далеко на землю, как тень огромной летящей птицы.

В айле заметили огонь на скале, и начался переполох. Все выбежали на улицу, сбились группами и с изумлением — а иные и со страхом — смотрели, как в пещере полыхало яркое пламя — диковинное зрелище. Над скалой качалось багровое зарево, а сама скала от подножия до вершины была кровавая. Айлычане ахали, старики хватались за бороды, старухи бормотали молитвы — в этом зловещем пламени, чудом возникшем на красной скале, им виделось недоброе предзнаменование.

Аил не спал всю ночь...

И утром не утихали разговоры и кривотолки о ночном таинственном огне на скале. Кто-то даже поехал к дряхлому мулле, который жил в соседнем айле.

¹ Чон кыз — большая девочка.

— Огонь на скале? Я и сам его видел,— важно сказал мулла.— Божественный огонь... Значит, эта скала — священное место. Молитесь создателю, и вас минуют несчастья.

И верующие потянулись к скале — начали там молиться, оставляли у подножия, на плоских камнях, жертвоприношения — куски вяленого мяса, сыр, боорсоки¹. Две женщины, никогда не рожавшие, даже остались на ночь под этой скалой и молились до утра: авось, бог даст им детей.

В ту ночь — ночь костра — Торайым предупредила Асана:

— Никому ни слова! Если скажешь, голову откручу. Клянись...

— Клянусь!

— Лучше клянись.

— Клянусь... Никому не скажу, если даже проживу на свете сто лет.

— Смори! — пригрозила она.

Но Асан не выдержал. Мать его тоже собралась к скале, начала жарить боорсоки. Асану стало смешно, и он сказал матери:

— Молиться пойдешь? А чего там молиться? Знаешь, кто зажжет огонь в пещере?

— Кто?

— Сарыкыз!

— О-о, не говори такое!..

— Да я же с ней был. Сам дрова в тугае собирал. А вы: «Огонь аллаха!» Поверили мулле... А костер зажгла Сарыкыз!

Женщина понесла эту весть по айлу, но ее рассказу не поверили — айлычане продолжали молиться у скалы.

Торайым не ожидала, что ее забава примет такой оборот: «Вот те на, открыла священное место!» И она решила привести это дело к желательному ей концу. Она снова натаскала к пещере сушняка, и, когда в один из праздников богомольцы пришли к скале, выложили жертвоприношения, она разожгла костер, выскочила из пещеры и заплесала на узкой площадке. Вначале ошеломленные, а потом возмущенные богомольцы долго бегали вокруг скалы, потрясая кулаками. Вернувшись в аил, они пожаловались мельнику:

— Приструните свою дочь! Она что, считает нас глупыми?

— Провела вас? — смеялся мельник. — Значит, верно, считает... Вы к ней не приставайте!

С той поры пещера на красной скале стала называться «пещерой Сарыкыз».

Сеил, как и все айлычане, хорошо знала о строптивом характере Сарыкыз, поэтому она не стала с ней спорить — бесполезно, еще хуже сделаешь. Она шла домой и думала: что же предпринять, не ждать же завтрашнего утра?.. У самого дома ей повстречалась соседка Урия, близкая приятельница.

— Что, уже смолела? Так быстро? — удивилась Урия.

— Где там смелешь! — не сдержала раздражения Сеил. — Если на мельнице эта сорвиголова...

— Тише! — засмеялась Урия и с шутливой опаской оглянулась. — Вдруг кто услышит, донесет мельнику, тогда к нему не являйся.

— И что с ней делать! — вздохнула Сеил, опуская на землю мешок.

— Хочешь, я упрошу ее смолоть...

— Как бы не так! Она упряма, точно старая ишачиха.

— А я знаю ее душу, — улыбалась Урия. — Одна знаю!

— Попробуй!..

Урия была известна в аиле не менее, чем Сарыкыз; только слава ее была совсем иная — ее уважали, считали женщиной деловой, разумной. Старик — хотя она была в два раза моложе своего мужа — относился к ней с почтением, потому что она была женой председателя колхоза — видного и всеми уважаемого человека, а молодые ценили ее за живой, веселый нрав, за отзывчивую натуру. С каждым человеком она легко находила общий язык, проявляла горячее участие — помогала советами, а иногда и делами. В аиле не было такого жениха и такой невесты, которые не обращались бы к ней за помощью. Она передавала приветы и записки, устраивала свидания и участвовала в сватовстве. Правда, не всегда ее хлопоты кончались добром, но, несмотря на это, все джигиты и девушки шли к ней потолковать о своих сердечных тайнах, излить свою душу.

Урия пришла на мельницу и, оживленная, спросила с порога:

— Как дела, чон кыз?

Дочь мельника по-прежнему сидела на полке в позе оракула. Она протянула перед собой правую руку и выставила кверху большой палец: мол, дела идут отлично.

— Слезай со своего трона, — дружелюбно сказала Урия. — Я принесла тебе хорошую весть.

— Еще бы принесла плохую!

— Правда, хорошую...

Торайым легко спрыгнула на широкие — из горбылей — половицы.

— Какая весть? Говори!

Урия подмигнула ей, будто подруга, готовящаяся сообщить что-то по секрету.

— Один джигит... Он велел передать... Он из аила Тегерек.

Торайым прямо глянула в глаза Урии:

— Что передать?

— Ну, что передают девушкам...

— Чего же он сам не скажет?

— Не смеет... — Урия понизила голос до шепота. — Он влюблен в тебя.

Торайым остро сощурила глаза, она поняла, что Урия все это придумала и, как часто подобное водится, разыгрывает ее, и выразила подчеркнутое изумление:

— Неужели правда?

— Конечно.

— Ах, джигит!..

Вдруг она звонко засмеялась и повалилась спиной на мешки; смеялась она до слез, всплескивая руками.

— Хватит, чон кыз! Я открываю тайну человека, а ты смеешься. Давай серьезно поговорим.

— А какой он из себя? — принимая игру, спросила Торайым.

— Такой... Очень красивый... Чернявый...

— У нас все чер-ня-вые.

— Этот особенно чернявый. Месяц назад видел тебя... И голову потерял.

— Фи! Если бы рыжий!

— Можно покрасить!

— Ладно! Так ты хочешь, чтобы мы встретились?

— Для этого и пришла... А сам он работает в райо-не, в какой-то конторе... Вот забыла...

— Ну-у... Кого не люблю, так это конторских писак. Всю жизнь сидят на месте, как наследки.

— Такого джигита в нашей округе не найдешь!

— Не найдешь!.. — Торайым насмешливо скривила губы,

¹ Боорсоки — лепешки, жаренные на масле.

Она резко поднялась — ей надоело играть невесту, в которую влюбился таинственный жених, и она сделала суровое лицо.

— Довольно, Урия! Зачем голову морочить? Сразу бы и сказала... Пришла просить, чтобы я смолола зерно этой бригадирше.

— Откуда ты знаешь?

Урия уже надеялась, что растрогала, расположила к себе дочь мельника и та, отзываясь на добро добром, исполнит любую просьбу, но не тут-то было — вышло совсем по-другому.

— Ты что, ясновидица? Прочитала мои мысли?

— Я их прочитала, как только ты переступила порог.

— Ну, ладно... — сдалась Урия, нехотя расставаясь с прежним лукавством и игривостью. — Я обещала Сеил... Смели, прошу! Не заставляй краснеть перед ней.

— А чего она приходит сама? — тоном выговора произнесла Торайым. — У нее дочь есть.

— Хорошо, — облегченно вздохнула Урия. — Я скажу, чтобы она послала Жакил. Только ты уж не подведи меня.

— Все. Сказано — сделано.

Урия вернулась к соседке:

— Давай мешок. Я же говорила, что все улажу.

— Как тебе удалось?

— Секрет. Пошли на мельницу свою дочь. — Урия, глянув на солнце, спохватилась: — Ох, пора уже на поле! Зарос мак... Сегодня нужно дополоть дальнюю плантацию. Ты иди, я тоже скоро приду.

Жакил, дочь бригадирши, не смогла поднять мешок. Урие пришлось взвалить его на свои плечи. Жакил поддерживала мешок тонкой рукой, но это была не помощь, а одна видимость. Урия тревожилась: не выкинет ли чего еще дочь мельника, хорошо, если на мельнице никого нет, а вдруг там уже посторонние люди, осрамит... Торайым встретила их снисходительной усмешкой. Урие было не по себе.

— Чон кыз, не забудь наш уговор, — дружески сказала она. — И не бери долю за помол. Не возмешь? Вот и хорошо... — и вышла за дверь, оставив Жакил одну с дочерью мельника.

Торайым была старше Жакил всего на один год, но казалась старше по крайней мере года на три. По сравнению с ней Жакил выглядела хрупкой девочкой — круглое, как луна, бледноватое лицо, тонкая — муравьиная, как говорили в аиле, — талия. И ростом не вышла... Торайым — выше и солиднее. Жакил была стеснительна, пуглива и трепетала перед дочерью мельника.

— Эй, Жакил, у тебя есть джигит? — внезапно спросила Торайым.

Жакил вздрогнула и, зардевшись, опустила глаза:

— Нету...

— Такая большая — и нету джигита, — с укором сказала Торайым.

— А у тебя есть? — робко спросила Жакил.

— Сколько хочешь! Урия сказала, что еще один влюбился в меня с первого взгляда.

— А когда замуж выйдешь? — осмелела Жакил.

— Проверю всех по одному. Не понравятся, pošлю их к шайтану!

Торайым снова забавлялась игрой. Но эту игру пришлось прервать: в раскрытую дверь она увидела — возле колхозного клуба, который стоял ниже мельницы, остановилась телега, груженная яблоками. Ее окружили дети, подростки, женщины. Торайым потянула носом воздух, будто уловила ароматный запах яблок, прыгнула с полка и степенно, вразвалку пошла к телеге. Расталкивая людей, она пробралась к телеге, взяла одно яблоко, подбросила на ладони.

— Свешай мне два килограмма.

— У вас же есть свой сад, — сказал возница, продававший яблоки.

— У нас яблоки еще не поспели, кислые.

— А куда тебе сыпать?

— Сюда! — и Торайым приподняла подол платья.

— Без очереди лезет... Имей совесть! — заворчали на нее стоявшие у телеги.

Торайым повернулась и так же, как делал ее отец, резко вскинула брови и спокойно сказала:

— Мне некогда... У меня мельница работает.

И пошла к мельнице, неся яблоки в подоле.

— Хочешь яблоко? — спросила она у Жакил таким тоном, каким спрашивают у ребенка.

Жакил промолчала, обиженная: «Невежа... Кто хочет угостить, не спрашивает». Скрывая обиду, она расширенными глазами смотрела на Торайым, которая с хрустом, с брызгами раскусывала яблоко.

— Лови!

Торайым взяла из подола краснобокое яблоко и бросила в протянутые руки Жакил.

— Ты с кем-нибудь переписываешься?

— С кем?

— Конечно, с джигитом.

— Ой! Стыдно же это! Мне рано...

Торайым презрительно сморщилась, высыпала яблоки на порожние мешки, вспрыгнула на полку, заглянула в чанак — зерно уже кончалось.

— Ну-ка, подай мне мешок Урии, — приказала она, будто не зная, что этот мешок принадлежит семье бригадира, а Урия была всего лишь посредником.

Жакил с трудом, краснея от натуги, приподняла мешок. Торайым цепко подхватила его, опрокинула в чанак, встряхнула и бросила на пол, под ноги бригадировой неженке. Затем она зачерпнула полную плиту зерна и высыпала в пустой ящик, стоявший на полке.

«Обещала не брать за помол, а сама...» — с укором подумала Жакил, но глядела с интересом на дочь мельника — подвижную, напористую, со свободными жестами — и, не признаваясь самой себе, даже завидовала ей.

— Ты скажи Урие, что я за помол не брала, — насмешливо сощурилась Торайым. — Ладно?

Жакил согласно кивнула головой.

— Какой ты класс окончила?

— Восьмой.

Торайым присела на край ящика, потерла ладонью лоб и задумалась. Она никогда не печалилась и никому ни в чем не завидовала. И теперь было непонятно: о чем она надолго задумалась, то и дело потирая свой слегка выпуклый лоб, припудренный мукой.

...Это случилось года два назад, зимой. Корова вышла со двора; Торайым, разгоряченная — только что мылась в жарко натопленной комнате, — выскочила на улицу в одном тонком платье. Не успел отец крикнуть, чтобы накинула чапан, она была уже за порогом. Пока она гонялась за коровой и закрывала сарай, ее продуло студенным ветром. К вечеру слегла в постель. Ночью металась в жару — все тело горело. Домашнее лечение не помогло. Отец отвез ее в районную больницу, и врачи определили — воспаление легких.

В больнице она пролежала долго — после воспаления начались какие-то другие осложнения. Вышла из больницы уже весной, вышла здоровой, по-прежнему подвижной, ловкой и выносливой. Мешки на мельнице не казались потяжелевшими...

Она отстала от одноклассников. Учителя просили ее: «Учись, как-нибудь переведем в следующий

класс». Но она отказалась. Она была в классе самая рослая. Что же получится: самая большая будет сидеть на уроках, ничего не понимая, будет беспомощной в подготовке домашних заданий. Нет... Она не пошла учиться и на следующий год. Так школа была оставлена навсегда.

Но Торайым скучала по школе, по своим сверстникам. Когда ее подружки шли с уроков, она их встречала, затевала игру в снежки, валила в сугробы сразу двух-трех девчонок и смеялась звонким смехом, чистым, как белый снег...

— Молоть тебе как — крупно или мелко?

Жакил вздрогнула. Сарыкыз так долго потирала свой лоб и переносицу, что этот вопрос прозвучал неожиданно. Растерявшись, Жакил ответила:

— Мели крупно!..

— Крупно? Ну, чудачка, первый раз слышу: мели крупно!

Жакил опомнилась, ей стало неловко за свою растерянность:

— Ой, конечно, мелко...

Торайым покрутила деревянное колесико со стертыми зубцами, натягивая шнур из сыромятной кожи, — мука стала сыпаться медленнее, зато была мелкая, словно сечная.

— Вот ты какая! — снова осмелела Жакил. — Хорошо работаешь. Если б ты родилась мужчиной, наверное, смогла бы прокормить целый аил.

— А ты думаешь, девушка на это не способна? — серьезно спросила Торайым. — Подожди, ты еще увидишь на моей груди Золотую Звезду, какую носит табунщик Шаршен из Тегерека. Запомни мои слова!

Табунщик Шаршен, живший в аиле Тегерек, был первым в долине, кто стал Героем Труда. Его имя знали во всей округе. О нем говорили:

— Табунщик, а стал видным человеком.

— Звезду ему вручали в самой Москве.

— Даже райком считает с его словами.

С той поры аил Тегерек называется не иначе, как «аил, откуда вышел Герой». Этим гордились все тегерекцы, даже мальчишки задирали носы, будто они сами были героями.

Председателем там когда-то работал Матай. Он всегда разъезжал на ходке, похожей на тачанку, которую, словно ураган, носил бешеный гнедой жеребец с белой звездочкой на лбу. Теперь Матай уже не председатель, но все еще считается важным человеком и не расстается со своей «тачанкой». Вот эта «тачанка» и подкатила к мельнице.

Дверь с легким скрипом приоткрылась, словно ее отворил не человек, а дуновение ветра. В дверь просунулся усатый джигит в белом, расшитом узорами, с черной окантовкой колпаке. За ним показался второй, низкорослый, с крупными бородавками на щеках.

— О-о! — протянул усатый, увидев на полке, у чанака девушку, сидевшую по-мужски — ноги калачом. — Что я вижу!..

Торайым ничего не ответила, только окинула незнакомых парней холодным взглядом.

— Эй, кыз, — требовательно сказал усатый, — скажи, смолото ли наше зерно?

— А справка у вас есть? — невозмутимо спросила Торайым, не меняя своей позы.

— Какая справка?

— Чье зерно?

— Чье же... Матая.

— Вот и давайте справку, что зерно Матая.

— Карындаш! — деланно смягчил голос усатый. — Вы с нами так не шутите.

— Я не шучу.

— Вот наши мешки! — обрадованно сказал низкорослый. — Я их сразу узнал, — он пощупал один мешок. — Мука... Все готово.

— Если наши, давай грузить.

Усатый подошел к мешкам, потрогал завязки.

— Без справки вы муку не получите! — поднялась Торайым.

— Карындаш, я же сказал, не шутите так с нами... Берем этот мешок! Не разевай рот, видели мы таких! — сказал усатый своему напарнику.

Торайым прыгнула с полка, схватила тяжелое стальное зубило, которым мельник правил жернова, оттолкнула усатого от мешков, замахнулась:

— Уходите отсюда!

— Ты чего? Спятила? — опешил усатый.

— Прочь с мельницы!

Размахивая зубилом, Торайым начала теснить парней за порог. Вытолкнув их на улицу, к «тачанке», она задела колпак усатого — колпак слетел с головы, — захлопнула дверь, повесила замок и спокойно повернула два раза ключ. И так же спокойно, даже степенно, пошла к дому.

— Никто не видел? — спросил усатый, оглядываясь по сторонам и отряхивая пыль с колпака.

Напарник словно ничего не слышал, он оцепенело проговорил:

— Вот это девчонка!.. Аксакалы рассказывали... Были сильные девушки. Как мужчины, сражались, стреляли из лука. Носили тяжелые доспехи, защищали свое племя... И вот... Я видел такую девушку своими глазами.

— Своими глазами! — рассердился усатый. — Аксакалы узнают об этом, позор нам! Они окунут нас в воду и повесят сушиться на тополе. Я спрашиваю: никто не видел?

— Вроде никто... — сказал напарник не очень уверенно.

Старый мельник пришел домой с колхозного тока к вечеру, только прилег на кошму отдохнуть. Как жена из кухни сказала:

— Отец, кто-то на улице тебя спрашивает.

— Кто? Скажи, пусть заходят в дом.

В комнату вошли двое — люди Матая, усатый и низкорослый.

— Проходите, джигиты.

Парни топтались у порога.

— Мы и здесь постоим... Если наше зерно смолото, мы бы хотели забрать муку.

Из дальней комнаты вышла Торайым. Она безразлично посмотрела на гостей, словно видела их в первый раз, и затем, независимо повернувшись, ушла в свою комнату.

Мельник по замешательству парней, по тому, как дочь вышла из комнаты и молча ушла обратно, начал догадываться о том, чего опасался утром.

— Так смолото ваше зерно?

— Кажется, смолото... Не знаем, аксакал.

Мельник нахмурился, над его глазами, в которых еще сохранился живой блеск, нависали мохнатые седые брови.

— Эй, Топе! — позвал он дочь.

Простодушный взгляд Торайым встретился с тревожным взглядом отца. Этот взгляд человека, прожившего долгую, сложную жизнь, говорил: «Дитя

¹ Карындаш — вежливое обращение к девушке, молодой женщине.

мое, пойдй на мельницу, отдай им муку. Неловко будет перед Матаем». А взгляд дочери, которая только начинала жизнь, начинала открывать для себя большой, сложный мир, говорил: «Не пойдй! Таких зазнаек надо проучить». Но, чтобы успокоить отца, она просто сказала:

— Пусть мама сходит с ними на мельницу.

Мать, сняв передник, вышла из дома. Мельник вздохнул, словно сбросил с плеч тяжелый мешок.

— Передайте Матаю от меня салам. Пусть приезжает в гости.

А сам подумал: «Что с Торе?... Да ничего... Взрослой стала дочь».

2

Так провела Торайым свои юные годы. Детство распрощалось с ней, спряталось в густых травах за пригорками, за красной скалой, в диком тугае — среди зарослей облепихи, боярышника и смородины. Оно, это детство, было быстротечным и шумным, как река, воды которой вращали мельничное колесо, двигали жернова. Самым ярким впечатлением юной поры для Торайым была всегда желанная ей картина, видение — ее мечта: красная скала над зеленой долиной, Торайым поднимается на скалу, вскидывает руки и летит над землей, и ей открываются широкие дали, сверкающие под солнцем. Она и не представляла, что ее жизнь может круто повернуть в другую сторону — неведомую, неиспытанную...

Но это произошло. Вероятно, это неизбежно в жизни каждого.

Она купалась на озере, где редко кто бывал, кроме нее, и вдруг — она даже зажмурила глаза: верить или не верить — увидела парня... Он стоял на берегу и, прикрываясь от солнца пучком пушистого ковыля, смотрел не на озеро, а на горы. Кто он? Откуда? В аиле не было такого. По всему видно, он издали.

Она спряталась в камыши и, затаившись, наблюдала за незнакомцем. Парень как парень. Высокий, крепкий, жесткие волосы падают на лоб. Но чем он так сразу ее встревожил? Она этого не знала. А может, не успела осознать. Он, прямой, неподвижный, смотрел на красную скалу...

Парень поднес к губам пучок ковыля, подышал запахом степной травы и пошел к предгорьям.

А вечером она узнала... Парень приехал в гости к Урие. Он какой-то дальний родственник председателя. Зовут его Дулат. Года три назад он пришел из армии и поступил в институт. В политехнический. Учится на инженера.

Каждый человек ждет восхода солнца, а не его захода. Ему хочется, чтобы всегда был день... Свою первую любовь девушки аила ждут с особым чувством. Наблюдая за жизнью взрослых, они рано начинают познавать, какое наслаждение приносят лунные ночи у берега реки: на джайлоо, где травы пахнут медом. Все это они знают, но прячут в себе, хранят, как сокровенную тайну. Девушка ждет своего любимого, она верит, что рано или поздно он появится, появится такой, каким ей рисовался, и она заранее готовит свое приданое — шьет одеяло из звездного неба, занавеси, из радуги, вышивает войлочный ковер розовыми нитями восхода. Девушка смотрит на дорогу и ждет — вот вдалеке покажется всадник.

Торайым при всем своем мальчишестве все же была мечтательной девушкой. И она тайно — может, сама того не ведая — ждала свое счастье в образе

волшебного молодого всадника. Иначе почему же там, на озере, у нее внезапно екнуло сердце и стало биться совсем не так, как билось раньше?

А утром какая-то непонятная властная сила накинута на нее лучшее платье — шелковое, с цветами майского луга — и повела на улицу, к дому, в котором жила Урия.

И, видно, сама судьба стояла на пути. Из калитки вышла Урия. Она была возбуждена, глаза блестели. Она словно знала, что дочь мельника будет проходить мимо дома, и вышла ее встречать.

— Торайым, заходи к нам, — сказала она оживленно. — У нас радость... Приехал гость.

И Торайым, к удивлению Урии, не говоря ни слова, без обычных каверзных шуток пошла за ней. В комнате, у окна, стоял Дулат.

— Познакомьтесь, — сказала Урия. — Это наш племянник. А это дочь мельника.

Торайым заметила — парень скользнул по ней горячим беглым взглядом, будто блеснул кинжалом, только что вынутым из ножен при ярком свете. Что это, вызов на поединок?

Он протянул ей руку.

— А мы уже знакомы, — подчеркнуто сухо сказала Торайым.

Парень смутился. Он стоял с сиротливо протянутой рукой, словно манекен в витрине магазина. Торайым внутренне торжествовала: первая победа! Победа девушки... Но как она ни хотела быть независимой, даже надменной, на ее губах проступала доброжелательная улыбка, робкая и стеснительная...

Урия, стараясь развеять неловкость, сказала:

— Знакомы, вот и хорошо!.. Вы посидите, а я сбегаю в магазин.

И Дулат и Торайым поняли, что Урия хотела оставить их вдвоем, и оценили ее тактичность.

Дулат справился со смущением, ему стало легко, и он открыто посмотрел на девушку.

— Так мы знакомы? — спросил он, сдерживая покровительственную улыбку. — Но когда мы познакомились? Где?

Она застыдилась его открытого взгляда, его слов удивления и отвернулась. Что это? Она всегда была твердой и решительной, никого не боялась и не стыдилась... А тут... Кровь ударила в лицо. Ей стало неловко за свою робость, и она отошла к другому окну, глядя на улицу.

— Да, Торайым, мы знакомы. — Дулат заговорил с заметным волнением. — Я видел тебя вчера на озере. И уже все знаю о тебе. Почти все... Я послал Урию за тобой. А ты сама пришла...

— Я не пришла! — еще больше вспыхнула Торайым.

— Прости. Я хотел сказать: ты шла по улице.

Парень, видимо, набрался смелости: он осторожно подошел к ней сзади и легонько коснулся рукой ее плеча. Она вздрогнула, резко повернулась и, словно в беспамятстве, ударила его ладонью по щеке.

Он отступил на шаг:

— Прости...

Торайым испугалась того, что сделала. Она спрянула руку за спину, взглядом прося извинения, и снова отвернулась к окну. Что же с ней происходит? Почему она здесь стоит, одна с парнем, в пустой комнате? Из окна была видна красная скала. Ах, да!.. Ну, конечно, сказывается то самое... Взлетая со скалы, она парила, плыла над полями, реками и рощами, но иногда плыла не одна, она ощущала кого-то рядом с собой, желала, чтобы рядом летел такой же крылатый джигит... Пора признаться себе в этом, пора самой себе открыть глаза.

И вот джигит явился. Кто знает, может, он и есть тот самый...

— Ты хранила аманат¹, — тихо проговорил Дулат. — Может, я его хозяин. Я пришел за ним.

Он мягко взял ее руку в свою, чуть сжал ладошку, которая только что прошлась по его щеке, ладошку крепкую и шершавую. Девушка не сопротивлялась. Первый раз в жизни...

— Вечером... Возле озера... — задыхаясь, прошептала она, вырвалась и метнулась из комнаты.

Вошла Урия. Она заметила бледность в лице Дулата.

— Ты влюбился?

— Не знаю... — ответил Дулат.

Все его мысли улетели за девушкой.

Торайым, как в недавнем беззаботном детстве, легко сбежала с пригорка к мельнице, вошла в полусумрак избушки и вдруг почувствовала себя так, будто не была здесь целую вечность. Отец, склонившись над верстаком, что-то мастерил, увлеченный своим делом. Через небольшое окно солнечный свет падал на его голову и спину, сгорбленную, как опрокинутый казан.

Торайым на цыпочках подкралась к нему и прикрыла ладонями его глаза.

Мельник даже не разогнулся, сказал тепло:

— Не балуй, Торе!

Он всегда радовался ее детским шалостям.

— Ата, ты сегодня сам будешь на мельнице?

— Побуду сам, дочка.

Торайым по обыкновению вскочила на полку и заглянула в чанак; чанак был полон, как чаша в доме трудолюбивого, умелого хозяина.

— Ладно. — Она прыгнула на пол. — Мне сегодня...

Она не договорила.

— Что случилось? — Отец уловил перемену в ее настроении.

— Ничего. Просто покатаюсь на пегой...

— Ну иди, если хочешь покататься.

Торайым взяла в сарайчике уздечку, взвалила на плечо седло и пошла к пегой кобылке, которая паслась за аилом на клеверной отаве. Она быстро оседлала ее, словно бывалый наездник, проводивший всю свою жизнь среди коней.

У кобылки широкий, размашистый, но плавный бег. Даже в гору она шла, не допуская сбоя. Похоже, ей самой нравилась четкая быстрота. В природе очень много сходного. Очень важное сходство природа подарила коню и ветру — вольность и скорость. Ведь не напрасно говорят: конь летит, как ветер.

А Торайым сегодня, перед тем необычайным, неведомым, чему суждено произойти вечером, просто крайне необходим ветер, полет.

Она проскакала к озеру, придержала кобылку у берега. «Вот здесь он стоял...» — отметила она про себя. Затем направила кобылку в тугай по узкой тропе.

В этом лесу, где она, кажется, жила с незапамятных времен, ей были хорошо знакомы каждое дерево, каждый поворот, каждый брод через протоки, но сейчас все вокруг представлялось новым, особенным, словно она ехала впервые.

О чем она думала? Может, о том, сколько ее светлых весен прошло здесь, в этой долине, которую ей хотелось еще раз всю объехать и все оглядеть, как перед вечным расставанием. А может, о том, чтобы

задумчивые изы, купающие свои длинные ветви в холодных потоках, избрали ее лесной царицей и открыли ей тайну своего тихого веселья и плакучей печали.

Выехав к предгорью, она остановилась. Отсюда хорошо были видны темный тугай, вспененные извивы протоков, пестрые полосы и клинья полей, в отдалении — безмолвный аил с шиферной крышей школы. Разнотравье с луговыми цветами звенело кузнечиками и маленькими птичками; по предгорью вместе с ветром ходил свежий дух сенокоса.

«Будь счастлива, Торайым!» — словно шептали ей цветы.

«Будь счастлива!» — пели птицы.

«Пусть не стареет твое счастье!» — гудели лиловые горы — извечные свидетели первой любви.

И в ней горело пламя, которое когда-то ночью озарило красную скалу.

В стороне от аила белела мельница. Ее мельница... А правее поблескивало озеро. Всего озера не было видно; из-за холма выступал только его краешек, похожий на отбитый от зеркала осколок.

Когда стемнело, вернее, наступил освещенный лишь звездами вечер, Дулат подошел к озеру, постоял у берега, глядя на воду — ему было странно видеть эту спокойную гладь, — потом присел на травянистом взгорке. Лес, подступавший к озеру, темнел в глубине, как тихий омут. Темная глубина леса, темно-синяя глубина озера... Но нет, в озере, в самой бездонности, появилась луна, которая поблескивала, как начищенная серебряная чаша. Озеро засветилось, и от этого казалось, что луна — та, на небе, посылая весь свой свет только на это озеро.

На краю леса хрустнула ветка. Среди кустарника стояла девушка в белом, как тонкая свечка.

— Торайым! — тихо окликнул ее Дулат.

Она качнулась, словно подул сильным ветром.

Он медленно пошел к ней, она — к нему.

— Долго ждал? — спросила она, и голос ее был низкий, незнакомый.

— Долго... Недолго... Это неважно. Хотя вечность! — Он не узнавал и свой голос, в ушах звенело. — Уже это для меня... радость.

— Не говори так! — встрепенулась она, будто защищаясь от чего-то опасного.

— Почему? Говорю, что на сердце. И всегда буду говорить.

— Ты все обо мне знаешь... А я о тебе — нет.

— А что обо мне знать? Я весь перед тобой... Присядем. — Он накинуд на нее свой пиджак. — Я студент. Как говорят, грызу науки. Хочешь, и тебя возьму с собой учиться?

— Ой, нет...

— Почему?

— У меня мельница.

— Это интересно?

— Еще как!

— Все равно, учиться-то надо.

— Да, надо...

Они долго говорили.

В лесу становилось все темней и таинственней. Девушка лежала на спине. Он склонился к ней, от нее пахло луговыми цветами и солнцем. Она полуприкрыла глаза, глядя в небо, и для нее все — небо, звезды, озеро, камыши, лес, трава — превратилось в одну огромную слепящую луну. Луна качалась, туманя сознание. Ах, эта красная скала... Этот полет...

...Они не могли понять, как все это случилось... Некоторое время сидели молча, пристыженные, подавленные. Правда, парень в глубине души был горд. А

¹ Аманат — нечто ценное, что один человек поручает хранить другому для передачи третьему.



девушка, положив голову на колени, с печальной суровостью смотрела в сторону.

Дулат неожиданно хлопнул ладонью себя по шее: — Комары, пропади они!..

Она медленно повернула к нему лицо—глаза мрачно темнели, застывшие, будто она не поняла, что он сказал в такой момент.

— Торайым! — Он коснулся ее плеча.

Она мгновенно вскочила, вцепилась крепкими пальцами в его рубашку—отлетели пуговицы—и со стоном, сотрясаясь в рыдании, начала царапать ему грудь. Защищаясь, он обхватил ее, прижал к себе, но она, неудержимая в припадке буйства, вырвалась, оттолкнула его, бросилась к озеру, прыгнула в воду и поплыла. Выплыла на противоположный берег, стояла в воде по колени, рванула на груди платье, как минуту назад рванула рубашку, и снова бросилась в глубину. Она плавала кругами, опускаясь в воду с головой, будто совершала омовение по давнему обычаю.

Выбравшись на берег, девушка отжала волосы. Платье прилипло к телу, и она, освещенная луной, казалась тонкой мраморной статуей, с четкими резкими складками и изгибами. Статуя двинулась к тугаю и скрылась в его сумраке.

Дулат, стоявший до этого в оцепенении, бросился за ней:

— Торайым, подожди! Зачем же так?..

Он бежал по тугаю, под ноги попадались пни и выступавшие из земли корни; он спотыкался, ветки хлестали по лицу, но боли он не чувствовал. Ему чудилось, что этот вечер, озеро, травянистый берег, где произошло неожиданное, вспышка гнева у девушки, ее купание и исчезновение в лесу—все было нереальным. Сумрак густого тугая, лунные пятна, пни, корни, хлесткие ветви—это не явь, а какое-то наваждение. Он останавливался—хотя бы услышать малейшие звуки ее шагов... Где-то хрустнула сухая ветка. Нет, это показалось. Тишина, безмолвие, только учащенно стучит сердце.

Где же она? Может, растворилась в белесом лунном мареве над лесом? Или взлетела в небо, превратилась в луну? Это мистика...

Ему стало страшно. Он вышел из тугая, остановился, глянул на свою тень—она тонула в траве. И та, которую он недавно держал в объятиях и целовал, представилась ему такой же бесплотной, как тень.

Но Дулат был человеком земным. «Растяпа!—Он спускался с неба на землю.—Стоишь здесь, соображаешь... Она ушла. Куда? В тугае нет. Значит, пошла домой».

И он поспешил к дому мельника. Прячась в тени сада, он стал поджидать. Торайым не появлялась. В конце улицы залаяли собаки. Идет она?.. Но псы скоро утомонились. Снова тишина... Время остановилось. Потом его осенило: она же может пойти на мельницу!

Мельница белела в низине, как белое платье. Там было тихо. Вдруг Дулат увидел—возле мельницы сидела девушка в задумчивости, в той же позе—голова на сведенных коленях. Задышавшись, он подошел ближе и замер: нет, померещилось. Это был старый, оголенный пенек...

Тихо в аиле, тихо на мельнице. Шумит только река да посвистывают ночные птицы; чернеет, как горбатый дракон, мельничное колесо с лопастями. На двери висит черный замок. Дулат, раздосадованный, со всего маху ударил по нему кулаком, и боль отдалась в висках.

— Эй, кто там?

К мельнице подходил колхозный сторож с ружьем на плече.

— Кто, я спрашиваю! — Он снял ружье, вскинул на руку, щелкая затвором.

— Да это я!—едва слышно отозвался Дулат!

— Аа-а, это ты? — Сторож склонился к нему, стараясь рассмотреть парня.—Чей ты сын?

— Да я племянник...

— Племянник... А я думал, кто пришел с умыслом. Ну, если ты племянник... А что ты бродишь в такое время?

— Просто так...

— Понятно, понятно. Племянник...

Дулат был совсем подавлен. Все тело ныло, будто он целый день таскал камни. На душе было тревожно, пусто, и он уныло побрел к дому Урии. Нестерпимо светила луна. Вдруг он остановился, вздрогнул: по небу, над рекой, над тугаем, над всей долиной, распластавая, как крылья, белое платье, летела Торайым. Она летела и смеялась прямо ему в лицо. Ее хохоту вторили горы.

Дулат закрыл глаза и стер со лба холодный, липкий пот...

Эта ночь погасила Торайым, ее живость, ее жизнерадостность, как другая, давняя ночь погасила большой костер, зажженный девочкой в пещере красной скалы. Она резко изменилась: ходила подавленная, с потемневшим лицом, с угрюмым взглядом. Она больше не седлала кобылку и не скакала по долине, не любовалась зеленым нарядом земли. Стала тихая, неразговорчивая, даже походка сделалась, как у отца,—тяжелая.

Эту перемену в девушке первыми заметили, конечно, аильные молодаяйки, всегда охочие посудачить.

— Смотрите, как быстро остепенилась Сарыкыз!

— Степенной ли она будет женщиной?

— Она тайно встречалась с племянником председателя.

— Такой парень!.. Из хорошей семьи.

— Говорят, он ходил в дом мельника, сватался, но она его выпроводила.

— Даже два раза... Снова уехал учиться.

Торайым словно не замечала молодежь, приходивших на речку с ведрами. Кутаясь в темный платок, который недавно появился у нее, она выходила из мельницы, не спеша проходила мимо молодежь и, занятая своими мыслями, медленно шла домой.

Аил потерял свою баловницу, говорунью и хохотунью—свою любимицу. Без нее стало даже скучновато...

С Дулатом она после того не встречалась, не говорила. Да и о чем говорить? Выпроводила со двора и все. Что он, соблазнил ее? Обманул? Нет, то был порыв безумия и с его и с ее стороны. Беда для них обоих. Может, он хороший парень и у него серьезные намерения. Хороший?.. Но как же так можно: «Комары...» Она вспоминала, что в те минуты, когда она увидела его впервые, он, стоя на берегу озера, смотрел на красную скалу...

Больше всего ее угнетало исчезновение любимого видения. По ночам, лежа в постели, она поднималась на свою скалу, вскидывала руки, но полета не было. Она падала к подножию скалы, на камни, и больно ушибалась. Особенно больно становилось сердцу. И ее снова охватывало неистовство, она в отчаянии кушала подушку, но слез не было.

Дулат прислал из города письмо, затем второе, третье... Торайым их не читала. Приходя на мельницу, она спешила к желобу и кидала нераспечатанный конверт в поток. Быстрый поток подхватывал конверт и бросал на железные лопасти колеса. Ей казалось, что вместе с письмами сминалась и отбрасывалась ее боль.

Не получив от девушки ни одного ответа, Дулат начал писать Урию. Он, не скрывая, признавался, что любит Торайым, что другой такой девушки ему не найти, что на следующее лето он обязательно придет в аил, пойдет к мельнику и будет просить руки его дочери. Он умолял Урию сходить к Торайым, узнать, как она живет, почему не отвечает на его письма, что думает о нем, об их отношениях.

И Урия пошла на мельницу. Торайым встретила ее с откровенной неприязнью. Урия заговорила о Дулате, его письмах:

— Что же ты бежишь от своего счастья? Он же тебя любит... Готов носить на руках.

— А он способен на это?

— Конечно.

— Сомневаюсь.

— Мне-то лучше знать.

— Нет, мне лучше знать!

— Он толковый парень.

— Пусть и толковый, но вместе мы быть не можем.

— Упрямая!... — с упреком сказала Урия.

— Такая уж я,—вскинула руку Торайым.—И знай, больше не будет такого разговора!

Ничего не добившись от строптивой девушки, Урия начала тайком ходить к жене мельника, выбирая время, когда Торайым не было дома.

— Да какая власть у меня над ней?—сокрушалась мать. — Она сама себе хозяйка. Кого полюбит, за того и пойдет.

— Вы же знаете, какой парень сохнет по ней.

— Знаю.

— Вы должны повлиять на свою дочь. Ведь вы мать. Посмеет ли она вас послушаться?

— Потолкуй с ней сама.

— Я уже пробовала... Надежда только на вас.

— Если парень деловой... Может, отец ее уговорит?

— Попросим и его. Мы бы хотели с вами породниться.

Однажды Торайым, возвращаясь с мельницы, заметила, как Урия выходила с их двора. Она строго спросила у матери:

— Зачем приходила Урия?

— О господи! Приходила насчет муки. Смолоть ей надо...

— Почему же она явилась в дом, а не на мельницу?

— Откуда мне знать? Захотелось, может, увидеть нас, вот и зашла.

— Увидеть... Чтоб ее духу здесь не было!—отрезала Торайым и пошла в свою комнату.

— Побойся бога, дочка!..

Мать огорчилась. Резкость дочери, ее грубоватость — не та мальчишеская грубоватость, которая была раньше, похожая больше на игривость, а какая-то другая, ее замкнутость — все это наводило мать на догадку, что за этим кроется нечто серьезное.

Прошло месяца три. Как-то за ужином Торайым — прежде она всегда ела с аппетитом — сидела вялая, почти ни к чему не притрагивалась. Вдруг она побледнела, вскочила и бросилась на улицу, зажимая ладонью рот.

Мать, наблюдавшая за ней, испугалась — так девушки, молодые женщины вскакивают из-за стола, когда их начинает тошнить. «О боже! Неужели это?.. Неужели тот парень?.. Сохрани нас от позора!» Она тогда не посмела спросить у дочери, что с ней случилось.

А вскоре по аилу холодными серыми змеями ползли слухи.

— Сарыкыз в положении...

— Была такой недотрогой... Кто бы мог подумать!

— Ну и ну!

Торайым скрывала свою беременность — туго перетягивала живот длинным полотенцем, ходила в широком платье, но к весне это уже не помогало. Она никуда не выходила из дома; мать, жалея обманутую — по ее пониманию — дочь, заботливо ухаживала за ней, держалась так, будто в их семье ничего необычного не произошло, а отец угрюмо молчал, не хотел верить, что с его дочерью случилось несчастье.

Мартовским солнечным днем Торайым родила сына. В дом потянулись старухи, и это было не просто долгом вежливости — они приходили хлопотливые и радостные, словно родила не дочь мельника, а его жена, которую они давно знали и уважали. Старухи отдавали мельничихе корундук¹, проходили в комнату, где на белой простыне лежала Торайым, прижимая к себе крохотного сына, трогали, по обычаю, тремя пальцами носик младенца, целовали кончики своих пальцев, расхваливали малыша и подбадривали роженницу:

— Хорошая дочь приносит родителям радость... Вот и ты, Торайым, принесла радость своим старикам. Для них счастье — увидеть в доме мальчика. Желаем ему долгой жизни!

Торайым не прятала своего лица от гостей, она понимала, что простые люди всегда искренне радуются рождению любого ребенка — законного и незаконного, прощают все девушке или женщине во имя того, что на свет появился новый человек. Она молчала, но была горда тем, что родила, стала матерью, пусть у нее и нет мужа. Ничто не сломит ее характера, ее самостоятельности, ее способности всегда быть самой собой...

Пожалуй, тому, что она родила мальчика, больше всех радовалась в глубине души мельничиха, всю жизнь мечтавшая о сыне, настоящем наследнике. Она ходила оживленная, помолодевшая. А мельник, узнав, что дочь разрешилась, сразу ушел на мельницу, закрылся там и не выходил целую неделю. Жена носила ему еду, боязливо стучала в дверь; он, хмурый, не смотрел ей в глаза, отворачивался, копался у верстака.

«Торе, Торе!.. Как это могло случиться?» — Этот вопрос терзал его, не давал покоя. Теперь он, кажется, серьезно стал жалеть, что у него не родился сын: «Дочь, сколько ее ни береги, не лелей, все равно уйдет за мужем. Будет рожать детей, вертеться у чужого казана...»

В груди, под сердцем, появлялась боль, он растирал грудь жесткой ладонью и мямлил бороду.

Мельник всегда верил своей дочери и твердо надеялся, что она станет в жизни порядочным человеком. Конечно, он много думал, как она вырастет и выйдет замуж, но даже и не предполагал, что все вот так получится. Верно говорят о женщинах: волосы длинные, а ум короткий. Торе — и легкомыслие... Нет, это несовместимо.

«Ах, дочка!.. Что же ты натворила? Разве я ожидал, что ты позволишь такое! Вот тебе и жизнь... Никогда не ведаешь, что будет завтра. Видно, ее, эту жизнь, не познаешь, хоть доживи и до седины...»

Но чем больше мельник думал о себе, о прошедших годах, старости, о дочери и ее младенце, тем явственней где-то вдали вспыхивала искорка надежды на благополучный исход этого дела, на успокоение. Он чувствовал себя одиноким путником в ночной степи, вдруг увидевшим далекий мерцающий огонек.

Все эти дни Торайым очень тревожилась, что отец, крайне подавленный рождением внука (казалось бы, таким желанным для него!), уединился на мельнице и

¹ Корундук — небольшой подарок при смотре новорожденного.

не приходил домой, не беспокоился за состояние дочери и не желал даже взглянуть на внука. А может, он проклянет дочь, выгонит ее из дому?..

Она кормила ребенка. Открылась дверь, и растерянная мать вдруг сказала шепотом:

— Отец идет!

Торайым торопливо укутала сына в простынку, поправила постель и откинулась на подушку, напряженная. По ее осунувшемуся лицу, по глубокому блеску расширенных глаз можно было увидеть, что она, как много переживший человек, готова ко всем неожиданностям, готова твердо принять самое худшее. А больше всего она боялась лишиться отцовского уважения.

Мельник не сразу вошел в дом. Он заглянул в сарай, затем в мастерскую, задержался там, погремел инструментами. Жена не осмелилась выйти ему навстречу, замирая, прислушивалась, ловила каждое его движение. Стало тихо... Сейчас должен войти.

На веранде — тяжелые шаги. Отворилась дверь, появился сгорбленный мельник.

— Дай умыться!..

Жена заторопилась, схватила кумган с водой; взгляд ее был виноватый и умоляющий. Она старалась во всем угодить мужу и ничем не вызвать его раздражения.

Торайым в своей комнате тоже прислушивалась, горько переживая, что причинила отцу боль.

Отец умылся, утерся полотенцем.

— Торе у себя?

— У себя...

Отец вошел в комнату, остановился у порога. Щеки его передернулись — одна, потом другая. Торайым поднялась с койки и, тихая, покорная, с опущенной головой, медленно пошла к нему.

— Отец!..

Он качнулся к ней. Она прильнула к широкой груди отца — в груди ухало его сердце.

— Отец, прости меня!..

Он осторожно провел ладонями по ее плечам, весь сотрясаясь. Казалось, он беззвучно плакал, но его ввалившиеся от тяжелых дум глаза были сухи, только руки дрожали, и ему не удавалось унять дрожь. Он отстранил дочь и долго смотрел в ее глаза. В них он прочел просьбу понять, пощадить ее и принять внука.

— Ну, показывай своего сына!

Торайым облегченно вздохнула, торопливо откинула уголок простынки, открывая лицо ребенка, осторожно повернула его к свету. Отец внимательно, пристально осматривал малыша, потом прогудел басом:

— Наша кровь...

В доме наступил прежний лад — мельник вставал рано, уходил на мельницу; мать управлялась по двору, со скотиной; дочь кормила, купала сына, любовно возилась с ним, ни на час его не оставляя. Мельника тревожило только одно: «Кто отец ребенка? Тот студент, который сватался?.. Бог с ним... Лишь бы не бачек¹».

Он много раз пытался заговорить об этом с дочерью, но сдерживался, не хотел ее обижать такими расспросами: «Если молчит, значит, так ей лучше».

Когда малыш окреп, Торайым начала с отцом серьезный разговор, заботясь о своей дальнейшей судьбе.

— Отец, в Таласе живет твой русский друг... Дай мне его адрес.

Он, догадавшись о ее намерениях, спросил:

— А куда денешь сына?

— Мать присмотрит... Я с ней уже говорила...

Отец надолго задумался.

— Только никому не говорите, куда я поеду. Старухи начнут молоть...

— Хорошо, Торе!..

Он подошел к детской кроватке.

— Вырастим внука. Как встанет на ноги, научу его ездить на коне. Он будет лихой наездник!

Видимо, эти слова ему самому пришлось по душе — взгляд его потеплел. Торайым поймала этот взгляд и поняла, что отец пришел к твердому решению: ее сын — его кровный внук. Значит, теперь все будет хорошо.

3

Дочь мельника, которая в последнее время очень редко показывалась на улице, исчезла совсем из аила. Досушие айлычане высказывали догадки:

— Наверное, уехала в другой аил.

— Она росла, как вольный ветер... Вот и улетила, куда ей захотелось.

— Стариков жалко, остались одни. Кому теперь нужен их двор?

— Да, родители — деревья, дети — их плоды. Что пользы от дерева, на котором нет плодов?

Мельник был спокоен — он знал, где его дочь, у кого она остановилась и чем занимается... Каждую ночь он мысленно разговаривал с ней, давал советы, как держать себя в незнакомом городе, как лучше учиться. Изредка к нему обращалась жена:

— Наша дочь молчит. Напиши ей, пусть пришлет письмо... У других дочери делятся тайнами с матерями. А эта, как чужая. Будто не я ее рожала, — жаловалась она.

— Какие тебе тайны! — бурчал мельник. — Учится она на трактористку. Живет у Григория. Передавали, наш друг помог ей поступить на курсы. Она занята.

— Правильно она сделала. Только бы писала...

С той поры, как Торайым уехала, но оставила им ребенка, мельник обрел прежний интерес к жизни; дышалось ему легче, свободнее, словно мир расширился перед ним, будто он сбросил со своих сутулых плеч добрый десяток лет и нашел то, что искал долгие годы. Он не слишком огорчился отсутствием дочери — ее заменил внук. А мать и одобряла решение дочери начать самостоятельную жизнь и не могла смириться с тем, что она выбрала специальность трактористки: женское ли это дело, как это можно молодой девушке возиться с железом, пачкаться мазутом, пахать землю, целыми днями глотать пыль? Однако она успокаивала себя: «У нее своя голова. Раз уж решила, значит, все обдумала».

...На следующую весну Торайым возвратилась в аил. Она пошла в колхозное правление и настояла на том, чтобы ей дали трактор.

— Я окончила курсы. Вот документы.

— Знаем, ты освоила трактор. Но ты же не парень...

— А я могу получше парня.

И айлычане дивились, увидев Сарыкыз не на пегой кобылке, а на гусеничном «железном коне», который однажды утром загромыхал у дома мельника.

Весна уже начинала красоваться своей зеленой накидкой, но здесь, в горной долине, по утрам было еще холодно, и подснежники дрожали на сыром ветру.

Рассветной ранью Торайым шла к старой, приземистой юрте на краю широкого поля. Это был полевой стан — за юртой стояли тракторы, плуги,

¹ Бачек — мелкий, пошлый человек.



сеялки, бочки с горючим. Торайым шла и смотрела на подснежники, и ей было жаль эти озябшие цветы. Она сорвала один подснежник, подышала на него, глядя на горы, над которыми алело небо: «Скоро солнце... И вы согреетесь...»

С тундука — дымохода на самой макушке юрты — еще не была снята кошма; значит, в юрте еще спали. Торайым резко постучала в дверь: «Спят до сих пор!» Дверь открыла худая, заспанная, со спутанными волосами женщина — стряпуха, недовольно буркнула, зевая:

— Чего так рано?

Торайым заглянула в юрту:

— Где прицепщик?

— Бригадир его забрал. Приезжал ночью...

— Кадыр?

— Да. Сказал, нужны сакманщики...

На лице Торайым проступила тень недовольства:

— Начинаем пахоту, а он людей забирает!

— Не тревожься. Кадыр сказал, что пришлет другого прицепщика. — Стряпуха пригладила волосы, накиннула телогрейку, взяла два ведра и пошла к арыку, который журчал неподалеку от юрты.

Первые лучи солнца скользнули по остроконечным горным вершинам, затем солнечный свет начал заливать всю долину. Когда пригрело, поля задымались легким паром. Запахло землей, молодой травой, погожим утром. Торайым задумчиво стояла у своего трактора; она подняла ком земли, размяла его — земля была вязкая, как крутое тесто. «Жирная... Пора начинать пахоту. Где этот бригадир? Умеет лишь говорить... Задержим пахоту, земля начнет сохнуть». Она вернулась к юрте, где у казана

хлопотала стряпуха. Может, она поработает за прицепщика? Но женщина была щуплая, ей под силу только два ведра воды. Где ей до прицепа? Хоть бы обед нормальный готовила... Стряпуха словно угадала мысли трактористки:

— Прицепщик и сам не хотел уходить. Говорит: «А что Торайым скажет?» Но Кадыр настоял на своем. Ты же знаешь, какой у него характер. Начал орать на все поле.

Торайым, почти не слушая стряпуху, смотрела в сторону аила, глаза ее строго щурились на ветру: когда же будет замена прицепщику! Вдруг из-за ближайшего холма выехал бригадир верхом на потном коне.

— Вот он и едет, — обрадованно сказала стряпуха. Бригадир ехал один. Увидев Торайым, он притворно загорячился:

— Что же делать? С ног сбился... Голова кругом идет. Ох, время, время!.. И посевная и окот...

— Где прицепщик? — не реагируя на его причитания, спросила Торайым.

— Милая!.. С рассвета клянчу в правлении прицепщика. Людей не хватает. В колхозе мало парней. Хоть сам разорвись на части!..

— Пусть сакманщиками пошлют школьников. Кто постарше...

— Знаем. Председатель договаривается с районом.

— Пока он договаривается, ты слезай с коня! — рассерженно сдвинув брови, будто старшая по званию, бросила Торайым.

— Пожалуйста, — не то растерялся, не то обиделся бригадир. — Могу и слезть!

Он спрыгнул с коня, отвел его к конюязи, вернулся, недоуменно глядя на трактористку. Она, усмехнувшись, пошла к своему трактору.

Заработал мотор. Торайым забралась в кабину с выбитыми стеклами, махнула рукой бригадире, показывая: мол, занимай место прицеппщика.

— А что, и сяду! — встряхнулся Кадыр. — Думаешь, не смогу?

Он вскочил на плуг, устроился на круглом железном сиденье.

— Трогай!

Трактор двинулся к полю. Кадыр опустил рукоятку, которой регулируется глубина вспашки, — лемеха с хрустом врезались в землю. Глядя через окно кабины на узкую спину Торайым, он язвительно думал, вгоняя плуг поглубже: «Посмотрим, на сколько тебя хватит. Это вначале ты так загорелась... Дашь пять кругов, остановишься и скажешь: «Ух, на сегодня хватит!»

Но Торайым не останавливала трактора, ничего не говорила. Она сидела прямо, смотрела вперед и лишь на поворотах, крепко хватая рычаги, всем корпусом откидывалась назад, явно радуясь своей власти над сильной, оглушительно ревущей машиной. Она давала круг за кругом, и бригадир не заметил, как у него прошла обида на заносчивую молодую трактористку, он уже не считал загоны, а только следил, достаточно ли глубина вспашки, смотрел, как земля за плугом ложилась крупными лоснящимися пластами, похожими на гривы гнедых коней. С каждым кругом вспаханная полоса становилась все шире и шире.

Кадыр много лет работал бригадиром и уже забыл, как он подростком сидел за прицепом. И теперь ему казалось, что он в первый раз покачивается на железном сиденье, сжимает рукоятку, вдыхает густой запах земли, запах нового хлеба. И сам, как Торайым, загоревшись пахотой, он вроде впервые в своей жизни любовался, наслаждался щедростью земли, полей, которые властно овладевают сердцем человека, даруя ему радость.

— Давай, Сарыкыз! Еще круг! — кричал Кадыр. — Еще загон!..

Торайым обернулась, увидела его запыленное, потное, с темными струйками лицо.

— Устал, бригадир?

Он улыбнулся:

— Жми! Вон сколько наворотили...

В том месте, где прошли первые загоны, земля уже подсохла и немного посерела.

— Хватит. Поднимай лемеха, — сказала Торайым.

— Что, на сегодня все? — В голосе бригадира даже прозвучала нотка сожаления.

— Смотри, где уже солнце. Трактору тоже надо победать.

Торайым направила машину к полевому стану. Когда она выбралась из кабины, Кадыр подошел к ней и серьезно сказал:

— Спасибо, трактористка!

— За что? Ведь устал...

— Такая усталость — радость. На душе стало легче. Продуло ветерком...

Торайым понимающе усмехнулась. Кадыр слегка смутился:

— Я сейчас же найду тебе прицеппщика. Пришлю...

Он поспешил к коню, вскочил в седло, взмахнул камкой и наметом поскакал к аилу.

Пахоту закончили, отсеялись. Весна сменилась душным летом, и наступила пора сенокоса. В низинных, пойменных лугах и в тихих логах между предгорными холмами стрекотали конные сенокосилки;

подсохшее сено сгребали в валки, копнили, свозили телегами к колхозному коровнику. Торайым возила сено трактором на больших санях с полозьями из толстых деревянных брусьев, окованных стальными полосами. Она работала деловито, с запалом, но со всеми держалась отчужденно, была неразговорчивой.

— Какая-то она каменная, — говорили о ней.

— Давно не видели, чтоб она веселилась.

— Гордая...

Аильчанам было неведомо, что носила в себе совсем уже повзрослевшая дочь мельника, о чем она думала, как намеревалась жить, как представляла себе свое будущее. Единственной радостью для нее стал маленький сын. Возвращаясь поздно вечером с работы, она спешила в свою комнату, где лежал круглощекий малыш, тихо посапывая; брала его на руки, прижимала к груди, целовала и шептала:

— Моя звездочка!

Обласканный малыш, улыбаясь, хватал ее пухлыми пальчиками за нос, за волосы, и она радостно смеялась. Мать, стоя в дверях, одобритительно вздыхала:

— Поласкай, поласкай сына, доченька! Будет лучше расти...

Торайым не ходила в клуб, вечерами не встречалась со своими ровесницами, а парней, молодых мужчин отпугивала ледяным, надменным взглядом. И раньше не склонная откровенничать, шептаться о том, что переживала, теперь она и вовсе ни с кем не говорила о себе, не изливала душу и ни на что не жаловалась. Подруги наблюдали за ней, но не смели приставать с расспросами. Навсегда кануло в небытие то время, когда весь мир казался ее приданным. Стремительная ее юность, подобная стреле, пущенной из тугого лука, сразу приостановилась, стала тихой, как река, перекрытая в долине плотинной. И эта замедленность, тишина тяготили ее, создав для движения, полета, фантазии...

Однажды девушки, копнившие дикий клевер на лугу между речными протоками, недалеко от озера, заговорили о приехавшем из района уполномоченном — таких уполномоченных присылали в колхоз на время посевной, окота овец, сенокоса и уборочной страды.

— Еще молодой.

— Ходит в фетровой шляпе.

— Очень странный тип. Кажется, он наблюдает за нами.

— Может, он хочет кого-нибудь из нас завлечь?

— А что? Начальник... Холостой...

Копнильщицы посмеивались.

— Не годится, ленивый. Каждый день лежит на берегу озера под ивой.

Торайым, помогавшая копнить, слушала этот разговор без особого интереса. Ее затронуло только то, что уполномоченный, которого она видела лишь издали, любит отдыхать на берегу озера. Девушки не прекращали потешаться над уполномоченным и тогда, когда, закончив работу, шумно и весело направлялись к аилу. Их оживление передалось и Торайым, она шла и не чувствовала усталости.

Уполномоченный, несмотря на свою молодость, был представительным, степенным мужчиной. Он явно испытывал удовольствие от своей власти и на всех посматривал свысока. Иные молодаяйки не без интереса поглядывали на него. До полудня он бродил по току, объезжал на коне пшеничные поля и плантации лекарственного мака, а когда начинало жечь полуденное солнце, ехал на покос. У озера он стреноживал коня, присаживался под ивой, прикрывал лицо газетой и дремал.

Так было и в этот день. Он проехал стороной, искося поглядывая на копнильщиц, и скрылся за де-



ревьями. Копнильщицы как раз садились обедать, раскладывая на траве свою нехитрую снедь. Приехала на тракторе Торайым. Все сразу зашумели, замахали руками, словно пожаловала самая желанная гостья.

— Иди к нам, Торайым!

— Садись ко мне. Вот свежая лепешка!

— Нет, у меня айран¹ вкуснее. Ко мне иди...

Торайым присела, отломив кусочек лепешки.

— А где ваш уполномоченный?

— Где же!.. Там...

Торайым поднялась и пошла к озеру. Копнильщицы переглянулись, догадываясь, что дочь мельника что-то задумала. Они пошептались и тихо, без шума последовали за ней, пригибаясь среди кустарника.

Торайым увидела — молодой мужчина, совсем еще парень, хорошо одетый, с гладким, не очень обгоревшим на солнце лицом, выразившим немалую важность, сидел в тени ивы, привалясь к стволу спиной, и смотрел на озеро. «Тогда... Это место...» — вспыхнуло в голове Торайым, и у ней кольнуло в сердце. Уполномоченный увидел стройную девушку, встрепенулся, учтиво поклонился:

— О-о, карындаш! Вы тоже копните сено? Приживайтесь, отдохните.

Но она не приняла его приглашения, стояла хмурая.

— Уходите отсюда...

— Что такое?

— Идите со мной. Рядом река, а человек томится в духоте.

— Нет уж, купайтесь сами. Вы такая молодая... — Уполномоченный попытался шутить, намекая на то, что он якобы уже в годах. — А мое тело уже остыло.

— Когда вы записались в старики?.. Вставайте.

Мужчина поднялся и пошел за девушкой.

— Давайте познакомимся. Как вас зовут?

— Рано — как зовут... Я из этого аила. Вы не знаете одного нашего обычая.

— Какого обычая? Как это я не знаю обычаев?

— А так... В нашем аиле принято: прежде чем познакомиться с джигитом, девушка купает его в холодной воде.

— Не шутите, карындаш!

Торайым подошла к реке. Мужчина придержал ее за локоть, встал перед ней, заглядывая в глаза:

— Такая красивая — и вдруг несерьезные слова.

Торайым и в самом деле захотелось сотворить забавную шутку, ее охватила былая игривость, всплеск прежнего озорства пробудил в ней бесенка. Она грудью пошла на мужчину, он попытался. Торайым схватила его за плечи и толкнула с берега. Взмахивая руками, он плюхнулся в воду, быстрый поток подхватил его, как ветер перекасти-поле. Из-за кустов шумно выскочили копнильщицы, захохотали, хлопая в ладоши. Уполномоченный барахтался в воде, захлебываясь, хватаясь за скользкие валуны. Наконец течение вынесло его на мелкое место, он ухватился за корягу, вышел на пологий берег. Обиженный и рассерженный, он погрозил девушкам пальцем, потом, знобко вздрагивая, начал отжимать на себе одежду.

— Молодец, Торайым!

— Не будет кружить возле нас.

— Ох, напрасно... Он человек ответственный. Еще придется нам отвечать...

Торайым, довольная своей проделкой, весело смеялась, даже слезы выступили на глазах, словно в ее груди сдвинулся камень, который сдерживал, давил ее живую натуру. Вдоволь насмеявшись, она ушла в прохладный тугай.

¹ Айран — кислое молоко.

К вечеру уже весь аил знал о том, что Торайым устроила уполномоченному холодную купель. Председателя это встревожило.

— Она что, с ума сошла? Представителя района толкать в реку! Нагорит нам... А ведь так хорошо работала!.. Осенью мы хотели представить ее к награде. А она что выкинула! — Потом он успокоился и сам повеселел: — А что?.. Хорошо! Может, Сарыкыз станет прежней.

По пути домой Торайым зашла на мельницу. Отец смотрел на нее строго: видно, новость дошла и до него, — но не смог сдержать усмешки.

— Скажи, Торе, ты его в шутку испугала?

— Она мотнула головой:

— Нет, отец. Это была не шутка.

— Тогда зачем?

— Так... — Она крепилась, сохраняя серьезность, но радость, возникшая на покосе, вновь всколыхнула ее и просветлила лицо. — Ну, конечно же, это шутка!

Старый мельник снова увидел перед собой прежнюю Торе, когда она бегала, возилась с мальчишками, не боялась вечерами одна оставаться на мельнице, седлала кобылку и носилась по долине, упоенная скачкой. Обрадованный, он, кажется, забыл обо всех своих горестях... Его задумчивые глаза застлало пеленой нежности к дочери, и он положил на ее голову свою теплую руку.

— Шалунья...

— Отец, — серьезно сказала она.

— Что, дочка?

— Я поеду...

— Куда?

— В город. Хочу учиться.

Отец уловил перелом в ее настроении, в ее душе, и, как ему было ни тяжело вновь расставаться с ней, согласно кивнул:

— Делай, как хочешь.

— Поступлю в техникум. А может, найду работу и закончу вечернюю школу. В Таласе я встречала девчат, которые днем работали, а вечером учились.

— Трудно будет...

— Это не страшно.

— Ну, ничего, мы поможем. Будет мало денег, кобылу продадим.

— Нет, кобылу не продавайте. — Она даже вздрогнула. — Никогда...

Они замолчали. Они всегда говорили кратко, только о самом важном.

В аил неожиданно приехал Дулат. Неожиданно, конечно, для кого угодно, только не для него самого... В первые дни он никуда не выходил из председательского дома, часами лежал на диване, курил и все думал, думал... Почему Торайым его отвергла? Как к ней подступиться?

Урия, замечая хандру своего родственника, успокаивала его:

— Не убивайся. Может, поищем другую девушку? У меня есть одна на примете. Еще красивее...

Дулат поднимался с дивана и ходил по комнате.

— «Не убивайся»... А как иначе? Не выходит она у меня отсюда. — Он бил себя ладонью в грудь. — Я должен ее видеть! Обязательно...

— Я же тебе писала... Ходила к ней, ходила к матери. Напрасно. Упрямая, никакой власти над ней нет. Тем более теперь.

— Что же делать?

— Значит, не судьба твоя... Надо смириться.

— Не говори этого! Хочешь мне помочь, сходи еще к ней. — Дулат совсем отчаялся. — Зачем я тогда приехал в аил! Жил бы спокойно...

— Может, записку...

перед дзором толпились люди — похоронная суета. Юрте, голосили плакышницы. В доме, во дворе и поставленной во дворе по этому случаю, и там, в бараках, разводили очаги... Мельник лежал в юрте, халился даже из стальных селений долины. Режали чужаки, разводящие селения. Помануть его сюда, выдвигали аскакалы.

— Хороший человек, он и умирает хорошо... — лежал рядом с жерновом. И нашли его возле мельницы, он кривил окованный камень, и вдруг что-то острое еще есть сила в руках. Потом попытка поднять Рано утром он правил жернов, чужаку, что Старый мельник распознал с белым светом. Пошли годы...

ЭПИЛОГ

— Только что улетел.
— Самолет на Фрунзе...
— Что тебе?
— Мне лишь спросить...
— Эй, куда без очереди?
окошку, на него недовольно заворчали:
сы толпились очередь. Дулат начал протискиваться к
Он поспешил к билетной кассе. В тесном зале у касс
Он оградил пассажира. Нет, девушки нигде не было.
лат хотел окликнуть его, остановившись, но сдержался.
лошадь камной и запылил по обвезанной дороге. Ду-
старого мельника — тот сел на одноконку, хлестнул
ны, лежал у улья, курджуны... Вдруг Дулат увидел
тесно сидели на скамейках, у их ног стояли чумаки-
сквере перед ним было многолюдно. Пассажиры
У входа в небольшое здание аэровокзала и в
Машина подкатила к взлётной...
— По делам.
— Что так спешишь во Фрунзе?
— Нет...

нат?
— О, я знаю божжигита. Крепкий аскакал. Ты же-
Мужчина снова обернулся:
— Божжигита.
— Чей сын?
— Да, наш аил там, за Таласом.
— Ты здешний?
Однако он не успокоился.
Роман дороги.
маковые плантации, которые белели по обим сто-
Мужчина принял прежнюю позу, стал смотреть на
— Неплохо.
— На Иссык-Куль.
— И куда направляли?
— Только что закончил политехнический.
— Работаете?
— Да.
— На Фрунзе?
— Да, к самолёту...

сен.
он был из тех людей, кому любой попытка интерес-
окинул Дулат пристальным взглядом — очевидно,
— Торопится? — короткий человек обернулся,
метр, 80... 90... 100... И все же медленно идет машин-
податься вперед, неотрывно смотрел на спидо-
только его голова. Дулат, занятый своими мыслями,
роста человек — из-за спинки сиденья виднелась
Рядом с водителем сидел полный, очень низкого
— Садись!
— В Талас.
— Куда тебе, джигит?
«Лобода» приторопозила.
мало надежды, но Дулат поднял руку. Запыленная
ничал. Из-за поворота выскочила легковая машина;

т. Фрунзе.

здесь будут жить люди и их память.
она все равно будет возвращаться над долиной, пока
сожжет солнце, размоют дожди, развевает ветер, но
шится на земле. Пусть эту скалу разрушит время,
ной скалы. Скала стояла на месте. Нет, не все ру-
Торайым стиснула пальцы, глянула в сторону крас-
Приходит время, и скалы падают в пропасть.
гидростанцию будут строить... Все на земле рушится.
— Старая совсем стала... Снесут. Там, наверху,
ласа на чей-то посторонний голос, не посмотела,
Торайым так ушла в свои мысли, что и не обору-
— Эй, мельница!.. Осиротела.
есть...

ничный жернов, движется, вращается и останавлива-
яном. Да, жизнь каждого человека, точно мель-
ребятишки будут играть в прятки. Все порастет бур-
она совсем отустает, развалится, и здесь аилы
лас, и речная вода текла мимо нее. Пройдет время,
вращаться вокруг своей оси, а мельница остано-
как ночное кладбище. Жизнь... Земля продолжала
ца, уже совсем обветшавшая, не гудела, была тихая,
С кладбища Торайым пошла к мельнице. Мельни-
свадьбе поглотить так и не пришло...
весь аил. Одна родная и любимая дочь, а на ее
думал о богатом свадебном тое — пишесте на
старого мельника. Может, он до последней минуты
А может, и не одно это было последней мечтой
и в самом деле станет джигитом.

Сын уже вырос, во всем помогает бабушке. Скоро
Это было его последней мечтой.
дешь джигитом!
челю, поглотит. Держись крепче! Таким еще бу-
— Ну, пострел, порошай давай! Не получается? Ни-
отец, а вник сидел на его спине.
ку, заставлявшему весь пол, кружил на четвереньках
оно и увидел: по комнате, по войлочному ширда-
горел свет. Она тихо вошла во двор, заглянула в
нился один приезд в отчий дом. Был вечер, в доме
знавшего устали и хвори, одолела смерть. Ей впом-
осознать, что отца, сильного, никогда не
это было для нее нереальным: она никак не могла
гилы, глядя, как его засыпали сырой землей, и все
Вместе с мужнинами она несла отца, стояла у мо-
И никто не посмел ей пережить.

— А я пойду!
Торайым непременно сказала:
горсть земли в могилу?
закана... Где же видано, чтобы женщина бросала
проводить его в последний путь. Но не забывайте
— Куда? Понятно, он большой человек, вы хотите
мы старый аскакал основали их:
чин и стариков, давились было и женщины, но са-
похоронной процессией, состоявшей из одних муж-
После похорон мельника понесли на кладбище. За
цо ушли слезы...
мучную пыль и запах мельницы. На его осыпавше-
и в седую борозду, которая, казалось, еще хранила
вернула наизусть — отец словно спал. Опустившись
лицо его было прикрито красной накидкой. Она от-
отойдя от цинковой, за которой лежал отец.
ки подхватили ее под руки и проводили в юрту. Она
твердым лицом, затененным скорбью. Две молодая-
шины — в темном платье, уже совсем женщина, с
пропущенная машина к воротам. Торайым вышла из ма-
которой клубилась серая пыль. Люди расступились,
Ваши на дороге показались легковая машина, за
— Скоро дождя. Послали терепаму.
— Торайым не приехала!

Владимир Цыбин



СОЗВУЧЬЯ



День прожит в прежней суете,
и все же он казался важным —
не по воде, а по судьбе
уплыл корабликом бумажным...

Нет, мир не мерил я собой
и от него не записался —
несокрушимой ордой
не раз он в душу мне врывается.

Вот так чертополох во рву
мечтать привык о дальней сини,
как я вот в этом дне живу
порою словно на чужбине.

Одно я понял в этом дне,
что мною прожит срок немалый,
бег зыбкий времени во мне
осадет тяжестью усталой...

И, уподобленный копью,
еще забытому до срока,
я правоту в себе коплю,
как будто звонкий дар пророка.

Течение

Я ввергнут навсегда в круговорот,
из мига в миг перехожу текущий, —
так музыка, слагаясь из созвучий,
запечатленной тенью в нас живет.

Вот так и я запечатлюсь в остылость,
но и под коркой льда живет река.
О, сколько двойников во мне сменилось,
а я не обозначился пока!

Вот первый «я» — он снова предо мной,
смущенный, в полотняной рубашонке,
протягивает к матери ручонки,
его еще качает шар земной.

А вот другой — усталый и прилежный,
отчаянный, как все мальчишки, враль,
мечтающий под вязкий скрип тележный,
что уведет его дорога вдаль.

Вот третий, вот четвертый... дальше...
спешат ко мне сюда через войну.
Протягиваю руки им, а пальцы
скользят, как по замерзшему окну.

А вот вчерашний... Кажется, что в двери
войдет сейчас, и я спрошу в тиши:
«Ну как, устал безрадостно не верить,
неверье ведь — изгнанье для души!...»

И все-таки из забыты пустынной
сомненья все,
все радости храня,
лишь оглянусь, как вереницей длинной
текут, словно туманы, сквозь меня.

Безверием себя я не унижу,
пока манят непрожитые дни,
пока себя, грядущего, предвижу
там, вдалеке, куда спешат они...



Ты слышишь — певуче запели капли,
овраги и сучья,
на тяге весенней играют речные излучья.
И туча, и круча, и ива плакуча
вбирают созвучья,
созвучья.

Где звонкая капелька скатится с неба
на белые снега,
где лист замурован до ведра
в зеленом ковчеге,
где в беге рванутся, от дождика пегы,
по веткам побеги,
побеги.

О сердце свое я споткнулся:
былое — то бездной, то — кручей,
снежинок мотив надо мною кружится
летучий,

слагаясь меж далью и тучей
из белых созвучий,
созвучий...



Вот миг — и вдалеке
вдруг канула минута,
и вновь на сквозняке
душа моя продута.
Морщины лоб секут,
и, что ни день — в утрате;
и зыбкий бег секунд
дрожит на циферблате.
А я одним томим,
что часовая стрелка
над временем моим
не спит, как посиделка.
Души текущий лик,
летучая частица
неужто в этот миг,
как в мрамор, воплотится!
Неужто без следа
живу, коль в тишь и व्यюгу
спешу, как стрелка та
по замкнутому кругу!

А я стою на том,
что жизнь — не только бремя,
коль сердцем, как щитом,
вдруг остановишь время...



Дотлевет осенняя таль,
и в просветах листвы кое-где
расплывается белая даль
от меня, как круги по воде.
Тень, кружащая вслед за листвою,
и забытая тень от скирды
нахоженной, легкой инцой
затянула за мною следы.
И, вступив на дневную межу,
слышу медленный шелест и хруст,
Это я в чье-то эхо вхожу,
где на каждом шагу отзовусь.
И, осеннюю чувствуя боль,
еще выше подняли леса
над моей головой, над собой
листопадов грибных паруса...



Собой весь мир ты нарекла,
собою, душу бросив в замять;
ты нарекла, как обрекла
меня на горестную память.
Я все в себе отверг, как ложь,
всему дал имена иные,
как будто все — и даль, и дождь,
и небо — вижу я впервые.
Хотел спасти, а сам губил
и по-мальчишьи верил в дерзость,
и от всего, что я любил,
отрекся,
словно самодержец.
И ничего я про запас
себе уже не оставляю
и малость ту,
что в сердце спас,
опять на гибель обрекаю...



Вот снова я у отчего огня,—
и опытная, старая родня
мне говорит о жизни, о погоде:
все около, все — якобы, все — вроде..
— Ну как живете?
— Ничего, живем.
Растили хлеб и сыновей растили,
повыучились все и укатали.
Что им земля! Что им родимый дом!
Текут слова, спокойны и легки,
со всей привычной простотой подробной..
Ах, милые, смешные старики
с заботой о правде старомодной!
Скажу ль, что я от родины отвык,
что утерять недвижимую степенность,
что вдавленная в сердце откровенность
уже меня не движет напрямик?
Нет, не отвык — в душе ее таю,
затем таю тоску свою по дому,
что и по мне, по самому живому
суровый век прошел, как по жнивью.
Я нараспашку жил, громкоголос;
набрала прошлым память, погрузнела,
и все, все, что в душе когда-то пело,
в молчание, как в камень, отлилось.
Теперь я по-иному — на свету,
теперь иначе в даль душа открыта,—
так самолет,
ушедший в высоту,
не слышен из гудящего зенита...

Благословенье

Не заботы спрошу, не любви,
вновь вернувшись к родному порогу,
вместо матери благослови,
дом родительский, сына в дорогу.

Проводи ты меня тишиной —
не трехперстием, как мама когда-то,
до последней черты, до одной —
моя жизнь перед ней виновата..
Вся душа без нее истекла,
до скончания века простыла.
Если мама бы только могла,
из забвенья бы тихо простила.
Так спасибо, родительский дом,
что берег ее в стуже недавней,
согревал ее добрым теплом,
разговаривал старою ставней.
Не удачи прошу, не любви,
а прошу я, готовясь к отлету,
дом родительский, благослови,
позови на печаль, на заботу.
Лишь душа, как озябший глухарь,
все поет, а кому, и не знаю;
в луговинную, стылую даль
нараспашку ее открываю.
Уходя, знаю я об одном,
что, проживший всю жизнь наудачу,
я вернусь в опустевший наш дом,
приклонюсь к косяку — и заплачу...

Отъезд

Лежат дороги, словно пустыри,
где с юностью когда-то мы простились,
лишь яблоки, как будто фонари,
по всем садам издали светились.

Потух на маме старенький платок,
и дом притих за ржавою заложкой,
уехал я, в руках зажав мешок
с последнею, подмерзшею картошкой.

Нет, не скиталец я, не блудный сын.
«Смотри, учись», — наказ запомнив строго,
из всей деревни — вот такой один,
последняя надежда и подмога...

В глазах темно, а в горле слез комок,
ведь выбран путь не здешний,
не шутейный,
хоть сто рублей зашито мамой впрок
в пальтишко из материи трофейной.

Хотя креплюсь, а думаю в тоске,
что ничего я в городе не значу,
лишь золотая роща вдалеке
доверчиво пророчила удачу.

Все тот ли я!
И так ли я живу,
не заблудился ли, как некий витязь!
Ау, изба, земля моя, ау,
издалека вы сыну отзовитесь!

И если будет мне невмочь в тоске,
и если душу вдруг беда источит,
я все же помню:
где-то вдалеке
та роща позабыть меня не хочет...

Борис Ластовенко



Атака

Когда за танками вперед
по полю хлынула пехота,—
я знал: учения не мед,
а очень трудная работа!
Есть упоение в бою,
есть вдохновение в работе,
а здесь «осколочными» бьют
по наступающей пехоте.
Но вижу небо голубое,
вдыхаю свежий ветер дня,
когда гремит и дышит боем
незачехленная броня!..

Тополя зашумели в ночи...

Тополя зашумели в ночи
неожиданно и беспричинно,
словно зыбкое пламя свечи,
золотые склоняя вершины.
Может, раньше, а может, сейчас
на слезах материнских бессонниц
не деревья — немая печаль
утвердилась у наших околиц!
Эта странная форма ветвей,
эти листья над далью дорожной,—
чтобы слышать своих сыновей
в этом мире, глухом и тревожном.

Природа, Родина, народ...

И мы приходим к роднику
и отражаемся в кринице:
из собственных горячих губ
воды приходится напиться!
«Природа, Родина, народ...»
Слова в сознание оживают,
их не напрасно корень «род»
в одну семью объединяет.
Я к влаге бережно приник,
я пью студеными глотками,
и слово звонкое «родник»
одними вспоено корнями!
У нас завидная судьба:
мы словно пьем живую воду,
всё глубже познаем себя,
всё ближе к своему народу...



Это молодость просто была!
Это кровь молодая играла,
и состав пролетал, как стрела,
по студеным туннелям Урала.
Это молодость просто была...
Мы стояли у окон вагона,
а состав пролетал, как стрела,
и свистел на сквозном перегоне...

Евгений Тареев

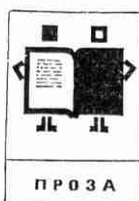


Ну к чему мне,
к чему мне,
к чему мне

Знать все то, что у вас на уме!
Я хотел бы в далеком чуме
Слушать песню о Колыме.
А вы слышали, как орощёлка
Под студёный наплыв снегов,
Чуть покачиваясь, без умолку
Свою песню поет без слов!
С этой песней легко и тяжело —
Сквозь ветра и колющий мрак.
Млечный Путь мне казался упряжкой
Быстроногих колымских собак.
В этой песне ни слез, ни посулов.
Из нее, как миры из ночей,
Выступают тяжелые скульпы
Низкорослых людей-орочей.
В ней услышу я бег опеней
И увижу, как видеть отвык,—
Обдирает солнце колени,
Забираясь на материк.

В порту

Пароходы. Трубы. Трапы.
«Вира! Майна!» Крик и смех.
Якоря поджали лапы
И над морем держат верх.
На плечах от грузов меты.
Мускул к мускулу — гора.
В перекурах с сигаретами
Уживается махра.
День тут выпуклый и резче.
И над бездною воды
Вьются, стелются, трепещут
Разномастные чубы.



Р. РОМА



ОТКРЫТИЕ

РАССКАЗ

Рисунок Василия ТЕРЕЩЕНКО.

Э тот ленинградский мальчик впервые проводил лето в Молдавии.

Он с утра убежал из дома и шел куда глаза глядят, раздвигая густую траву и цепкий кустарник, спускаясь в маленькие долинки и взбираясь на горячие от солнца холмы. Однажды он забрел на дно огромного оврага, разверзшего землю метров на тридцать вглубь. Высокие зеленые стены его, поросшие деревьями, кустами и травами, зубчато врезались в небо.

Когда мальчик шел по узкой тропе вдоль стены оврага, он внезапно увидел ежа. Сначала они оба, еж и мальчик, затаились — еж в страхе перед опасностью, мальчик в неукротимом ожидании нового. С добрым любопытством, терпеливо стоял он возле нестрашного колючего шарика, завоевывая его доверие.

Наконец еж развернулся, выпростал ножки, одетые в мохнатые штаны, высунул из-под колючей челки острое рыльце, стал похож на крошечную свинью и деловито побегал дальше, не обращая внимания на преследующие его шаги.

«Наверное, я кажусь ему громадным и страшным, — думал мальчик. — Я раз в пятьдесят больше него. Интересно, ежи доживают до одиннадцати лет?.. Вот, свернулся! Это он защищает свой пушистый белый живот. Иглы только на спине. Посмотрю-ка! — решил он и протянул руку, чтобы поймать ежа, но передумал. — Я испугаю его, а ведь он уже меня не боится».

Вдруг мальчик остановился. Он почувствовал прохладный сквознячок, очень заметный в жарком летнем воздухе. Сквознячок пахнул сыростью и еще каким-то незнакомым острым запахом. Мальчик оглянулся и увидел в стене оврага черный, полукруглый зев пещеры. Он шагнул внутрь, и сразу мрак окружил его, а сырая, подвижная прохлада обняла за плечи. Мальчик настороженно остановился, вглядываясь в темную тишину, и вдруг услышал над собой легкое шуршание, царапание и шорох — признаки чьей-то таинственной жизни. Ему стало страшно, и он выбежал на теплую солнечную тропинку.

«Чего это я испугался, как маленький? — подумал он, опускаясь в высокую острую траву. — Надо же посмотреть, кто там живет, кто это шуршит и царапается наверху. Наверное, я трусливый какой-то, — продолжал он огорченно думать, уже вставая. — Не может быть».

Мальчик снова шагнул в пещеру, впервые ощутив, как часто и сильно бьется сердце.

«Надо закрыть глаза, чтобы потом лучше видеть в темноте», — вспомнил он, постоял минуту с закрытыми глазами и снова внятно услышал шуршание и возню вокруг себя.

«Кто это? — прислушался мальчик, не открывая глаз. — Пауки не могут так возиться и шуршать... Змеи!» — вдруг ужаснулся он и открыл глаза, превозмогая желание убежать.

Тьма отступила в углы, как бы отодвинулась, и мальчик увидел, что потолок и стены пещеры странно колышутся, словно обитые мягким, пушистым ковром. Что-то бесшумно пролетело у него над головой, и легкое движение воздуха зашевелило волосы на макушке. Он вскрикнул и понял: летучие мыши! Сотни летучих мышей жили в этой пещере. Они гроздьями, как невиданные плоды, свисали с потолка и стен, изрытых норами и выступами. Мальчик вглядывался, пытаясь рассмотреть зверьков, но контуры, сливающиеся в скудном свете, давали возможность только угадывать их несметное количество.

«Был бы у меня с собой фонарик», — досадовал мальчик, осторожно двигаясь вдоль стены, где у самого потолка шевелились летучие мыши. И вдруг в конце пещеры, за поворотом, он заметил свет. Это было тоже полукруглое отверстие, только маленькое, похожее на огромный сияющий глаз, будто день заглядывал в пещеру. И на фоне этого света

он стал различать сложенные крылья и круглые ушки. Да, здесь жили летучие мыши, странные летающие животные, маленькие птеродактили, сохранившиеся на земле с незапамятных времен. Мальчик сел на прохладный камень и стал тихо, затаив дыхание, наблюдать медленные движения зверьков.

Он чувствовал себя обладателем клада, доверенного ему природой. Он вошел в чужой город, жители которого были взволнованы его присутствием. Ему хотелось успокоить их, заверить в своем дружелюбии.

«Ах вы, мышки,— думал он,— не бойтесь, я только посмотрю на вас, на настоящих.— И он вспомнил картинку в толстой книжке Брема: летучие мыши висят вниз головой с ощеренными мордочками и закругленными ушами.— Как интересно увидеть вас в самом деле. Я буду сидеть тихо. Делайте что хотите, я вам не помешаю».

Мальчик не заметил, сколько времени прошло, только глаз, заглядывающий в пещеру, потускнел, и он понял, что солнце передвинулось. «Ой, я, наверное, опоздал к обеду!» — испугался он и на цыпочках вышел на тропинку, а потом бегом пустился домой. Трава доходила ему до пояса, и он бежал по ней, как по воде, прыгая и выбрасывая ноги от колен в стороны.

Мать уже накрыла на стол и стояла на кухне у плиты. На сковородке что-то шипело.

— Мама! — сразу закричал мальчик. — Мама, ты не знаешь, где мой фонарик?

— Нет,— ответила мать,— где ты пропадал?

— Я потом расскажу. Я сделал открытие.

— Да ну! — сказала она и перевернула что-то на сковородке.

— Где мой фонарик?

— Разве ты не знаешь закона: если вещи не кладешь на место, они прячутся.

— Нашел! — закричал мальчик. — Я бегу!

— Куда? — крикнула мать. — Расскажи про свое открытие.

Она взяла мальчика за руку и потянула к столу. Он упирался и кричал:

— Мама! Мне некогда! Будет темно, я не найду дорогу.

— Куда ты собираешься бежать?

Мальчик, продолжая упираться, смотрел в лицо матери глазами, полными счастливой тайны.

— В овраг! — заорал он. — Там ежи! Там пещера! Там мыши! Летучие!

— Постой,— перебила мать,— это овраг, в котором полозы?

— Нет там никаких полозов!

— В этот овраг никто не ходит. Там полозы, огромные змеи!

— Я знаю, мама, полоз — это род змей, семейство ужей... Нет там никаких полозов. Там летучие мыши!

— А почему мы так кричим? — спросила мать.

Тут мальчик осекся, и они с матерью несколько секунд молча смотрели друг на друга, потом рассмеялись.

— Сынок, пойдешь завтра,— посоветовала мать,— пока пообедаешь, пока дойдешь, начнет темнеть. Зачем идти в темный овраг? Пойдешь завтра, и я с тобой, мне тоже интересно.

— Ладно,— согласился мальчик,— пойдем завтра.

На следующий день мальчик встал рано и, не дожидаясь матери, помчался в овраг. Несмотря на то, что солнце еще сидело за холмом и только желто-



ватым гребнем света украшало его вершину, уже было жарко. Теплая пыль дороги щекотала босые пальцы, легкими облачками облетала ноги.

Уже сворачивая на луг, мальчик заметил нескольких ребят из туристского лагеря. Они шли купаться, размахивая полотенцами. Это были удалые, крепкие девятиклассники. Мальчик не раз бегал к их палаткам, сидел у костров и пользовался их снисходительным покровительством. Они жили здесь целый месяц и завтра уезжали.

— Эй,— крикнул мальчик,— ребята!

Они остановились.

— Ребята, пойдите со мной, что я вам покажу! Очень интересное!

Его захлестывала горделивая щедрость первооткрывателя.

— Что там у тебя? Куда идти?

— Там пещера! — ответил мальчик, встречаясь глазами с каждым по очереди.

Ребята обступили его, все еще не веря, что этот мальчишка может показать им что-то, из-за чего стоит отказаться от утреннего купания.

— Какая пещера? — спросил паренек в красной майке, похожий на вчерашнего ежа: над острым носом его торчала жесткая коричневая челка.

— Ну, пещера,— ответил мальчик,— такая интересная пещера, и в ней летучие мыши.

— Да ну, пошли купаться! — крикнул самый тощий

из всех, в трусах до колен, как у хоккеиста. Он крутанулся в пыли на пятке и добавил: — Мышей мы не видали, что ли?

— А что они, прямо так по земле и бегают? — усмехнулся высокий красивый парень, откусывая яблоко. — Ну и что, ну мыши, ну так что?

— Да нет, они не бегают по земле, они висят.

— Как висят? — удивился высокий и перестал грызть яблоко. — А ну пошли, посмотрим, что за летучие. — Он привык быть главным и принимать решения.

Мальчик доверчиво посмотрел на него: высокий почти месяц терпеливо учил его плавать, бережно поддерживал на глубокой воде, пока однажды не выпустил из рук, и мальчик, испуганно таращась и задыхаясь, сам доплыл до места, где большим пальцем ноги уже можно было достать дно. В благодарность за свое новое умение мальчик больше всего хотел доставить удовольствие этому высокому.

— Да, да, пошли, — сказал он и повел их знакомой дорогой, а они, переговариваясь и смеясь, шумно шли за ним.

Внезапно какая-то тревога остановила мальчика, и он сказал своим спутникам:

— Ребята, только там нельзя шуметь. Это целый город, их там очень много, они не любят шума, они очень пугливые. Надо тихо-тихо постоять и уйти. Ладно? Я недавно прочел в журнале, что они очень древние, как птеродактили, только маленькие.

— А мы их увидим? — спросил парень с ежовой челкой.

— Конечно, — ответил мальчик. — Там темно, а у меня есть фонарик. — Он зажег его, но на ярком солнце свет фонарика вовсе не был виден, и все засмеялись. Когда надо было спускаться по склону оврага на тропу, ведущую к пещере, он опять предупредил: — Только, пожалуйста, тихо-тихо. Будем заходить по одному и тихонько выходить, ладно, ребята?

— Ладно, договорились, — сказал высокий и выплюнул яблочную косточку.

Мальчик опять тревожно подумал: «Зачем я их веду?»

Тропа была узкая, и по ней шли гуськом. Вот он, вход в пещеру, знакомый прохладный ветерок.

— Глядите-ка, и правда пещера, — крикнул худенький в хоккейных трусах, и сразу все, толкаясь и спеша, ввалились в ее широкий вход и стали озиаться в темноте.

— Куда вы? Куда вы? — испуганно вскрикнул мальчик и попытался остановить их, загоразивая дорогу растопыренными руками. Но они отталкивали его, ощупывали стены и вглядывались, ничего не видя.

— Вы же обещали, — тщетно взывал мальчик, — мы же их испугаем.

— Чего ты пристал! — отбивался высокий. — Ну испугаем. Кого испугаем-то?

— Летучих мышей. Ребята, не надо! Выйдите отсюда.

— Видали? Мышей испугаем! А где они тут? Давай фонарь.

— Не дам, — твердо сказал мальчик. — Не дам, пока вы все не выйдете и будете заходить по одному. Вы обещали!

— Вот еще! Сам привел, расхвастался, а теперь «не дам». Давай фонарь, слышишь! — сердито потребовал высокий и швырнул в темноту огрызок яблока.

— Ой! — вскрикнул кто-то из ребят. — Она пролетела!

— Кто?

— Мышь, наверное, они тут шебуршат, слышите?

Кто-то опять шарахнулся, отмахиваясь от невидимого прикосновения.

Все выскочили из пещеры, и похожий на ежа предложил:

— Ребята, спички есть? Давайте костерок разложим.

— Что вы! — ужасаясь, закричал мальчик. — Нельзя костер, нельзя! Они задохнутся!

— Не задохнутся, вылетят, а мы на них посмотрим, — спокойно ответил высокий.

— Они днем спят, они только ночью летают. Вы же знаете. Вот фонарик, посмотрите с фонариком.

— Не давал, когда просили, теперь не надо нам твоего фонарика.

Как только загорелся хворост и запахло дымом, послышался панический шепот крыльев, странные звуки, похожие на скрип дверных петель. Летучие мыши, косо планируя, потянулись из пещеры, как серое облако, и замесались на ярком свете. Ребята сначала замерли при виде этого неожиданного, почти сказочного зрелища. Потом, охваченные странным возбуждением, подпрыгивая и выкрикивая нечленораздельные возгласы, они стали майками и полотенцами подгонять отставших, сбивать их с потолка и стен пещеры. Летучие мыши шлепались на землю и ползли, широко распластав дрожащие, мягкие кожаные крылья. Мальчик, рыдая, хватал за руки распоясавшихся ребят. Но они уже не могли остановиться и отшвыривали его. Он ударялся спиной о холодную стену, снова насккивал то на одного, то на другого, пытаясь вырвать из их рук полотенца, бормоча сквозь слезы:

— Перестаньте, что вы делаете! Нельзя! Они живые! Им больно! Они полезные!

Наконец кто-то из ребят вспомнил, что скоро завтрак и надо успеть выкупаться. Усталые, потные, они выбежали на тропу и опять гуськом пошли по ней обратно.

— Совсем с ума сошел, — сказал высокий, вытирая сгибом локтя лицо, — на людей бросается.

...Мальчик остался один. Он стоял, повернувшись к стене, закрыв лицо руками, чувствуя себя предателем. Вскликая, он погасил костер, разбросал сучья вниз по склону оврага. Сквозняк быстро выветривал запахи дыма. Из угла выполз, хромая на полураскрытых, неловко подвернутых крыльях, маленький летучий мышонок. Мальчик снял тюбетейку, положил в нее трепещущего зверька и опрометью побегал домой. Грязный, пропахший дымом, он положил перед матерью тюбетейку, из нее торчали вялые, скомканные крылья.

— Что случилось? — вскрикнула мать. — Что с тобой?

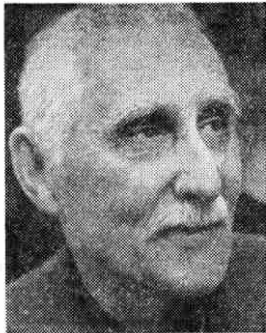
Тогда мальчик, плача, стал виниться в своем проступке.

— Я их привел... я хотел показать... чтобы они тоже посмотрели... Почему я тебя не дождался... Мама, они обещали... они развели костер... они их прогнали... они били их полотенцами... они ползали... они улетели...

И когда мать из бессвязных выкриков сына наконец поняла, что произошло, она, полная доброты и сочувствия, прижала к груди его грязное, заплаканное лицо и сказала:

— Как от тебя дымом пахнет, сынок; прокоптился весь. Пойди умойся, наверное, есть хочешь. Ну, довольно, довольно, ты же мужчина...

Николай Ушаков



ВЕРЛИБРЫ

Свободного стиха примета (она других примет важней) — политика антисонета в распоряжении вещей.

И не брани его за это — среди событий и страстей — не конь-огонь, он — план и смета, не мед, а вертолет скорей.

Распределение каждой доли его и воля, и неволя, и поэтический полет.

Есть у него и недостатки: взмывает он с любой площадки, но, к сожаленью, не поет.

Мои герои

Когда я читаю «сальве»
в парадных прошлого века,
я, дружески улыбаясь,
приподымаю кепку.
— Здравствуйте, здравствуйте,
ступени судьбы,
истертые штиблетами и сапогами,
исшарканные резиновой
и микропористой подошвой!
— Здравствуйте, здравствуйте,
тихие двери,
а за ними тайны,
которых нет,
а за дверями секреты,
разглашенные поэзией.
— Здравствуйте, здравствуйте,
ящики для писем,
полные надежд и предположений:
АДМИРАЛУ ЗЕМЛЕЧЕРПАЛОК¹ —
«Техника молодежи»,
ПАШЕНЬКЕ-МОНАШЕНКЕ, —
конечно, «Кобета»².

¹ Прописным набраны персонажи моих стихотворений.

² «Кобета» («Женщина») — польский журнал мод.

— Здравствуйте, здравствуйте,
на дверях записки —
«Звонок испорчен».
Но работает сердце.
СТОЙКОМУ СОЛДАТУ
стучите в стенку,
моей **ВОСЕМЬДЕСЯТ,**
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ —
в окошко справа.
Что же касается **ДЯДИ ЯШИ**,
ему ни стучать, ни звонить не надо.
Он переехал с Большой Божемойки
на угол Гомера и Автогенной,

сидит на скамье,
где отстой троллейбусов,
увидит вас:
— Заходите, ребята!

Семен Прохорович

1

Он был волшебник
и, как все волшебники,
появился ниоткуда.
Он приходил незаметно,
но, как правило,
в преддверии праздников
и в кануны торжеств.

2

Он был богач,
но, как говорят,
раздарил свои дворцы
уличным мальчишкам,
ключи же от сейфов
затерялись
в бесчисленных карманах
его жилетов и бриджей.

3

Он был артист.
Он был танцор.
Как Айседора Дункан,
он работал босиком,
но не в академическом театре
имени Петипа,
а, надо признаться,
в доме напротив.

4

Он был эпикуреец
и спал на полу,
подложив под голову полено,
но всем дровам
он предпочитал березовые,
как предпочитают
полотняную наволочку
ситцевому напернику.

5

Он был рыцарь,
но герб его благородства
украшали
не лилии и короны,

а кусок воска и суконка.
Он не участвовал в турнирах,
но варил мастику
и натирал паркет.

6

Как все волшебники,
он исчез в никуда.
Он ушел незаметно,
но, если знаете его могилу,
наберите
У-60-38-25,
а эпитафия готова:
«Он был человек».

Шагреновая кожа

1

Судьба обещала мне
тысячу исполненных желаний.
Господи боже, на что
я их только не тратил —
на шарик мороженого,
на перо «фонарик»,
на почтовую марку
острова Борнео!

Однажды я пожелал,
чтоб латинист пропустил урок
и не задал экстемпорале.
И латинист урок пропустил
и экстемпорале не задал.
Исполнилось пятисотое мое желание,
и оставалось ровно пятьсот.

2

А я продолжал их тратить.
Желал я,

чтоб дождь не мешал
нашим прогулкам,
чтоб мой ангел
не промочил копытец,
чтоб валерьянка
была в аптеке.

Однажды я пожелал
поспеть на поезд,
а поезд отходил
через полчаса.

Зубная щетка... есть.
Ночные туфли... обойдусь без них.
— Такси... такси!!
Я не опоздал.

3

Я стал осмотнительней,
стал осторожней.
Я желал

голубю
не попасть под колесо,
старика —
выписаться из больницы,
солдату —
вернуться с войны.

Но люди умирали от белокровья,
и птицы — от нефти с разбитых танкеров.
Однажды я пожелал не думать
о массированных налетах,
о злокачественных опухолях,
о стихах компьютеров,
но думал, думал:
новое мое желание не исполнилось —
было оно тысяча первым.

Константин Ваншенкин



Болгарский дождь

Я возвращался от друзей
По Сѣфии или Софий.
Днем вовсе не было дождей—
Тогда стояли дни сухие.
Но к ночи все менялось вдруг:
Деревья грозно шелестели,
Дождь поднимал свой плеск и стук.
Но я-то был уже в отеле.
Я дверь балкона открывал
И, резкой сыростью пронизан,
Смотрел на блещущий обвал
Воды, гремящей по карнизам.
Потом клонило в сон слегка.
Ложился и читал сначала.
Глаза слипались, и рука
Свет машинально выключала.
...Жизнь у дождя была своя —
То бился, то смолкал устало.
Лишь, с крыши падая, струя
По-прежнему не затихала.
Но хоть была и не слаба,—
Еще могущественней сила
Небрежно, будто прядь со лба,
Ее в сторонку относил.
Я чутко спал под шум дождя,
Под этот мерный пир природы,
Вновь день минувший проходя
И даже прожитые годы.
А дождь струился по листве,
Звенел по цинку, бил по доскам.
Я смутно думал о Москве,
О молодости, о Твардовском...

В Красной Пахре

И сразу же, в дверях,
Меня пронзила жалость,—
Пропал мой долгий страх.
И только сердце сжалось.
Он, словно между дел,
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.
Ушла за дальний круг
Медлительная властность,

И проступила вдруг
Беспомощная ясность
Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.
Он подождал, потом
[Верней, слова, ложитесь!]
Негромко и с трудом
Промолвил: — Покажитесь...
Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.
И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.
У многих на виду,
Что тоже приезжали,
Он нес свою беду
И прочие печали.
Какой ужасный год,
Безжалостное лето,
Коль близится уход
Великого поэта.
...Как странно все теперь.
В снегу поля пустые...
Поверь, таких потерь
Немного у России.



А что там! У дочери гости.
Как в прежние, школьные дни,
В ликующем многоголосье
Заходятся разом они.
Девический возглас за дверью.
Девический смех ему в лад.
И топот... И полный доверья
Бессмысленно-радостный взгляд.

Пушкинские Горы

Но кто мы в этой жизни краткой,
Июньским утром, налегке,
Стоящие перед оградкой,
Спускающиеся к реке!
Бывали в жизни и удачи,
Но что мы значим рядом с ним!
Беда — в похожести задачи,
В том, что один кристалл гранит.
Так я раздумывал, покамест
Не вышли мы на мягкий пуг,
Где, как во сне, беззвучный аист
Над нами сделал плавный круг.
Михайловские эти дали,
Вдруг увлажняющие глаз...
Но ведь друзья ему читали,
Он восхищался, и не раз.
И задал я в секунду ту же
Работу строгому уму:
Искать стихи мои — не хуже
Иных, что нравились ему.
Уже автобус плыл полого,
Лучом просвеченный насквозь.
И у меня не слишком много,
Но кое-что понабралось.
Все были заняты делами.
Тянуло сыростью лесной,

Вода мерцала за стволами,
Светилось небо за листвою,
А над заборами селений
Был бескорыстно вознесен
Дух возродившейся сирени,
Ее лиловых веретен.

Расставанье

Стал я бывшего бодрей,
Только немного неловко.
Что вместо круглых кудрей —
Голая стрижка-нулевка.

Ну, а подруга моя,
Враз оторвавшись от дела,
Как за леса и моря —
Так отрешенно глядела.

Будто в несбыточном сне,
Где все подробности любви,
Вдруг потянулась ко мне,
Дудочкой выпятив губы.

Купание с лодки

В каком это было году! —
Не числится в сводке.
У нас на пруду
Любили купание с лодки.

Встал сильный, прямой.
Так резко пошло твоё тело,
Что лодка кормой,
Едва ли не ахнув, присела.

А сам ты уже в глубине,
Со светом в разлуке.
Таинственны камни на дне.
Водой увеличены руки.

И тут же опять —
Наружу, под солнце, — как мячик.
И враз не понять:
А что там, поодаль, маячит.

То лодка бочком
Дрейфует — куда ей деваться! —
Твоим же толчком
Отброшена метров на двадцать.

От пестрых огней
Успевший отвыкнуть во мраке,
Ты движешься к ней,
Бросая ленивые взмахи...

Катались вблизи камыша.
А кто понахальней,
Еще проплывал не спеша
Пред женской купальной.

Слепящая больно вода.
Неистовство света.
В крови навсегда,
Должно быть, останется это.

Но мы не вольны
Ни зрелость увидеть, ни старость.
И что до войны
Безжалостно мало осталось.

признание в любви



Письмо, которое вы сейчас прочтете, справедливее было бы назвать письмом мая.

Оно о любви. О любви первой, которая по давней традиции связывается с весной.

Однако подумав, мы решили напечатать это письмо в феврале, ибо весна чувства все-таки не считается с календарем, и в холодную февральскую пору может вспыхнуть самая горячая и самоотверженная любовь.

Вас, конечно, не смутит предмет нашего сегодняшнего разговора. Он не нов, да. Но неисчерпаем

и вечен; всегда полон новизны и прелести. И остроты, и переживаний, и конфликтов...

Взволнует, очевидно, другое, — как так, об интимнейшем, о сокровенной тайне двух людей — и во весь голос! Можно ли?

Но разве сдержишь переполняющее тебя чувство?

Разве справиться с желанием рассказать всему миру о радости первой любви или об огорчительном непонимании, ранящей неразделенности?

И особенно тогда, когда тебе семнадцать лет, когда идеальные представления только-только начинают проверяться жизнью, а понимание, что чувства не безотчетны, еще не пришло...

Вы увидите, что автора письма постигло первое разочарование.

Можно было ответить Вале и постараться успокоить ее, — она наверняка переживет еще немало счастливых минут.

Но мы выносим исповедь девушки на обсуждение и совет.

И вот почему. Тысячи и тысячи сверстников Вали любят или стоят на пороге любви.

А все ли задумываются над тем, что любовь — это непременно обязанности, что она не терпит эгоизма?

Что этим чувством надо уметь дорожить, что за него надо бороться?

Что нельзя просто любить?

В обыденной жизни это высокое чувство порой проявляется в самых прозаических вещах, и подвиг во имя любви

может заключаться в добром слове, незаметном поступке, в самой атмосфере добра и дружбы, которые создает любящий человек.

Многое еще стоит за признанием в любви.

И мы хотим, чтобы ровесники Вали и люди взрослые, умудренные опытом, поделились наблюдениями и размышлениями о трудном подвиге любви.

Здравствуй, «Юность»!

Пишу я тебе первый раз в жизни и очень-очень волнуюсь, а все же решила обратиться к тебе с просьбой. Слушай!

Дружила я с Сашей восемь лет. Родились мы с ним в один и тот же год, в одной и той же деревне. Детство наше прошло вместе, вместе пошли в первый класс, вместе сидели за одной партой пять лет. Всегда прийдя из школы, вместе делали уроки. Мы были, как одно целое.

Дружила я с Сашей восемь лет. Родились мы с ним в один и тот же год, в одной и той же деревне. Детство наше прошло вместе, вместе пошли в первый класс, вместе сидели за одной партой пять лет. Всегда, прийдя из школы, вместе делали уроки. Мы были как одно целое. Но в шестом классе Саша как бы начал стесняться нашей дружбы, но все же после школы приходил домой ко мне, и мы снова делали уроки вместе. Но в восьмом классе я уже поняла, что Сашу я полюбила и что Саша в жизни для меня — все.

А вот после восьмого класса я пошла учиться в одну школу, а Саша — в другую и все реже и реже стал приходить ко мне, и отношение его ко мне сдвинулось в плохую сторону.

А сейчас я и Саша уже учимся в десятом классе, а от нашей дружбы осталась лишь моя любовь к нему. Конечно, в детстве я могла бы думать, что это не любовь, а всего лишь привязанность, но ведь мне уже семнадцать лет, и я отлично понимаю, что это любовь.

Но моя беда в том, что Саша не хочет отвечать на мою любовь даже дружбой. А мои все подружки дружат с парнями. Конечно, предлагали и мне дружбу мальчишки, но никто не может заменить мне Сашу. Так вот я и боюсь, что никогда не смогу полюбить. А ведь, чтобы создать в будущем свою семью, надо полюбить человека, а я, наверное, не смогу уже больше полюбить. Ведь я очень-очень люблю Сашу.

Вот я и обращаюсь к тебе, «Юность», посоветуй, как быть.

До свидания.

С уважением к тебе

Валя Ф.



ТЕЙМУРАЗ МАМАЛАДЗЕ «СЧАСТЛИВЫ люди, у которых такая песня»

Была в моем детстве речка Губазоули, зеленая и тихая у пологих берегов, белая и шумящая на перекатах. Мы привыкли к ней и никогда не думали о том, что без нее наша жизнь могла быть совсем не такой, какой была. Прошли годы, мы выросли, научились жить по точно заведенному распорядку, в котором не было уже места плеску зеленых волн, и вдруг мы читаем у Нодара Думбадзе: «Через Губазоули перекинут мостик. Каждой весной взбушевавшаяся река уносит его, оставляя только торчащие из воды черные сваи...»

Была в моем детстве песня. По вечерам приходил ко мне сколькотоюродный брат Романиа, усаживался на траву и, откинув голову назад, резким фальцетом выпевал: «О-до-йи-а!» Несколько раз повторял фразу, закрыв глаза, словно вслушивался в себя, заклиная, вскидывая руку с двуперстием: «Второй голос, второй!» — и, угадав по нашим лицам, что вот сейчас мы последуем за ним, взывался голосом на недостижимую высоту. А потом снова нас окружала тишина, и снова слышна была Губазоули. Мы привыкли к нашим песням и никогда не думали о том, что без них наша жизнь могла быть совсем не такой, какой была. Прошли годы. Мы выросли. Романиа где-то служил, и уж, конечно, мы никогда больше не собирались на домашние спевки.

Но вот однажды я приехал в очень старый город Мцхета, забрел в собор Свети-Цховели и услышал восьмисотлетний хорал «Ты — лоза»... Высокие голоса тонкими лозами обвивали могучую боровую ветвь. Многострунное течение полифонии охватывало все вокруг — мерцающие краски фресок и просветленные лица людей, нескончаемый поток машин на Военно-Грузинской дороге и авиатрассы над черепичными кровлями Мцхета...

В соборе Свети-Цховели пела «Гордела». Что я знал тогда об этих парнях? Студенты Тбилисской консерватории, занявшиеся поиском, реставрацией и исполнением древних грузинских песен и песнопений. Применившие для записи их полузабытые народные нотные знаки — «невмы». Назвавшие свой ансамбль именем старинной гурийской песни «Гордела», напетой дедом их однокурсника, известным народным певцом. Для многих то была просто сенсация: в концертном зале спета песня «Батонебо», родившаяся в дохристианские времена, — ее пели над постелью ребенка, больного корью или краснухой. Записаны неизвестные варианты «Хасанбегура» и «Мравалжамьер».

Нозль Гринберг, руководитель ансамбля «Про мусика», показал их Стравинскому, а тот пришел в восторг и опубликовал статью об удивительной полифонической фактуре грузинских народных песен. «Гордела» съездила в Софию и привезла медали лауреатов Международного фестиваля молодежи и сту-

дентов. Словом, этот ансамбль казался выдающимся, под стать многим событиям конца пятидесятих — начала шестидесятых годов, выдающимся, но локальным явлением. И никто не мог подумать тогда, что «Гордела» — исток, что начатое студентами освоение многовековых музыкальных традиций приведет и к пробуждению подлинно всенародного интереса к мелосу, что древнее певческое искусство станет составной частью социалистической культуры, явлением, неотделимым от народного самосознания.

— Никогда еще, по крайней мере в этом столетии, хоровое пение не переживало такого расцвета и подъема, как сейчас, — говорил в интервью известный грузинский композитор Отар Тактакишвили.

В субтропическом Махарадзе и в высокогорной столице Сванетии Местиа открыты певческие школы, где детей обучают старинному ладу и канонам народного многоголосия. Многочисленные септеты «Швидкаца» успешно конкурируют с электрогитарными ансамблями. Недавно в Москве исполнялся вокально-симфонический цикл «Гурийские песни» — блестящая современная интерпретация народной полифонии. Во французском городе Конфолане, где проходил Международный фестиваль песенного и танцевального фольклора, автобус с ансамблем «Рустави» не смог подъехать к концертному залу: запрудившая подъезды толпа скандировала: «Шан-сон! Шан-сон!». И ребятам пришлось песней прокладывать себе дорогу...

Где начиналась «Гордела»? Я хочу пригласить вас в село Макванети...

Обычное гурийское село. Зеленые, опоясанные террасами холмы. Крытые дранкой, черепицей, шифером дома — «ода» на сваях. Просторные дворы и дорожки к широкому маршам лестниц. Поля, на которых высокой стеной встает кукуруза. Сельская площадь и огромные весы под навесом — начало и конец всех дорог и тропинок к нагорным плантациям. Врытые в землю под раскидистым орехом кувшины, и могучие лозы «изабеллы», подобно лианам обвивающие стволы деревьев... Можно набросать несколько более или менее достоверных эскизов Макванети, но сейчас Макванети возникает в памяти воплощением песенных образов стародавних и близких времен.

Песня — проверка ценности человека.

Приходили в дом сваты. «А чем богат Иеремия?» «Вы знаете, чем. Вы знаете, каков он в песне. Кто лучше него владеет старинным ладом? Никто. Вы знаете, какой у него голос и какие песни он поет».

Человек живет с песней. Значит, он будет добрым отцом и заботливым мужем. Научит детей ценить добро и воздавать за него. Он построит себе красивый дом, возделает щедрое поле. И когда настанет праздник, он сумеет объединить людей в нерасторжимую семью. И когда придет горе, он поддержит вдов и приласкает сирот...

Песня — это труд.

На рассвете люди уходят в лес. Вчера они валили стволы, а сегодня им надо вывезти их из чащобы. Будут строить дом. «Кто первый голос? Ты, Сардион? Начинать!» Сардион накидывает на плечи лямки и, напружинившись, взбадривает себя выкриком: «Элеса-а!» Восемь человек повторяют за ним это слово. Сдвинулось бревно, заскользило по жухлой листве. Восемь голосов выводят «Элеса» — у каждого своя нота, своя линия, словно люди не слушают друг друга, но так только кажется: согласованное движение напряженных мышц выверено сложной гармонией многоголосия. И когда люди из душевной зеленой полумглы выходят навстречу свету и ветру и замолка-

ет хор, никто не говорит: «Хорошо поработали». Если и скажет, так только: «Хорошо спели «Элеса!»

Так было в старом Макванети. Так и сегодня.

...На заре идем мотыжить кукурузу. На соседних участках нас уже ждут соседи. Все они глядят на Джимшера, взглядами подстегают его: «Ну же, ну!» И вот бодрящим вызовом односельчанам звучит песенный возглас «Гордела», и люди подхватывают его. По всему полю, от края и до края, ходит «Гордела», песня-соревнование, песня-импровизация...

Как и в моем селе, как и во многих других селах Грузии, в Макванети все многообразие жизни — рождение человека, работа в поле, постройка дома, подготовка к охоте, свадьбы, праздники урожая — сопровождается песней. В Макванети вот уже несколько веков творит песню певческий род Эркоманшвили.

Артема Эркоманшвили слушали Максим Горький и Ромен Роллан. «Счастлива страна, где живут такие люди, счастливы люди, у которых такая песня», — сказал французский писатель.

Внук Артема — Анзор создал «Горделу».

Человек нашел золотую жилу. «Повезло», — сказали о нем. Быть может, и впрямь это так, только вот какое правило вывела жизнь: «везет» незаурядным людям. Анзору «повезло»: рядом с ним жил наделенный необыкновенным даром человек, чья изумительная память хранила текст и мелодии двух тысяч песнопений, никогда и никем не записанных. Но почему «повезло» именно Анзору, почему именно он, а не кто другой сумел выразить неосознанную тягу многих и многих людей к творческому наследию народа?

Вряд ли здесь дело только в возможностях творческой личности. Повсеместный интерес к древнему зодчеству, изобразительному и прикладному искусству, песенному фольклору, к бесценным, покрытым паутиной вещам, закономерность, как это ни парадоксально звучит, predetermined научнотехническими достижениями века. Такую мысль высказал Отар Тактакишвили:

— Техника, немыслимое еще полвека назад развитие средств массовых коммуникаций разрушат, стены регионального отчуждения. Самоизоляция национальных культур губительна для них. Общение, в которое неизбежно вступают сегодня духовные ценности, становится фактором взаимообогащения национальных культур. Когда в твоём доме начинают звучать голоса всего мира, у тебя возникает желание ответить им своим неповторимым голосом. Хватит у тебя на это сил — и творческие достижения твоего народа станут достоянием общечеловеческой культуры. Сил хватит, если ты наделен мужественным талантом. Талантом молодым, дерзким, раскованным. Талантом, побуждающим к творческому соревнованию. Последнее чрезвычайно важно.

Анзор мне рассказывал:

— Когда я окончил школу, Артем сказал мне: «Триста лет наш род песне служит, а никто из нас нотной грамоты не знает...» Я поступил в консерваторию. То было время, когда нас буквально затопила информация о поисках в области новых музыкальных форм и средств. Представьте себе деревенского паренька, впервые спавшего в большой город. Он жадно вбирает в себя неведомую новь, слушает музыку, слушает восторженные разговоры об удивительной структуре сверхсовременных произведений и незаметно для самого себя сравнивает их с тем, что знает с детства. Постепенно в нём зреет протест: да, все это чрезвычайно интересно, но почему никто не подумает о том, как мы богаты и как расточительны! Я начинал понимать, что такое искусство Артема. Я страстно желал ему долгой жизни, но он угасал. Неужели конец вечной песне? Я был убежден: это искусство современно и оно необходимо нам...

Анзору всегда пелось, как дышалось. А тут он вдруг задумался над тем, как формируется этот невыразимо высокий, «тоньше тонкого», как говорят народные певцы, голос, и как это одному человеку удается так свободно распоряжаться голосовыми регистрами... Начал записывать названия песен, вспоминал, как исполнялись они разными певцами. В первый день первых каникул попросил Артема написать что-нибудь. Записал мелодию обычными нотными знаками, проиграл на фортепьяно и не узнал ее: современная нотопись не совпала со звуками, звучащими в голосе Артема намного выше полутонов. И снова на помощь пришел Артем: «Попробуем применить «невмы». Обычно этими знаками народные певцы пользовались для того, чтобы облегчить новичкам разучивание незнакомой голосовой партии, способствовать быстрому вхождению в ансамбль. На этот раз «невмы» понадобятся для прямой записи. Анзор взял камертон, нашел нужную тональность, пометил начальную строку, а Артем, внутренне следуя за мелодией, пел кадансы, и Анзор записывал их... Они были несказанно счастливы, когда увидели, что новая запись сохраняет все голосовые оттенки, полутона, колорит песни.

Потом Артем сказал ему: «Я тебе такое спою...» И Анзор услышал хоралы. Он вспомнил соборные фрески, вспомнил мастеров, они «людей богами рисовали и в людях видели богов».

Он вернулся в Тбилиси, показал записи своим учителям, сокурсникам, руководителям Союза композиторов, и они сказали: «Это должны услышать все». И тогда он впервые подумал об ансамбле, который объединит искателей и исполнителей Великой Народной песни. Рядом были товарищи — одни пришли в консерваторию с берегов Губазоули и Натанеби, другие росли в Тбилиси, но всем им одинаково дорога и понятна была его мечта.

— Я мечтал о коллективе единомышленников, — говорит Анзор, — которому по силам будет и глубокая исследовательская работа и высокое исполнительство. Я замыслил издание книг и нот. Хотел, чтобы как можно больше людей узнали о том, что они владеют неисчислимыми богатствами. Ансамбль «Гордела» осуществил эти замыслы. Теперь такую работу мы делаем в «Рустави». Считаю очень важным для себя и для моих товарищей то, что этот ансамбль родился именно в Рустави, городе очень современном и очень молодом. И Артем...

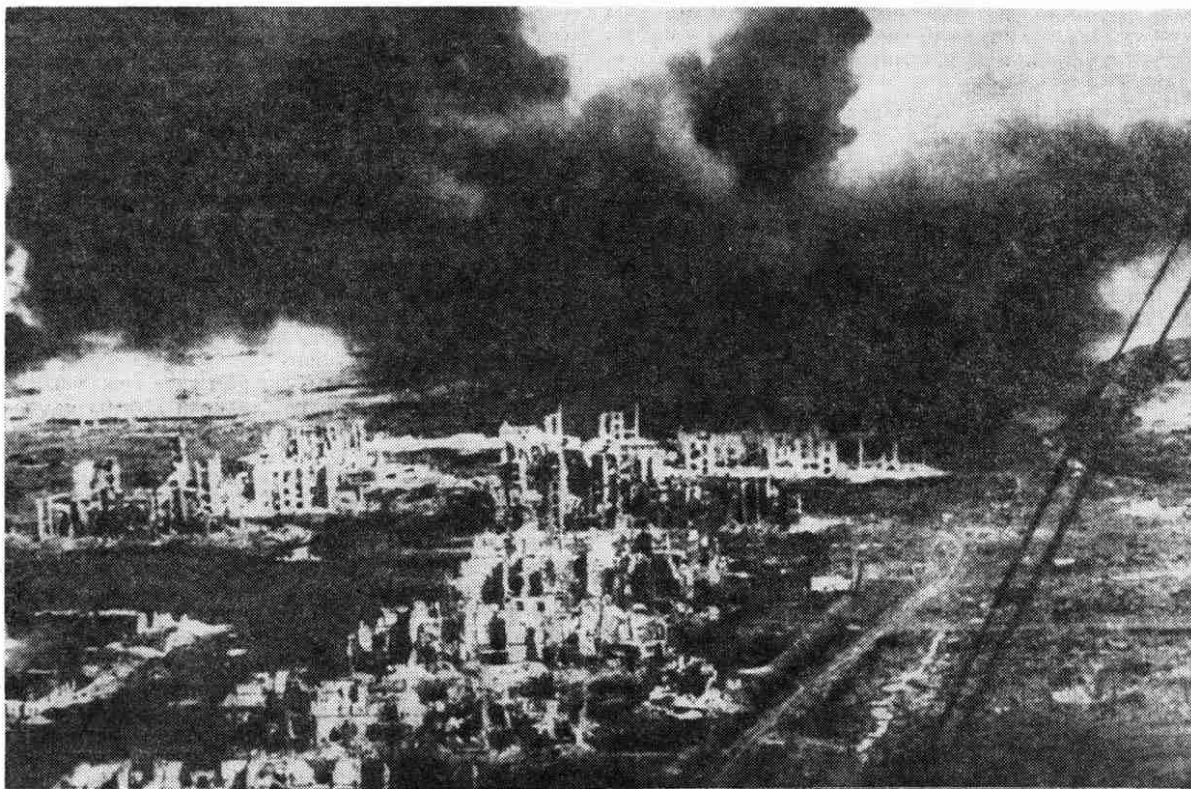
Анзор обрывает себя на полуслове. Долго молчит, листает рукопись своей последней книги, перебирает кассеты с магнитофонной лентой.

— После консерватории я пошел служить в армию, получал от Артема письма: «Как много нам еще надо записать!» И вдруг мамина телеграмма: «Дедушка скончался... Я подумал: все кончено! Но вот почитайте!...

Я читаю письма, адресованные руководителю ансамбля «Рустави» Анзору Эркоманшвили. Письма из Кахетии и Мингрелии, Верхней Рачи и Гурии, Сванетии и Карталинии... «Мы живем в селе Хашми, очень старые люди. Приезжай к нам, пока мы живы. Мы тебе такую «мравалжамьер» споем, какую ты никогда не слышал».

— Поехали. Записали. Изумительная вещь. И впрямь неизвестный вариант. Хотите послушать?

Он включает магнитофон. Какие-то неясные шорохи, звяканье утвари, шепот, смешки, надтреснутый, старческий голос: «Сандро, ты начнешь?» И вдруг тишина, а затем я уже не вижу Анзора — конкретный человеческий образ размыт поющими волнами, нахлынувшими на нас.



Л. ЛАЗАРЕВ

ТАМ, ГДЕ ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ...

(Над страницами «Дней и ночей» К. Симонова)



В памяти поколений великие события народной жизни — войны, восстания, революции — неотделимы от имен их героев, их главных действующих лиц. Мы говорим о Крымской войне прошлого века, и память тотчас же подсказывает нам имена Нахимова и Корнилова, матроса Кошки и Даши Севастопольской. И еще одно имя — молодого подпоручика-артиллериста, сражавшегося на знаменитом 4-м бастионе. Нет, он не совершил выдающихся подвигов, хотя не раз смотрел смерти в глаза и воевал храбро. И все-таки его имя навеки связано с героической обороной Севастополя: это был автор замечательных очерков, в которых запечатлены доблесть и трагедия защитников города, дана незабываемая панорама «Севастополя днем и ночью» (так первоначально назвал Толстой один из своих очерков).

И другая война, оставившая куда более глубокий след в истории нашего Отечества, тоже навеки свя-

зана с именем Толстого. Он в ней не участвовал, его и на свете еще не было в тот памятный России 1812 год, но «с Сапун-горы, откуда смотрел Толстой на горящий Севастополь, увидел он горящую Москву» (В. Шкловский) и написал об Отечественной войне...

Александр Твардовский говорил о том, что литература призвана подтверждать и закреплять действительность, достоверность великих свершений своего времени, что это ее органическая и очень важная функция, что «всякая действительность нуждается в таком подтверждении и закреплении и до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна и не может с полной силой воздействовать на сознание людей». И в качестве примера называл «Войну и мир» Толсто-

Сталинград, 1942 год.

Фото Г. ЗЕЛЬМА

го, подчеркивая при этом: «Разве война и победа русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального патриотического самосознания русских людей, если бы они знали о ней только по учебникам истории и даже многотомным ученым трудам?»

Другим примером Твардовскому послужила литература, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941—1945 годов. «Он подтвержден и закреплён в нашем сознании,— говорил поэт,— в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого слова». Образ этой войны, который сегодня живет в памяти каждого нашего человека, сформирован под непосредственным воздействием литературы, и многие книги, передающие величие того сурового времени, стали для нас как бы частью самой войны. Среди них и книги Константина Симонова.

Три десятилетия отделяют нас от Сталинградской битвы. Они запечатлены во многих произведениях литературы и искусства. И в эти юбилейные дни хочется вспомнить о книге, которая была первым художественным произведением о Сталинграде, книге, написанной по горячим еще следам боев,— повести Симонова «Дни и ночи». Многие из того, что мы сейчас знаем об этом сражении, впервые было рассказано в ней...

Один из присланных Симоновым из Сталинграда очерков начинался с совершенно несвойственной писателю многозначительностью и патетикой: «Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспыхки ракет и зарево пожаров, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбежки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое громыхание перегоревшего кровельного железа» («Дни и ночи»).

Симонов, попавший в Сталинград в качестве фронтового корреспондента «Красной звезды» в начале сентября 1942 года, уже хорошо знал, что такое эта война: в июле 41-го он был в Белоруссии в частях, которые прорывались из кровавой сумятицы окружения, ходил в атаку вместе с пехотинцами на Арабатской стрелке, за Полярным кругом высаживался в тыл врага с морскими разведчиками. Но, очевидно, то, что он увидел в Сталинграде, не шло в сравнение с его прежними фронтовыми впечатлениями. Увиденное в Сталинграде потрясло, и патетическая нота, прозвучавшая в очерке Симонова,— свидетельство этого потрясения...

После бед и несчастий летней кампании 42-го года страна с особой тревогой и надеждой следила за сражением в Сталинграде. Всем было ясно, сколь велико значение этой битвы и что зависит от ее исхода. В эти дни огромного напряжения Илья Эренбург писал: «Выстоять можно. Выстоять необходимо. Немцы хотят удушить нас, захватив Волгу. Волга в наших руках — артерия жизни. Волга в руках немцев станет веревкой на шее Родины» («Ненависть и презрение»). И оттого, что эту высокую ответственность осознавали защитники Сталинграда, и оттого, что немцы понимали, что поставлено на карту в этой схватке, и те и другие сражались с яростью и ожесточением, неведомыми прежде, поистине беспредельными.

История человечества не знала сражения более упорного, жестокого и кровопролитного.

История человечества не знала сражения такого масштаба.

Многим то, что произошло в Сталинграде, казалось чудом.

Фашисты не сомневались в победе. Выступая с речью в октябре 1942 года, Гитлер заверял немецкий народ: «Немецкий солдат остается там, где ступит его нога... Вы можете быть спокойны: никто не заставит нас уйти из Сталинграда». Битва завершилась так, как гитлеровцы не могли себе представить даже в самых мрачных снах: окружением, полным разгромом и пленением немецких войск, осаждавших Сталинград и так и не сумевших сломить его защитников. После этого поражения гитлеровская Германия уже не смогла оправиться. Это было начало конца. Это подтверждают уцелевшие гитлеровские генералы. «...Летняя кампания 1942 года,— пишет Гудериан,— закончилась для немецкой армии тяжелым поражением. С этого времени немецкие войска на Востоке навсегда перестали наступать». И хотя от Сталинграда до Берлина надо было еще пройти по фронтовым дорогам много сотен километров, хотя впереди еще было два с лишним года тяжелой, кровопролитной войны, солнце великой победы над фашизмом возшло именно в дни Сталинградской битвы...

Нет, то, что произошло, не было чудом. В Сталинграде, где дрались за каждую улицу, за каждый дом, за каждую развалину, скрестились не только военная и экономическая мощь двух держав, но и характеры народов, их воля, дух, мысль, их цели. Столкнулись идеи, во имя которых эти народы шли в бой. Один стремился завоевать мировое господство, сделать рабами жителей захваченных стран. Другой защищал свою и чужую свободу, сражался против рабства, варварства, бесчеловечности.

В дневнике А. С. Чуянова, который был первым секретарем Сталинградского обкома партии и членом Военного совета Сталинградского фронта, записан разговор, услышанный на левом берегу Волги в один из самых тяжелых для защитников города дней — это было 16 сентября: раненого бойца окружили красноармейцы из пополнения, ожидающие переправы:

«— Что там в городе делается?

— Да сам черт не разберет. Видишь,— показал раненый здоровой рукой в сторону Волги,— весь город горит...

— И чему же там гореть так долго? — удивились бойцы.

— Все горит: дома, заводы, земля, металл плавится...

— А люди?

— А люди? Стоят! Стоят, бьются!..»

Этим людям, которые стояли там, где горела земля и плавился металл, и посвящена повесть «Дни и ночи». Они были главным «секретом» нашей победы...

Симонов, как я уже говорил, был потрясен увиденным в Сталинграде. И когда он решил писать о Сталинградской битве — по первоначальному замыслу это должна была быть поэма. Не только потому, что поэзию в ту пору Симонов считал своим главным призванием. Ему казалось — и это было естественно, — что такого рода события следует воспеть, что здесь необходима монументальность эпоса. Элементарная логика толкала к поэме. Но, как известно, элементарная логика в искусстве — плохой советчик. Сталинград меньше всего нуждался в велеречивом воспевании. То, что увидел Симонов в Сталинграде, должно было потрясать перенесенное в искусство почти в «первозданном» виде. Объясняя, что оттолкнуло его от поэмы, Симонов писал: «Жизненный материал поставил передо мной задачу рассказать о буднях, о том, что такое будничная подлинная храбрость». Но, выбрав для рассказа об обороне Сталинграда жанр повести, писатель и внутри этого жанра

находит форму, наиболее свободную от условности, близкую дневнику и вбирающую дневник: «Весной 1943 года, воспользовавшись затишьем на фронтах, я стал было восстанавливать по памяти сталинградский дневник (большинство блокнотов Симонова со сталинградскими записями пропало. — А. А.), но вместо этого написал «Дни и ночи» — повесть об обороне Сталинграда. В какой-то мере эта повесть и есть мой сталинградский дневник. Но факты и вымыслы переплелись в нем так тесно, что мне сейчас, много лет спустя, было бы уже трудно отделить одно от другого...»

О чем же эта повесть, в чем ее пафос, на чем сосредоточено внимание автора? Простота этих вопросов обманчива: не случайно на них в критике давались очень уж разные ответы, порой не приближающие, а уводящие нас от истинного смысла книги. Говорили, что это книга о «военном мастерстве», произведение, так сказать, «военно-функциональное». Но тогда непонятно, почему повесть кончается первым днем наступления советских войск против армии Паулюса, ибо именно в этом наступлении и окружении многотысячной армии врага ярче всего проявилось превосходство советского военного искусства над стратегией гитлеровских генералов. Говорили, что «Дни и ночи» — эпопея сталинградской битвы, но какая это эпопея, если в ней изображаются люди одного батальона. Говорили, что повесть «Дни и ночи» — бытописание, что главная задача автора — воссоздание фронтового быта. Но как бы много места ни занимало в повести бытописание, оно не приобретает самоцельного характера, а подчинено более общей и значительной задаче.

Вскоре после войны в беседе со студентами Литературного института имени Горького, рассказывая о том, как в Сталинграде людям приходилось преодолевать «чувство непреходящей опасности и непреходящего напряжения», Симонов заметил: «Я там особенно ясно почувствовал, что быт, человеческая занятость, которая остается в любых условиях боев, играют громадную роль в стойкости человеческой».

«Стойкость...» Вот наконец слово, с которого и должен начинаться анализ повести «Дни и ночи». Сталинградская стойкость...

Коренной перелом в ходе войны, который знаменовала собой сталинградская битва, в сознании Симонова связан прежде всего с могучей силой духа, которая затем сделала само слово «сталинградский» превосходной степенью к понятиям «стойкость», «упорство», «мужество». В предпоследней главе повести писатель словно подводит итог тому, о чем рассказывает в книге, «расшифровывая» содержание слова «сталинградцы»: «То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых разных причин — и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было отступить, и того, что отступить значило тут же бесцельно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех опасность создавала если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали здесь друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте. Все эти, вместе взятые, обстоятельства постепенно создали ту упругую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь грозный смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами».

А. И. Родимцев вспоминает: «...Мы чувствовали, что в конце октября в пединок вступила не только сила огня и металла, но и сила воли, стойкость пер-

вов, жизнеспособность убеждений, взглядов или то, что мы называем идеологией». В. И. Чуйков писал: «Сейчас, когда нас отделяет от этих событий четверть века, вдумываясь, вспоминая, что пришлось пережить, я считаю, что выражу мнение большинства участников сталинградского сражения, если скажу, что не столько оружие, сколько сам советский воин, воодушевленный своим народом, родной партией, понявший, что дальше отступать некуда, был основным фактором успеха всемирно известной ныне Сталинградской обороны». И, придя в Сталинграде к выводу о необходимости «серьезного пересмотра тактики наших подразделений в условиях уличного боя», В. И. Чуйков исходил из того, что наш солдат может действовать самостоятельно в самых сложных условиях — так велика его сознательность и воля к победе: «В уличном бою солдат порой сам себе генерал. Надо дать ему только правильное направление и обложить его, если можно так сказать, генеральским доверием». На это обратил внимание и Василий Гроссман. Среди записей, сделанных им в Сталинграде, есть и такая: «...Гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек — полк, каждый себе штаб, связь, огонь)».

И, если иметь в виду все эти особенности Сталинградской обороны, станет ясно, что пафос повести «Дни и ночи», ее художественная структура, внутренняя динамика определяются одной целью — раскрыть духовный фундамент сталинградской победы.

Если внимательно прочитать начало повести «Дни и ночи», бросится в глаза, что автор в первых двух главах нарушает последовательность повествования. Естественно было бы начать книгу рассказом о том, что делается в Сталинграде, куда предписано отправиться дивизии, в которой служит Сабуров. Но об этом читатель узнает лишь во второй главе. А в первой изображена выгрузка батальона Сабурова из эшелона, прибывшего на станцию Эльтон.

Во второй главе писатель показывает, с каким волнением и тревогой в штабе армии ожидают дивизию Проценко: она должна хоть как-то выправить содавшееся в центре города критическое положение. Но читатель из первой главы уже знает, что дивизия выгрузилась из эшелонов, движется к переправе и будет в Сталинграде своевременно. Симонов отказывается от возможности драматизировать повествование, потому что прежде всего — такова его главная художественная задача — ему необходимо раскрыть то исходное душевное состояние, с которым вступали в бой за Сталинград.

Именно поэтому он и начал повесть описанием выгрузки батальона Сабурова на станции Эльтон. Степь, пыль, белая полоска мертвого соляного озера, захолустная железнодорожная ветка — «все это, вместе взятое, казалось краем света». И это чувство страшного последнего предела, края света, было одним из слагаемых, которые вобрал в себя знаменитый лозунг защитников Сталинграда: «За Волгой для нас земли нет!» И Сабуров, с тоской глядящий на бесконечную, выжженную солнцем степь вокруг Эльтона и слушающий рассказ местной жительницы о том, как после немецких бомбежек горел Сталинград, почувствовал, что здесь можно или победить, или погибнуть — третьего не дано. «А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валук в Россошь, из Россоши в Богучар, и так же плакали женщины, и так же он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрёк, а отчая-

ние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек — ничего... Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить».

И эта решимость умереть, но не отступить уже была первым залогом победы. «Ему было очень тяжело в эту минуту, — говорится о Сабурове, — но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно». А мать героини повести Ани Клименко — та женщина, что рассказывала, как горел Сталинград, — заглядывала еще дальше:

«Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

— Денег-то сколько, трудов сколько!

— Чего трудов? — спросил кто-то, не поняв смысла ее слов.

— Обратно постронть все, — просто сказала женщина».

Весь первый этап боев, который проводит батальон Сабурова, переправившись в Сталинград, атаковав с ходу противника и заняв оборону, связан с тем душевным состоянием, которое возникло у Сабурова в Эльтоне. Не навязчиво, но вполне определенно автор подчеркивает это. В подвале дома, превратившегося в развалины, которые обороняет батальон Сабурова, бойцы обнаруживают женщину с детьми. Она не ушла за Волгу, потому что детям не выдержать этот путь, — ей, как солдатам, защищающим дом, некуда и невозможно уходить. «Снесла сюда все, что было. Может, на месяц, может, на два хватит, а там, может, вы немца отобьете. А если идти — помрут», — говорит спокойно женщина, и в том, что она говорит, звучал не упрек, а отчаяние. И этот разговор лишь укрепил чувство, которое возникло у Сабурова тогда, во время выгрузки из эшелона.

Первый этап боев за Сталинград в повести заканчивается тем, что враг, отрезав дивизию Проценко от штаба армии, выходит к Волге. И здесь, показывает автор, возникает уже иная, более высокая мера мужества и стойкости: армия оборонялась еще яростнее и упорнее.

Если для первых боев, как они изображены в повести, характерно было колоссальное нервное напряжение, то теперь писателю самым важным представляется спокойствие защитников города. Спокойствие стало высшей формой проявления мужества. Если прежде упорство обороняющихся было рождено чувством, что дальше отступать некуда, то теперь рядом с этим чувством возникло и сознание решающей роли сражения, в котором они принимают участие, для судеб страны и понимание личной ответственности за его исход. И когда бойцы батальона Сабурова выдержали первый, не прекращавшийся несколько дней и ночей штурм врага и устояли, устояли, даже оказавшись в окружении, тогда герой осознает и масштабы того, что он и его люди делают и должны сделать: «Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шел бой, но одно он твердо чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале — все, вместе взятое, была Россия, и он, Сабуров, защищал ее».

В финале главы VIII, завершающей рассказ о первом этапе боев, автор, словно подводя некий итог тому, что пережил, передумал, перечувствовал герой за это время, вновь напомним об этом новом масшта-

бе ответственности: «И ему показалось — вся Россия, которой нет ни конца, ни края, стоит бесконечно влево и бесконечно вправо, рядом с этими гремя домами, где держится он, капитан Сабуров, со своим поредевшим батальоном».

В те дни сплошь и рядом люди делали невозможное — то, что не предусмотрено ни одним военным уставом, то, чего не может требовать приказ. Но на это способны лишь те, кто не боялся взять на свои плечи всю тяжесть ответственности.

Грядущий год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

Разве случайно эти строки Александра Твардовского стали в дни войны крылатыми?

Сталинград означал не только блестяще выигранную трудную военную кампанию, но нечто большее — окончательную кристаллизацию тех качеств, которые сделали нашу армию непобедимой. Это и стремился запечатлеть в повести «Дни и ночи» Симонов, показывая процесс духовной закалки воинов и его предпосылки.

С новым душевным состоянием защитников города связано установление «того особого осадного быта, который поражал попадавших в Сталинград людей своими устойчивыми традициями, своим спокойствием (хочу обратить внимание, что и здесь возникает это слово. — Л. А.), а иногда и юмором», и если глава VIII завершает рассказ о первом этапе боев, глава IX начинается первым пространным описанием этого особого осадного быта. Само возникновение этого быта — признак устойчивости, уверенности в своих силах. Характерно, что Сабуров, попав в госпиталь, думает о возвращении в свой батальон, как о возвращении домой, и, когда ему пришла в голову мысль о свадьбе с Аней, он «представил себе, как вернувшись, сидит там за столом с Аней, и рядом те, кого он бы мог позвать в такой день: Масленников, Ванин, Петя, может быть, Потапов».

В этот переломный для душевного состояния героев и для хода боев момент Симонов вводит в повесть два эпизодических персонажа, главная функция которых заключается в том, чтобы подчеркнуть не локальный характер того, что происходило в Сталинграде, показать, что мужество защитников города опирается на силу духа всего народа. В разгаре боев из дивизии Проценко на учебу в Академию связи в Москву отзывают командира роты связи. И хотя это показалось Сабурову явно не соответствующим обстановке, даже странным, в самой этой странности было обнадеживающее «ощущение общего громадного хода вещей, который ничем нельзя было остановить», ощущение твердости и спокойствия (в одной из редакций автор продолжит эту фразу, добавив слова: «великого государственного спокойствия»). В это же время батальон Сабурова посещает корреспондент московской газеты. Он только вчера вылетел из Москвы; Москва, по его словам, «ничего, стоит» и даже баррикады там разобрали, как и прежде, в театре идет «Евгений Онегин»...

Но и все, пережитое до сих пор, еще не было пределом — пределом испытаний и пределом мужества. Предстоит еще один, заключительный этап обороны и новая, высшая ступень духовной закалки героев. Это происходит уже в ноябрьские дни, когда переправа через Волгу, в сущности, прекратилась: река еще не стала. В повести подробно рассказывается о сложившейся общей обстановке:

«От штаба армии теперь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко. Немцы вышли

к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. Сказать, что бои шли в Сталинграде, значило бы сказать слишком мало: почти повсюду бои шли у самого берега; редко где от Волги до немцев оставалось полтора километра, чаще это расстояние измерялось несколькими сотнями метров. Понятие какой бы то ни было безопасности исчезло: простреливалось все пространство, без исключения.

Многие кварталы были целиком снесены бомбежкой и методическим артиллерийским огнем с обеих сторон. Неизвестно, чего больше лежало теперь на этой земле — камня или металла, и только тот, кто знал, какие, в сущности, незначительные повреждения наносит большому дому один, даже тяжёлый артиллерийский снаряд, мог понять, какое количество железа было обрушено на город.

И предпринятая немцами в эти ноябрьские дни последняя попытка опрокинуть наши поредевшие части снова наталкивается на несокрушимое сопротивление защитников города. «Люди почувствовали, что случилось нечто необычайно важное, что они сегодня сделали не только то, о чем потом будет написано в сводке Информбюро: «Часть такая-то уничтожила до 700 (или 800) гитлеровцев», — а что они вообще победили сегодня немцев, оказались сильнее их».

Сознание этого вызвало такой подъём духа, который сделал возможным то, что прежде даже по сталинградским «нормам» казалось немислимым. Вряд ли в ином состоянии Сабуров совершил бы свой подвиг. И как буднично он ни выглядит — трижды за ночь Сабуров проделал один и тот же путь между штабом дивизии и штабом отрезанного от нее полка, — это подвиг... Ощущение нашей силы, предчувствие победы уже не оставляет Сабурова и других героев. Впервые в блиндаже Сабурова пьют за победу и впервые говорят о будущем, о том, что будет, когда наступит мир. И мысли о наступлении, которые в начале повести были лишь выражением непоколебимой веры героев в победу, здесь становятся соображениями практически-деловыми. Соображениями о том, где и как целесообразнее нанести врагу удар.

В этом месте снова возникает в повести подробное описание осадного сталинградского быта. Но на этот раз автор изображает житейские дела и заботы одного из ставших впоследствии знаменитым сталинградских «домов», превращенных их маленькими гарнизонами в неприступные крепости. И опять не бытописание само по себе привлекает писателя. Успевший уже устояться уклад жизни в «доме Конюкова», как его стали называть даже в сводках, был проявлением не только внутреннего спокойствия, но и особой лихости, которая возникает лишь тогда, когда запас душевных сил хоть немного превышает то, что приходится тратить, как бы много ни приходилось тратить.

О наступлении думает не только командир дивизии Проценко, узнавший, что в заволжских степях концентрируются наши войска, но и старшина Конюков, который мало знает о том, что делается у него за спиной, — он сражается почти в окружении, но отлично чувствует состояние врага, от позиций которого его отделяют считанные метры, и свое превосходство над ним. И Проценко и Конюков ведут с Сабуровым речь о наступлении.

А когда сталинградцы слышат могучий гул артиллерийской подготовки перешедших в наступление армий, всех их охватывает чувство, которое лучше всего назвать окрыленностью победой.

И хотя в батальоне Сабурова остались считанные люди, он решает отбить у немцев один из занятых ими домов, и ему это удается. Казалось бы, что такое один дом в войне, где самый малый счет идет на

тысячи? Но это дом особый. Как бы ни были герои поглощены выполнением своих обязанностей, как бы ни были ограничены и прозаичны их задачи — расчистить проходы, бесшумно на руках протаскать противотанковые пушки, — солдаты понимают: это первый дом, из которого навсегда изгнаны немцы, — больше они никогда сюда не вернуться. И, готовясь к атаке, герои повести осознают, что «дом — это много, почти все, Россия... Вот, как этот дом, возьмем обратно всю Россию... Главное — начать. Начать с дома, но почувствовать при этом, что так будет дальше до тех пор, пока все не будет кончено». И завершают повесть слова о «взятом с бою военном счастье, которое начиналось в эти часы для России».

Таков пафос и внутренняя структура повести «Дни и ночи». Сейчас, через три десятилетия после того, как повесть написана, они видятся лучше, яснее. Четче проступают и ее слабости: очерковость и беллетристичность, соперничающие друг с другом и питающие друг друга; обращение к толстовским традициям не только как к эстетическому ориентиру, но и как к источнику готовых стилистических конструкций. Нет нужды ни преуменьшать, ни преувеличивать эти слабости: суд времени уже состоялся.

Повесть Симонова принадлежит к тем произведениям, которые находятся у истока нашей художественной прозы, посвященной Великой Отечественной войне. Многие, о чем пишет здесь Симонов, сказано было в литературе впервые. Некоторые конфликты, характеры, ситуации, запечатленные в повести, станут в дальнейшем предметом пристального художественного исследования, а иногда и «доследования» в произведениях других писателей и самого Симонова. Это была одна из первых книг, в которых описательность уступала место анализу, художественному исследованию действительности. И кто бы впоследствии ни писал об этой исторической битве, вольно или невольно, намеренно или не отдавая себе в этом отчета, он так или иначе соприкасался с симоновской повестью. Так или иначе, развивая какие-то ее мотивы или оспаривая их, по-своему решая поставленные в ней проблемы или отталкиваясь от них...

Когда повесть «Дни и ночи» была опубликована, успех ее иногда объясняли еще не утоленным интересом читателей к событиям сталинградской эпопеи. Действительно этот интерес был огромен. Действительно, мы сегодня много больше знаем о них, чем тогда: уже существует очень большая литература о Сталинградской битве — военно-историческая, и мемуарная, и художественная, — немало здесь книг глубоких, серьезных, заслуживающих внимания читателей и получивших читательское признание. Но книги о Сталинграде, написанные после «Дней и ночей», не затмевают повести Симонова, каково бы ни было ее историко-литературное значение, куда важнее, что и сегодня она читается с неослабевающим интересом, что она полностью сохранила силу непосредственного эмоционального воздействия...

И вновь мы слышим бесконечный грохот бомбежки и захлебывающееся таранье автоматов, вновь видим черные тучи дыма и пыли, закрывающие солнце. Но постепенно в этом грохоте и дыме мы начинаем различать лица людей, слышать их голоса. Да, это они, о ком рассказывал нам Константин Симонов, стояли насмерть в Сталинграде, где все горело — дома, земля, камень...



БОРИС ПАНКИН

ВРЕМЯ ЗВОНКО И КОРОТКО

ПОБЕСЕДУЕМ ЗАПРОСТО...

Несколько лет назад свой газетный очерк о «Студенческих тетрадах» Марка Щеглова, опубликованных в журнале «Новый мир», я закончил словами: «Сколько за последние годы опубликовано у нас потрясающих человеческих свидетельств, документов эпохи!.. Достаточно просто расположить их в хронологическом порядке, и мы получим историю страны в судьбах, характерах, личностях, написанную ими самими. И эта беспристрастная летопись сослужит добрую службу не одному еще молодому поколению».

Прошло немного времени, и издательство «Молодая гвардия» предприняло попытку реализовать эту

идею. В серии «Тебе в дорогу, романтик» вышла тогда книга «Из дневников современников», вместившая в себя почти два десятка документов, в которых проходит перед нами в лицах, событиях, в радостях и страданиях, драматизме и свершениях неповторимое, ни на что не похожее время наше — от революции до сегодняшних дней. Время, которое все чаще, все настойчивее и все с большей уверенностью называют во всех уголках планеты началом новой эры.

Книга «Из дневников современников», конечно, лишь эскиз той антологии характеров, которая могла бы быть создана да и создается уже. Лишь приглашение к путешествию, где спутниками нашими становятся известные и неизвестные, но обязательно замечательные люди нашей эпохи.

Сборник «Молодой гвардии» вышел уже семь лет назад. За это время многие из документов, представленных в нем в отрывках, были опубликованы полностью. Выходят новые и новые книги биографической, документальной прозы. Большая, благородная работа продолжается.

И для литературной критики нелишним будет, думается, вновь и вновь возвращаться к этому неброскому, не предназначенному, казалось бы, для широкого чтения роду литературы — дневникам и письмам. Возвращаться, чтобы поразмыслить как над отдельными произведениями, так и над тем, что их связывает.

Как писал Сергей Чекмарев своим сестрам и братьям: «А теперь, друзья, откинем все расчеты и побеседуем запросто перед листом белой бумаги, за чашей чернил».

...И во времена великих событий, счастливых или драматических, и в пору кажущегося затишья люди живут по-разному: одни — борьбой, свершениями, накалом страстей, другие — скукой, завистью, томлением, робостью.

Жизнь, деятельность, творчество людей, о которых пойдет здесь рассказ, — это необъявленный бунт против обывательского миропонимания, красноречивый укор ему. «Время звонко и коротко» — вот их жизнь, облеченная в эту стреляющую фразу, произнесенную студентом Сергеем Чекмаревым в 1929 году.

«Современность даже и своих великих выслушивает рассеянно», — справедливо заметил один наблюдательный польский писатель. Так и о величии собственной эпохи многие узнают, лишь когда она минет, по книгам да учебникам.

«Мне лично, — писал в «Комсомольскую правду» один молодой читатель из Львова, — хотелось бы больше знать о людях, живших до нас и сумевших прожить жизнь достойно. Ничто ведь так не убеждает, как то, что «кто-то сумел». Они должны помочь мне, эти люди, прошедшие путь борьбы, испытаний и страданий. И порой мучит мысль а почему я так мало чувствую их боль? И хочу знать, что за жажда мучила Толстого? Как смотрели на мир декабристы и последовавшие за ними жены? Отчего так страдал Блок? Вдруг люди до меня нашли ответы на проклятые «почему?»».

Как видим, перечисляя тех, кто мог бы быть для него примером, читатель называет имена общеизвестные. Людей, чья жизнь, деяния в общем-то достаточно изучены, чей образ для нас пленителен, впечатляющ, но одновременно и очень далек, отдален не только временем, но и величием своим — неоспоримым и недосягаемым. Конечно, перечень этот можно назвать случайным. Могли быть и другие, того же масштаба, имена. Но ведь известно, что и в случайностях проявляет себя закономерность.

В данном случае состоит она в том, что нам бывает легче узнать, услышать, прочитать о чем-то величии, чем угадать его самим. Оттого-то и круг имен, которые мы в таких случаях называем, часто узок и привычен. Оттого и великое, как ни стремимся мы его постичь, приобщиться к нему, часто существует как бы отдельно от нас, вне пределов досягаемости.

Теперь нам предстоит познакомиться с людьми и именами, которые, за одним исключением, вовсе не так известны, как те, что назвал читатель из Львова. А для многих, может быть, и совсем неизвестны. Они немного успели сделать, эти люди, а некоторые из них — и всего-то, что рассказать о себе. Но посмотрим, быть может, и их пример и их наследство помогут нам ответить на многие вопросы. Тогда и они пополнят в нашем сознании славную когорту тех, «кто сумел».

Документы эти отмечены необыкновенной цельностью мировосприятия, упоенностью окружающим, верой в истинность и нужность того главного, что происходит в жизни, в правильность, осмысленность собственного поведения. И очень соблазнительным покажется для иного современного читателя, который, естественно, знает сегодня многое из того, что не знали и не могли знать авторы дневников, — увидеть в их строках следы наивности, близорукости, ограниченности.

Легко быть мудрым задним числом. Этим качеством в избытке, кажется, обладают мещане и обыватели всех времен и народов, те, кто сам не способен ни к творчеству, ни к деянию, ни к подвигу. Вот эта истинная ограниченность способна обернуться чем угодно — нигилизмом «прогрессивного» недоучки, легковерием равнодушного профана и самодовольной напыщенностью ученого педанта, начекика, для которого вся история мысли и творчества людей — лишь унылый ряд последовательно сменяющихся друг друга заблуждений и ошибок. «Ученый малый, но педант» будет скрупулезно перечислять то, до чего не дошел, перед чем остановился, до чего не дотянулся, чего так и не смог понять тот или иной деятель давнего или недавнего прошлого. И в этом перечислении утонет, исчезнет то новое, яркое, неожиданное, что он собой явил, что открыл, создал, совершил.

Самое драгоценное для нас в дневниках и письмах Чекмарева, Щеглова, Головинского, о которых и пойдет речь, — это прежде всего не те или иные художественные их достоинства, а какая-либо genialность их авторов, а дух времени, атмосфера, аромат эпохи, запечатленные современниками. Самое важное — печать искренности, непосредственности, правдивости, которой отмечена каждая строка в этих произведениях, предназначавшихся либо для себя, либо для самых близких и родных.

Да, живя сегодня, мы знаем многое, чего не знали жившие до нас. Мы, сегодняшние, знаем, например, что 12 апреля 1961 года в космос полетел человек и что был им советский летчик Юрий Гагарин. Ему же самому не довелось дожить до того дня, когда нога человека ступила на Луну. Циолковский создал теорию ракетоплавания, космических полетов. Но в отличие от любого посетителя ВДНХ сам он никогда в глаза не видел ни космической ракеты, ни реактивного самолета. Придет ли кому-нибудь в голову упрекнуть его в этом?

Если своим знанием мы обязаны лишь времени, в которое живем, выставкам, музеям, учебникам да популяризаторской статье, которая попала в руки, стоит ли так уж гордиться современностью своих знаний и взглядов?

Увы, то, что каждому совершенно ясно, когда обращаешься к миру техники, точных знаний, формул

и геометрических фигур, кажется отнюдь не столь очевидным, когда мы касаемся мира идей и образов.

История делает то, что следует,
И мы ни ей, ни вам не помеха.
Но не считайте своей победой,
Только своею
Ваши успехи.

Так сказал об этом в одном из предсмертных своих стихотворений Александр Яшин, обращаясь к младшим сотоварищам.

ПОЧЕМУ ОСТРОВСКИЙ!

Когда говорим мы о советском характере, о новой породе людей, выкованной новым временем, то, не сговариваясь, как к некоему источнику, обращаемся к фигуре Островского.

Почему? Ведь прежде чем узнать об Островском, мир знал уже другие славные имена, имена людей, с которыми мы связываем создание партии, подготовку революции, организацию и свершение ее. Имена титанов, прошедших тюрьмы и ссылки царизма, огненную купель гражданской войны, голод и разруху первых послереволюционных лет. Людей, у которых учился, перед которыми благоговел сам Островский.

Почему? Ведь прежде чем познакомиться с Павкой Корчагиным, человечество уже встретилось со строителями нового мира в книгах Горького и Айни, Фадеева и Шолохова, Фурманова и Всеволода Иванова, поэмах Тихонова, произведениях Малышкина, Кербабая... Словом, Корчагин явился нашим взорам тогда, когда уже была создана и много лет существовала советская литература о советских людях.

Так почему же? Ответ на этот вопрос не так уж прост. Несомненным, очевидным является лишь сам факт: мало с чем сравнимое влияние Островского и его книги на судьбы, характеры людей его и последующих поколений. Что же касается объяснения этого факта, то попытки дать его и составляют, собственно, содержание всей огромной литературы об Островском. Каждая работа вносит свою лепту. Но вряд ли кто-то может претендовать на окончательную истину.

Деятельностью своей, подробностями жизни Островский был одним из тех, кто и рожден и создан новой эпохой, выпестован ею и закален, как сталь. Он, говоря словами Маяковского, «каплями лился с массами». Вот как сам Островский писал об этом в одном из писем, обращенных к комсомольцам: «Мы, старые комсомольцы, почти детьми дрались рядом со своими отцами за власть Советов. Нет у нас большей гордости, как сознание, что в этой борьбе мы были достойными сынами своего класса. Мы своими глазами видели всю подлость и жестокость врага». Но Островский был не только «одним из». Ему суждено было в числе первых пройти от начала до конца неизведанный путь борца за новую жизнь и первым сказать от имени своего поколения об этом пути.

Он был первым из тех, кто был рожден и создан новым временем и сумел выразить его в своем творчестве. Очень точно сказал об этом Лев Аннинский в своей книге о романе Островского. «Как закалялась сталь», — пишет критик, — не просто вещь, сделанная по новым правилам, но жизнь, прожитая по новым законам».

Что же касается литературно-художественных достоинств самого романа, то и они обусловлены тем, что писательский труд свой Островский рассматри-



Николай Островский (с лева) с комсомольцами
1922 года.

вал как единственную возможность продолжить борьбу еще оставшимися в его распоряжении средствами, и тем, что эта воля, решимость вернуться в строй или уйти, «в конце концов поставить себя к стенке, как элемент в жизни паразитический» разбудила истинный, неповторимый писательский талант, которого он, начиная свой труд, сам в себе не подозревал, рассчитывая лишь на силу жизненного материала.

Вряд ли стоит гадать, какое из двух обстоятельств имело большее значение. Одно связано с другим, одно порождено другим. Островский никогда не скрывал того факта, что не занимался прежде писательским трудом и не имел к нему навыков. «Работа над книгой — попытка передать бывшее литературным языком. Никогда раньше не писал». Не скрывал, но и не кокетничал этим, как случалось в ту пору со многими «ударниками в литературе».

Островский, его жизнь, деятельность, его эпистолярное наследство, человеческий и писательский подвиг последних лет жизни — все это, вместе взятое, как взрывная волна невиданной силы, которая приводит в движение не только атмосферные слои, но и пласты земной тверди. И человечество еще долго будет вновь и вновь, вдохновляясь, размышляя и споря, возвращаться к наследству, к завещанию, которое нам оставил этот человек.

В природе, встречаясь с одними явлениями, мы не всегда улавливаем их причинную связь с другими, происшедшими ранее. Но такое бывает и в обществе.

Было бы ошибкой, а она часто совершается, влияние Островского находить и отмечать лишь там, где на него есть, так сказать, прямые ссылки — письмен-

ные или устные. Но не грех и поверять время от времени, с каким Островским, с каким Корчагиным, всегда ли подлинным, имеет дело читатель. По сути дела, можно говорить теперь как бы о трех Корчагиных. Один — это тот, что встает со страниц романа «Как закалялась сталь», когда переворачиваешь его последнюю страницу. Другой — это сам Островский, которого привычно отождествляют с его героем, что в общем-то вполне естественно. Вспомним хотя бы слова самого Островского, отвечавшего читательнице, которая корила его за то, что он наделил столь тяжелой судьбой своего Павку: «К глубокой моей грусти, Корчагин написан с натуры. И это письмо я пишу в его комнате... Этот парнишка уже шесть лет прикован к постели. Он пишет сейчас свой новый роман, и мы вскоре увидим его в печати».

И есть, наконец, третий Корчагин, сотворение которого продолжалось и после смерти писателя истолкователями романа, литературоведами, критиками, самими читателями. Появление такого Корчагина неизбежно. Это судьба каждого литературного образа, которому суждено пережить своего создателя. Знать этого Корчагина следует, но не надо принимать его за единственного и единственно настоящего. Этот Корчагин многолик, ибо каждое поколение исследователей, а вслед за ними и читатели осознанно или неосознанно вносили в его портрет изменения в соответствии со своими представлениями о жизни, о времени, о литературе.

Как это ни странно, процесс истолкования, ставивший всегда своей целью возвеличивание образа Корчагина, на самом деле часто его обеднял. Образ, тип лишился многих красок, многих черт, которые и делали его живым, заразительным, впечатляющим.

Многие исследователи, толкователи образа Корчагина, сами того, быть может, не замечая, идут в своих работах не от романа, а от уже сказанного о нем, повторяют привычно и заученно отвердевшие определения и столь же привычно из десятилетия в десятилетие сетуют по поводу того, что не появилось, мол, в нашей литературе, за одним-двумя исключениями, образа советского молодого человека, который стал бы вровень с Корчагиным.

Но сравнивают-то при этом нового героя не с истинным Корчагиным, а с распространенными ходячими представлениями о нем. А еще чаще сравнивают даже не героя с героем, а трудности, стоящие на их пути, препятствия, которые надо было преодолеть, лишения, которые пришлось вынести. И коль скоро то, что выпало на долю Корчагина и самого автора, его прототипа, было исключительным даже для их времени, для людей их поколения, то и герой и создатель его представляются каким-то исключением, волнующим, поражающим, но исключением. Высочайшей и уже потому одинокой вершиной.

Речь идет сейчас не об анализе тех или иных работ. Речь о том общем впечатлении, с которым сталкиваешься, беседуя с подростками и молодыми людьми в наши дни. И тогда неожиданно слышишь, что Корчагину, мол, и его ровесникам было легче... потому что они, видите ли, жили и боролись в такое время, когда люди хоть и терпели необыкновенные лишения, зато не знали ни сомнений, ни колебаний. Все им было ясно, просто — и цели и люди. Словно не было изпа и «энзимщины», не было борьбы внутри партии, о чем немало пишет сам Островский в романе, не было социальных и личных драм, рожденных временем, когда все, что сдвинуто было революцией, только начинало складываться по-новому.

Узнаешь, с другой стороны, и то, что Корчагину последних лет было, оказывается, еще и потому легко твердить, что болезнь не оставляла ему другого

выхода, избавляла его от соблазнов, увлечений, которые одолевают обыкновенно здорового человека.

Узнаешь и о том, наконец, что Корчагиным можно восхищаться, но следовать его примеру, подражать ему невозможно, потому что был он человеком совершенно необыкновенным.

К счастью, Островский словно предвидел опасность упрощений и оставил нам лекарство от них — свои письма. И действие их тем сильнее, что многие из дошедших до нас были написаны и отправлены задолго до того, как у Островского родился самый замысел романа.

Это хочется подчеркнуть особо. И вот почему. Читая роман, мы представляем себе его автора больным, страдающим, но уже и великим, нашедшим призвание, всемирно признанным. Словом, он для нас Островский — и этим все сказано.

В первых же письмах перед нами человек страдающий, борющийся, но еще очень, очень далекий от победы, порою теряющий в нее веру. Человек того времени, когда фамилия Островский никому, кроме друзей и знакомых, еще ничего не говорила. Не правда ли, тут есть разница? Но попробуйте уловить ее в письмах. Перечитайте весь том, и вы увидите — ни в одной фразе, ни в одном слове — не увидите двух Островских — того и этого... И убедившись в этом, поймете, почему он смог совершить свой подвиг.

Личные письма, направленные родным, друзьям, знакомым, а потом и незнакомым читателям романа, — не художественное произведение. Их трудно анализировать. Но их хочется цитировать — широко, подробно. Верится, что тот из юных читателей, кто впервые познакомится здесь с отрывками из этого своеобразного дневника Островского, составляющего третий том его собрания сочинений, прочитает его потом от корки до корки.

Знакомство с письмами Островского поможет не только глубже понять его самого и его героя, но и явится своеобразным мостиком, перекинутым к деяниям и характерам последующих поколений, с представителями которых нам еще предстоит познакомиться поближе.

Как это ни покажется странным, принимая во внимание трагические обстоятельства жизни Островского, одна тема, один мотив проходит наиболее настойчиво через всю его жизнь, встающую перед нами в письмах: тема... счастья. Стоит проследить за ней, за ее вариациями, они многое открывают, многому учат нас.

«Моя жизнь сейчас прекрасна, — пишет он в одном из писем, — моя заветная мечта осуществилась, из бесполезного партия товарища стал опять бойцом. Я нашел свое место в жизни нашей страны. Чего же еще?»

Заметим, что строки эти — не простая констатация. Это не патетика. Это полемика с товарищами, с друзьями, которые проявляли непомерную, по его мнению, заботу о нем. «Почему друзья делают мне больно, — волнуется он, — и с таким упорством... загужают ЦК вопросами обо мне и бытовых мелочах моей жизни...»

И снова та же настойчиво, упорно звучащая мысль: «Я счастливый парень, — дожидать до такого времени, когда некогда дыхнуть, когда каждая минута дорога...»

Счастье для Островского — воинствующее чувство, оно не нейтрально, своим острием оно направлено против людей вялых, скучных, безвольных и ленивых, тех, кто попусту, преступно растрачивает свои духовные и физические силы. «Вокруг меня ходят крепкие, как волю, люди, но с холодной, как у рыб, кровью, сонные, безразличные, скучные и раз-

магниченные. От их речей веет плесенью, и я их ненавижу, не могу понять, как здоровый человек может «скучать» в такой напряженный период». «Есть несчастные люди, обиженные природой, которые не знают, что жизнь прекрасна, — пишет он, недвижимо и слепой, лежа в своей матрацной могиле. — Счастье, что я не принадлежу к этой категории дефективных».

Тема эта не раз еще прозвучит в письмах Островского, не раз еще заявит он о своей «органической, злобной ненависти» к людям, которые «под беспощадными ударами жизни начинают выть и кидаться в истерику по углам».

«Все бы я простил природе, такой ко мне немилосердной, но отнять единственный глаз — это бессовестно. Хотя, сказать по совести, я и сейчас живу намного радостнее и «счастливее», чем многие из тех, кто приходит ко мне и, наверно, из любопытства...»

Чутьочку уступки обывательской оглядке, и соблазн истолковать эти слова Островского как раздражительность всякого больного против всякого здорового может овладеть нами. Но это будет именно уступка, уступка извечному мещанскому побуждению принизить высокий порыв, объяснить его низменными мотивами.

То, что Островский сказал здесь, выстрадано и выношено им. Он имел, к сожалению, повод и заслужил право бросить этот упрек — не только своей болезнью и страданием и вообще не этим, а своей титанической устремленностью к цели, своей превышающей, казалось бы, все человеческие возможности, но на самом деле продиктованной истинно человеческими порывами волей к борьбе и победе.

Тема труда, борьбы на благо людей, как высшей цели, ради которой только и стоит жить, — вот другой лейтмотив писем Островского. Проследим же и его от того момента, когда намерение Островского заняться литературным трудом могло показаться чужаком даже самым близким людям, до того, когда он стал известным писателем. «Только мы, такие, как я, так безумно любящие жизнь, ту борьбу, ту работу по постройке нового, много лучшего мира, только мы, прозревшие и увидевшие жизнь всю, как она есть, не можем уйти, пока не останется хотя один шанс. Все покажет лето этого года».

«Хоть один шанс» — замысел романа «Как закалялась сталь», к которому автор приступал с отчетливым, беспощадным сознанием своей профессиональной неподготовленности к такой работе и одновременно с убежденностью в необыкновенной значимости и нужности того, о чем он намеревался сказать. Решали страсть к труду, к творчеству, вера в свои духовные силы, уверенность в победе.

«Я работаю, как добросовестная лошадь. По ночам. Тогда никто и ничего не мешает...». «Моя жизнь — это работа над второй книгой. Перешел на «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как в кинолентке, события, и рисуются образы и картины».

Работа, в смысле и назначении которой ты бесконечно уверен, выше самой жизни: «Я работаю, направляя все свои духовные и физические силы... Здоровье мое предательски качается. Каждую минуту можно ожидать срыва. И я спешу, ловя минуты».

Этот уже пишет не начинающий, а всемирно известный писатель, безмерно страдающий человек, бросивший в работу, как в топку котла остатки угля, последние крупинки своего здоровья. Автор романа «Как закалялась сталь». А как много мы знаем примеров, когда, говоря словами Островского, иные «крепкие, как волю, люди», совершив однажды нечто, всю свою последующую жизнь посвящают не-

стованию и баюканью, возвеличиванию этого совершенного однажды!

Уж не сделаны ли они из разного материала?

И здесь пора уже напомнить о других строках из писем, о мотивах, которые нашли свое отражение и в романе и которые, однако, часто оказывались на самом дальнем плане у тех исследователей и комментаторов творчества Островского, которые пуще всего боялись «разжижения гранитной фигуры Павки Корчагина». Речь идет о колебаниях, сомнениях, о муках отнюдь не только физических, которые сопутствовали как Островскому, так и Корчагину на всем протяжении их жизни.

Исследователи порой стремятся забыть об этом, словно стыдясь в Островском того, чем на самом деле надо бы гордиться. Но тому, кто стыдится сомнений, колебаний, кто стыдится минут отчаяния, упадка духа в своем кумире, — тому никогда не постигнуть тайны их преодоления.

«Ничего позорного нет в том, что бывают минуты реакции, — говорит по этому поводу сам Островский. — Ведь я уже три года веду борьбу за жизнь и каждый раз бит, — сползаю назад». Это год 1927-й, год первых замыслов. «Бодрость и воля, — пишет он в письме 1926 года. — Последнее у меня есть, но первого нет. Оно вытравилось чисто физическими страданиями. Если бы сумма этой физической боли была меньше, я бы «отошел» немного, а то иногда приходится крепко сжимать зубы, чтобы не завыл по-волчьи, протяжно, злобно...» И снова: «Я взялся за непомерно тяжелый труд. Все против меня, но у меня моя ослиная упрямость».

Под этим «все против меня» не следует понимать, как это часто бывает, только болезнь. Казалось бы, что может быть страшнее разрушенного здоровья, слепоты, почти абсолютной неподвижности? И все это полной чашей испытал Николай Островский. Однако к этому приходится прибавить и бытовые неурядицы, борьбу с безразличием, бюрократизмом, хлопоты о комнате, о пенсии — все то, что выпало, еще раз подчеркнем это, на долю того Островского, который еще никому, кроме друзей и родных, не был известен, а многим, кто с ним соприкасался «по казенной линии», представлялся лишь докучливым, беспокойным инвалидом.

Надо знать и этого Островского, Островского той поры, чтобы измерить все величие его подвига, глубину его духа. «Я иногда с сожалением думаю, — пишет он, — сколько энергии, бесконечного большевистского упрямства у меня уходит на то, чтобы не удариться в тупик».

Напомним себе еще раз: борьбу ведет человек, капля за каплей отдавший свои силы, здоровье новой жизни. Вот прекрасный, казалось бы, повод разочароваться, захандрить и озлобиться, повод, которого многие, увы, не упустили.

«Конечно, будешь писать, — обращается он к другу, — потому что у меня сейчас дни темнее, чем обычно». Это, пожалуй, самая громкая жалоба Островского. Однако не надо представлять его себе этаким агнем божьим, смиренно переносящим удары судьбы и людей.

«Пусть рвачи пролезают, занимают квартиры, мне от этого не жарко. Место бойца на фронте, а не в тыловых склочных дырах... Я думаю, что лучше жить в уборной и написать книгу, нежели два года добиваться квартиры и из-за этого ничего не написать».

Он не прекраснотупый мечтатель и не оторванный от земли «романтик». Он и в минуты величайшего творческого напряжения и в часы полного «разгрома» мыслит и чувствует ясно, трезво, оптимиз-

мически, являя собой образец подлинного гуманиста нашего времени, воплотившего в себе гуманистическое наследие многих и многих поколений.

«Веселый говор, счастливый смех женщин, а у меня крепко сжаты губы. Молчу. И от сурового парня уходят после 2—3 слов. Думаю, злой. Как и ты в первую встречу. — Это из письма Г. М. Алексеевой. — Грусть заполнила всего. Море напомнило о прошлом, о разгроме всей моей личной жизни. И я не борюсь с грустью, она служит мне».

Помните пушкинское: «печаль моя светла»?

Он ни минуты не сомневается в том, что его ждет... «Тем более недопустимо отвлекаться, потому что моя жизнь — это считанные дни». Трудно подыскать слова, которые были бы достойны, чтобы оценить это необыкновенное, без рисовки, без позы, без отчаяния и без надежды мужество. А он еще находит в себе силы поддерживать других. «Я могу сказать лишь одно: я в своей жизни тоже испытал горечь измен и предательства, — пишет он обратившейся к нему женщине. — Но одно лишь спасало: у меня всегда была цель и оправдание жизни — это борьба за социализм. Это самая возвышенная любовь. Если же личное в человеке занимает огромное место, а общественное — крошечное, тогда разгром личной жизни — почти катастрофа. Тогда у человека встает вопрос — зачем жить? Этот вопрос никогда не встанет перед бойцом. Правда, боец тоже страдает, когда его предадут близкие, но у него всегда остается неизмеримо больше и прекраснее, чем он потерял».

Островский упорно и многократно, с полной убежденностью в правоте своей — и он действительно был прав — называл себя счастливым. Да, он был счастлив. Счастьем борьбы и творчества. Что же касается разрушительной болезни, того ужаса неподвижности и мрака, в который он был повергнут, то это, как камень на дороге, в который он упирался плечом до тех пор, пока не пал бездыханным.

Своим «Жизнь дается человеку один раз» Островский обозначил могучую ветвь человеческих характеров, растущую сквозь годы.

«Я ПОЛНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ХОЧУ БЫТЬ...»

Сергей Чекмарев родился в 1910 году. Он всего на шесть лет моложе Николая Островского. И умер несколькими годами раньше. Но так уж стремителен бег времени, что мы относим Чекмарева к совсем другой эпохе. Островский, Корчагин — это гражданская война, это борьба с разрухой. Время Чекмарева — заря первых пятилеток, начало великих переворотов в деревне.

Москвич, сын зубного техника, он не принадлежал к тем социальным категориям, перед которыми в те годы широко распахнулись двери в мир. После окончания средней школы он не смог поступить ни в МВТУ, ни в университет, хотя экзамены и в тот и в другой вуз сдал с блеском. Три года он числился в безработных, отмечался на бирже труда. И лишь в 1929 году поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт на животноводческий факультет. Никогда он не думал быть зоотехником, но стал им, и профессия эта, работа в совхозах Башкирии были для него источником многих истинных радостей, одной из главных тем его писем, дневниковых записей, стихов.

Но проработать здесь Чекмарев успел немного. С марта 1932 года по май 1933-го. Весной второго года пятилетки, которую он называл в своих стихах, в письмах «большевистской», он погиб смертью, ко-

торая была почти предсказана им за два-три года до этого:

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули»,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули.
Его засосали
Уральские степи...

Утонули не письма... Переправляясь в совхозной телеге через реку, погиб сам поэт. Тайна его смерти до сих пор остается неразгаданной. Его рукописи обнаружены спустя двадцать с лишним лет...

С точки зрения обычных, житейских представлений жизнь Чекмарева полна неурядиц, неудач, разочарований...

Блестяще сдать экзамены в университет, заслужить на экзаменах в МВТУ прозвище «новоявленного Лобачевского» — и не попасть ни в тот, ни в другой вуз! Три года подряд потом отмечаться на бирже труда в ожидании работы... И, наконец, поступить в сельскохозяйственный институт по специальности, которую, мягко говоря, никак не назовешь его призванием, его, математика и поэта...

Стать зоотехником и потом всю жизнь работать в незнакомой сфере... И из-за работы этой в далеких башкирских совхозах быть постоянно в разлуке с любимой девушкой, почти потерять ее... Что еще, собственно говоря, нужно для того, чтобы и в собственных глазах да и с точки зрения окружающих прослыть неудачником? А он о первой и главной своей неудаче, о такой, что и сегодня многих молодых людей сбивает с ног, пишет с улыбкой:

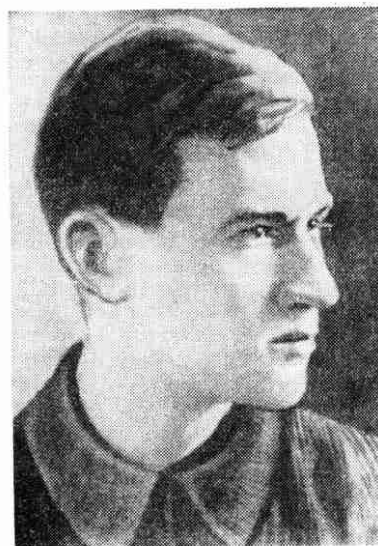
Я верю, я охотно верю
В людскую светлую судьбу —
Нет места в человеке зверю,
Как нету мест в МВТУ.

И дело тут, как увидим еще, отнюдь не в легкости характера и не в безразличии к своему будущему. Наоборот, Чекмареву в глубочайшей степени было присуще то высшее чувство ответственности за себя, которое нечасто приходит в столь раннем возрасте и которое связано с представлениями не о собственных успехах и тяготах, а о заботах страны, народа.

Тем из нас, кто не является историком по специальности и не готовит себя к этой миссии, трудно, почти невозможно бывает охватить пониманием все особенности той или иной исторической эпохи разом. «Пройденная» уже однажды в школе, затем, быть может, еще и в институте, она будет снова и снова возвращаться к нам, поворачиваясь то одной, то другой своей гранью с каждой новой прочитанной книгой, с каждым увиденным фильмом или спектаклем, а то и песней тех лет или о тех годах. Грани эти не всегда можно будет разложить мирным рядом, часто они будут сталкиваться друг с другом, входить в противоречие.

Книга Чекмарева, его стихи, письма, дневниковые записи — как свежее донесение с поля боя. Это чистое и честное, не замутненное никакими последующими поправками и откровениями свидетельство очевидца, современника и действующего участника тех лет, в которых внимание наше и самый пристальный, напряженный интерес никогда не ослабнут и не иссякнут.

Поэтом, «каких немного сейчас, какие нужны нам до зарезу», назвал Сергея Чекмарева Константин Федин, когда познакомился с его рукописями. Но сам Сергей не считал себя поэтом: «Я прежде всего хочу любить, а потом уже писать про любовь,



Сергей
Чекмарев.

прежде хочу видеть, жить, потом уже писать о жизни. Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую — для всех».

Второй половины жизни у Чекмарева не было. Но то, что он писал в первую ее половину, писал для себя, пережило его и будет жить долго. Потому что сама его короткая жизнь была от начала до конца, до последнего дыхания творческим актом. В этом урок его для нас. Постараемся же уяснить себе, что такое способность так вот жить, способность и потребность — удача, наказание, судьба, крестная ноша? Врожденное это или приобретается?

Мы говорим о творческом наследии Чекмарева: книга. Но привычное слово в данном случае еще очень мало объясняет. Книга Чекмарева, изданная впервые через двадцать с лишним лет после его смерти, необычна и неповторима, как на нее ни взгляди. Не только содержанием или, скажем, стилем. На двухстах с половиной страницах в хронологической последовательности собрано все, что сохранилось. От юношеских совсем стихотворений «Здравствуй, бабушка и Нина, здравствуй, Лида и Бутон», от заметок в семейную стенгазету и писем родным и знакомым до... Впрочем, и «до» это не прозвучит столь уж внушительно. До тех же писем, дневниковых записей. До стихов уже повзрослевшего Чекмарева, которых всего несколько и которые так же, как и ранние его заметы, не предназначались для печати.

«Это не дневник и даже не подобие дневника, — пишет Чекмарев. — Нет, это фактошифр, как я называю. Это краткая, неразборчивая запись о случившихся за день фактах, запись, понятная лишь для меня одного».

Мы знаем, что обыкновение после смерти публиковать по возможности все, что было написано человеком, связано с именами великих, уже при жизни известных своими созданиями. В таких случаях то или иное случайное письмо, деловая записка, стихотворение, найденное в девичьем альбоме, представляют интерес не сами по себе, а лишь постольку, поскольку добавляют что-то к нашим представлениям о выдающейся личности. В книге Чекмарева не находишь «проходных мест», каждая страница имеет самостоятельное значение. Строки писем, дневниковые пометки, эти моментально сделанные отчасти моментального состояния души обрели силу об-

щезнучивого. И сегодня они волнуют нас не просто напоминанием о давно умершем хорошем человеке.

Прислушаемся к звукам, приглядимся к краскам, вдохнем в себя ароматы его мира, где «солнце доедает последнюю тучу» или «дисковой бороной ходит по небу», а «закат заглядывает в окно», чтобы «слушать стук человеческих сердец». Где «вьюга машет белым платочком» и «горы, давно не бритые», стоят «одетые в теплую лесную фуфайку». Здесь любовь «растет, как вишня, как молодой зверек. У кого в душе этот зверек не рождался? Рождался у всех. Но кто сумел его вырастить? Ну-ка? Оглянись кругом, найдешь ли?.. Милый, жалкий зверек рождается в нашем сердце, он беспомощен еще, он барахтается и погибает через две недели. А многие даже берут его за шиворот и с наслаждением топят, как котенка: «Что за сентиментальность!»

Способность к одушевлению мира — признак поэтического склада чувств и мышления.

Вспомним слова Блока:

О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — очеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Преимущественное обращение к тем или иным сферам жизни выдает пристрастия поэта. Характер, которым он наделяет создания своего творчества, многое скажет о нем самом.

Вспомним годы, в которые жил и творил Чекмарев. Начало пятилеток, начало коллективизации... Острые социальные схватки в деревне, на фабриках и заводах, в советских учреждениях и в высшей школе... Отчаянное сопротивление всяческого старья, которое приобретает и самые драматические и самые гротесковые формы. Не дремлет и мировая буржуазия, не теряет надежд эмигрантское охвостье... Все это хорошо известно, все это, как говорят, хрестоматия, и я напоминаю о событиях тех лет, о предгрозовой атмосфере, о социальных бурях и тучах лишь для того, чтобы обратить внимание читателя на кажущийся диссонанс, на видимое противоречие между политическим климатом мира и атмосферой книги, где господствующее настроение — бодрость, жизнерадостность, оптимизм и на редкость доброжелательное отношение к людям, знакомым и незнакомым.

Оно, это настроение, не в декларациях и заявлениях. Оно — в самой лексике стихов, в шутивно возвышенной или дружески пародийной интонации его писем, в той самой способности наделять вся и всех вокруг характером — великодушным и приветливым, романтически ироническим, то есть своим собственным.

«Сто семьдесят дворов построились шеренгой в один ряд, встречая меня, командира азбуки. Вьюга молодежато прокричала свое приветствие. Так я приступил к исполнению своих обязанностей». Таково описание и видение весьма прозаического и обыденного для тех лет события — студенты-воронежцы пришли в село Сабуровку заниматься «ликбезом». Только и всего. А вот Чекмарев-студент попадает на военные сборы, в армию. «Уже не кирпично-красная рожа Воронежа находится теперь передо мной, — с аппетитом описывает он новую жизнь, — а белое личико нашего полотняного лагеря, разбитого в лесу, окруженного запахом берез и сосен».

«Здравствуй!!! — начинает он следующее письмо. — Вот мое красноармейское приветствие. Звонко, коротко, бодро».

...Есть такое поветрие — подходить к оценке явлений и лиц по принципу «наоборот»: хорошее ставить

под сомнение, а заведомо плохое объявлять истинно хорошим. Благородные поступки, например, объяснять низменными мотивами, доброжелательность считать изнанкой мизантропии, жизнерадостность производить от недалекости, а в разносторонности интересов подозревать поверхностность... В Чикаго, по свидетельству американских газет, существовал лет десять назад необычный клуб — «клуб тронутых». Его члены, следуя своему уставу, все делают наоборот: при встрече говорят «до свидания», во время обеда начинают со сладкого и кончают супом, пиджаки носят задом наперед, входят в клуб, пятясь задом, а выходят ползком. Конечно же, это курьез. Но курьез символический.

Естественно, что и себя, следуя законам формальной логики, сторонники такого подхода тоже видят по принципу «наоборот». Не флюгерами на ветру моды, а стойкими бойцами, не скучными педантами, а людьми необычайно широким взглядом и всеобъемлющим интересом. Вот для такого рода мыслителей Чекмарев — прекрасная добыча. Ведь это непрощаемое добродушие, этот искрящийся юмор и неиссякаемый оптимизм сопутствуют читателю от первой до последней страницы, которая будет заполнена автором всего-то за несколько часов до, быть может, насильственной смерти.

Вернувшись после перевода факультета из Воронежа в столицу, Чекмарев скажет о городе своего детства: Москва — «сердце мира» — и тут же со столь характерной для него внутренней улыбкой поправится: «вернее, его левое предсердие, разгоняющее по всему миру алую артериальную кровь».

Величественное и задушевное, грустное и смешное, ирония и патетика живут в его творчестве, в его общении с окружающими, в постоянном взаимопроникновении. И, право же, никакой алхимик не смог бы разложить его интонацию на составные:

На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!

Но пойдём дальше, сделаем еще несколько шагов вслед этому улыбчивому и серьезному человеку. Ничто его не берет. Ни примусы коммунальных квартир, ни надоедливость попутчиков в поездах, ни скука и пустота станционных буфетов во время многочисленных пересадок, ни злобные кулацкие выходы в башкирских селах, ни бессонные сутки в коровьих гуртах, ни даже невзгоды любви...

В только что цитированном письме из Москвы есть и такие строки: «Вот я уже и в Москве. Живу я на Спасской. Комната у меня довольно приятная, даже с видом на социалистическое строительство. Кирпич, щебень и мусор цветут под окнами. В общем, я чрезвычайно доволен своей жизнью».

Вот, кстати, хороший повод обратить внимание пишущего эти строки на некоторую наивность с его стороны. Разве, мол, не чувствуется, что слова Чекмарева о «чрезвычайном довольстве» звучат здесь иронически, даже ехидно!

Что ж, был его, как уже не раз отмечалось, был не сахар. И малой доли тех передраг, которые выпали на его долю, хватило бы, чтобы не одного розовощекого энтузиаста повергнуть в уныние. Однако оптимизм Чекмарева был замешен на крутых дрожжах. Не житейским пустякам было вышибить его из седла. И не то чтобы он сдерживался, держал себя в руках, демонстрировал силу воли... Жизнерадостность, да простится мне многократное повторение этого слова, бодрость и энергия, помноженные на неистребимое любопытство, не созерцательное, а деятельное, бьющее ключом, — это для Чекмарева есте-

ственное состояние. И на это тоже есть свои причины.

«Я рад, что честно могу смотреть в синие коровьи глаза, что я не изменил зоотехническому делу ради какой-то свеклы или морковки, как ты», — продолжает он свое письмо другу. И на следующей странице мы видим, как те же мысли и чувства, одобренные в письме улыбкой, звучат патетически в написанном по свежим следам стихотворении:

По черным лесам,
по огромным равнинам,
Во всех концах
необъятной карты
Гудят призывы: «Кадры нужны нам!»
Дайте кадры!...
«Нужны зоотехники!»
Директора!»

И вот он уже по дороге на восток, пока только на практику. «Мы потратили на путешествие шестьдесят четыре часа и два часа потеряли благодаря вращению Земли. Черт бы побрал проклятую вертушку! Людям дорога каждая секунда, а она вертится». Вот и попробуй разять здесь шутовское и серьезное.

Поэтическое видение невозможно без поэтического одушевления, а оно, в свою очередь, не уживается с равнодушием, инертностью, пассивностью, ленью души или тела. Оно, поэтическое одушевление, питается непрерывной внутренней работой личности, которая и превращает в образ все, чего ни коснется взор.

В селе Еманжелинка Чекмарев натывается на нежелание бедняков идти в колхоз. «Классовый антагонизм мешал бедноте идти в колхоз, — пишет он, нарочито парадоксально излагая мысль, — где благодаря близорукости местных работников засели кулаки... Яков Чернышев состоял членом колхоза. Яков Чернышев — кулак, об издевательствах которого над батраками ходят рассказы по всей Еманжелинке... Комсомольская ячейка первая заинтересовалась разговорами на селе о Чернышеве... Уже в день чистки было подано несколько заявлений в колхоз, а затем выпал снег маленьких белых листочков-заявлений — хороший подарок второй большевистской весне. «Вокзал» (так называлась улица, где жили бедняки) зашумел, заволновался. Одна за другой его хаты стали прицепляться к колхозному поезду».

Весь этот эпизод, описанный в письме к родным, занимает полторы страницы. Но только серьезный политик мог так глубоко разобраться в ситуации, только человек, знакомый с дисциплиной мысли, так лаконично изложить суть. И только истинный поэт, влюбленный в предмет своего творчества, мог найти столь емкие и живые образы.

Вот он приезжает в Еткуль, не без сожаления покидая Еманжелинку. «Что такое Еткуль? Это прежде всего сеть прямоугольных улиц, так, дворов во-семьсот, опущенных колючим снегом и украшенных ставнями. Затем — это четыре тысячи сердец, это во-семь тысяч разноцветных глаз». Чекмарев любит эти сердца, любит весну в полях и ее творческую работу: «Она в волнении сажала кляксы; не находя рифмы, она в отчаянии перечеркивала целые поля. Одна-ко я верю в ее талант».

Весну, как, впрочем, и зиму, он записывает себе в союзники. «Право, можно подумать, что зима записалась в ударницы и снова принялась за работу. Ведь уже начались разговоры о том, что снегу мало, что предстоит неурожай. Эта мысль, придя, сразу попросилась в стихи... рискну их выпустить на этой странице. Не пропадать же добру —!».

И вот несколько строк из стихотворения:
Отбалагури
и отсвистев,

Уходит
зима на покой.
И так и ушла бы,
если бы
степь
Не начала речи такой:
«Послушай, зима!..»

Цитаты могут показаться чересчур длинными, но и сократить их не поднимается рука. Ведь перед нами лаборатория поэта. Творческий акт — его зарождение, движение, результат:

Так падай,
падай,
ударный снег.
Усеньвай степи вокруг!
Ты нужен
второй
большевистской
весне.
Ты пахарю —
верный друг.

«Эти стихи, — продолжает Чекмарев, снова переходя на прозу, — согревали меня долгой дорогой. В самом деле: если при умственном труде затрачивается энергия (а это так и есть), то, по законам физики, часть ее идет на теплоту. И ей-богу, когда я подходил нужную строчку, то сразу, как ток проходил по телу, и даже оочевенные ноги согревались».

Читая эту книгу, как бы заново открываешь, что стихи и смиренная проза сделаны из одного теста.

Трудно сказать, кем бы мог стать Чекмарев по преимуществу, прозаиком или поэтом, но в дневниках его проза обгоняет поэзию. Она, как заготовка для токаря, поковка для кузнеца. Читая Чекмарева, порой словно в кузнице и находишься, где на твоих глазах раздувают мехами пламя, хватают щипцами раскаленный кусок металла и сильными, искусными ударами молота придают ему нужную форму. Читая Чекмарева, догадываешься, что люди создали стихотворную речь для того, чтобы лаконичнее, точнее, образнее выражать свою мысль, сплавленную с чувством.

Впрочем, здесь, кажется, есть смысл остановиться и подумать о том, какой сильный аргумент даем мы тем, кто хотел бы по-своему объяснить поэтическое одушевление Сергея Чекмарева, его иммунитет по отношению к невзгодам и испытаниям жизни. Он, мол, поэтическая натура, и этим все сказано. Человек, для которого литературное творчество и только оно источник радостей, наслаждений и переживаний, источник высшего порядка, доступный лишь избранным. Что же касается всего окружающего, то оно лишь сырье, материал, который люди переплавляют в строчки стихов. Все это лишь источник поэтических переживаний. И тут чем больше эмоций, стрессов, говоря по-сегодняшнему, тем в конечном-то счете лучше.

Чекмарев как будто и не возражает против такого толкования, он даже сам подводит нас к нему — своим объяснениями в любви к слову, к карандашу, к письменному столу, которые для него так же, как «чужак трактор», как «умная морда трамвая», имеют свое лицо, характер, свою магию. «Неуловимый строй речи, знакомые закорючки букв, еле слышимый аромат души — вот что должен нести в себе четырехугольник белой бумаги», — пишет поэт, никогда не увидевший ни одной своей строки, набранной типографским шрифтом.

«...Когда со мной что-нибудь интересное случается, мне невольно думается, как я это опишу. Я слежу иногда за собой, как за героем романа, думаю: «Вот это завязка», — гадаю, как пойдет дело, лишь для того, чтобы все это описать».

Может ли признание быть более красноречивым? Но вот и еще: «Пишу тебе, сидя в Уфимском доме

крестьянина. Вообрази: полутемная низкая комната — мрачная, черная... По стенам — сорок шесть железных коек... Но не думай, что все это меня угнетает, плюю я на такие пустяки. Тем более что стол есть, карандаш есть, бумага есть — а чего мне больше надо? Сажу и пишу... О чем буду писать? Да все буду переносить на бумагу, что только вспомнится, что в голову взбредет».

Вот уж поистине подарок тому, кто именно в этих последних строках и именно потому, что они кажутся такими случайными, захочет отыскать ключ к творчеству Чекмарева. А между тем о чем свидетельствуют приведенные строки? Первые — о том, что Чекмарев действительно поэт, как говорят, до кончика ногтей. Последние же — что о самом сокровенном он предпочитал говорить с улыбкой, с нарочитой небрежностью, что выдает лишь скромность и глубокое уважение к собственному призванию, скрываемому пока от всех, кроме самых близких. Нет, сказать о Чекмареве, что он поэт, — еще далеко не все сказать. Немногом больше, может быть, чем сказать, что он зоотехник.

С таким же успехом, на основании все той же книжки мы могли бы сказать, что Сергей Чекмарев — врожденный педагог, знающий пути и к детским сердцам и к душам взрослым. Вспомним хотя бы его письмо младшим братьям и сестрам своим о пользе издания семейной стенной газеты «Метеор». Это одно из ранних произведений Чекмарева, оно легко может остаться незамеченным. Но посмотрите, сколько в нем душевного такта, настойчивости, понимания детской психологии, житейской не по возрасту мудрости, какая, не побоюсь этого слова, энциклопедичность. Предстоит лишь решить, пишет он, укоряя лентяев, «сочинять ли новые отговорки или материал для «Метеора». И дальше — веселый, задорный, афористичный обстрел всех этих ребячьих отговорок.

В этом, таком шутовском и одновременно серьезном монологе личность Чекмарева отразилась ничуть не меньше, чем в самых зрелых его стихотворениях. Вот еще одна счастливая особенность — отдаваться каждому, большому или малому делу так, что самоотдача становится и обретением.

Дилетантом он не умел быть ни в чем.

«Увы! — пишет он, постунив, в общем-то, вынужденно в сельскохозяйственный институт в Воронеж. — Я уже бросил писать стихи, или не бросил, вернее, а уронил. Теперь я по магазинам нищу не Кирсанова, и не Сельвинского, и даже не Вл. Вл., а «Зооветминимум», «Организацию труда в колхозах»... Я болен страстью к этим книгам. Скудные, серые брошюры наполнились для меня жизнью и кровью...»

Засилье американских кинобоевиков с Гарри Пилем рождает такую поэтическую реакцию:

Чтобы сделать кино
хорошее.
Избавить
мозги от туманной гари.
Давайте с экрана
прогоним в шею
«Замечательного
Гарри».

Радио принесло трагическую весть о казни Сакко и Ванцетти:

Чтобы эту боль
не забыть второпях
Не простить озверелой банде.
Я хочу на своих
полотняных стихах
Завязать узелок
для памяти.

С прозорливостью, которой лишены были, увы, многие активно выступавшие тогда литературоведы и критики, Чекмарев пишет в своих дневниках об открытых и завуалированных напаках на Маяковского:

«Наконец-то начало выходить полное собрание сочинений Хлебникова. Факт этот сам по себе положительный. Но некоторые критики стремятся, отвовав себе Хлебникова (где же они были при жизни поэта?), ударить им по своим литературным неприятелям... Тенденция ясна: лепить гипсовые бюсты Хлебникова и разбивать их о головы современных поэтов. Больше всех, конечно, попадает Маяковскому. Это дурная тенденция».

Честное слово, в сегодняшних литературно-критических статьях, принадлежащих зрелым литературным ратникам, поискать да поискать таких строк, такой пронизательности, глубины и образности мысли.

Что же касается опыта литературного памфлета «О мамонтах», занимающего всего полстраницы, то это просто шедевр, который так и хочется привести целиком. Чекмарев восстает в нем против книги Шенгели «Маяковский во весь рост». «Мамонты еще не редки в наше время, но они тяжеловесны, любят ученые слова, они надевают на лицо внешнюю доброжелательность к новому искусству». Простим здесь совсем еще юному памфлетисту некоторую неуклюжесть слога. Посмотрим дальше. «Автор этой книжки развязен, популярен и откровенен, он решительно написал то, что некоторые маля во рту, не решаясь высказать, а именно, что поэзия Маяковского — это «шутство», «хулиганство», «идиотство», но никак не поэзия. Уже одно это делает книгу ценной. Когда-нибудь, лет через сорок, по этой книге будут изучать психологию мамонтов, подумал я».

Появился этот памфлет в печати тогда, когда он написан, то есть в конце двадцатых годов, он не одного, наверное, «мамонта» выгнал бы из критических джунглей. Он наверняка был бы замечен и самим «Вл. Вл.».

Подведем же некоторые итоги. Чекмарев — натура глубоко творческая, деятельная, наделенная способностью и страстью преобразовывать и преображать все, к чему ни прикоснется. Этот вывод, уже обозначенный вначале, мы теперь можем повторить с еще большей убежденностью. Творческое начало, благородно направленное и соединенное с разносторонней, активно выявляющей себя талантливостью, — вот что такое Чекмарев, человек тридцатых годов. Направленность таланту давала жизнь.

О каких бы серьезных вещах ни говорил Чекмарев, нигде, ни в слове, ни в интонации, и намека нет на ходули. Каких бы глубоко интимных или сугубо бытовых, житейских забот он ни касался, никогда не грозил ему хотя бы мимолетное погружение в пошлость, в мелодраму. Не слышно в его голосе ни пришепетывания, ни хихиканья.

Так говорить, писать, чувствовать и мыслить мог человек не только очень талантливый и чистый, но еще и очень свой в том мире, в котором он живет. Да, Сергей всюду свой в этом мире и в этом времени — и на задних скамьях «Политехнички», откуда он жадно и пристрастно следит за литературными баталиями Маяковского, и на практике в воронежских селах, куда он является «командиром азбуки», и в институте, в Москве, в общении с друзьями, родными. И, наконец, в степях Башкирии, где он носит, обдуваемый всеми холодными и злыми ветрами времени, от гурта к гурту, от отделения к отделению, обуреваемый великой любовью к людям, неразделенной страстью к Тоне, отчаянием и вдохновением, усталостью и тоской по всему домашнему и решимостью переделать здесь все на новый лад.

Именно это ощущение причастности и создает тот особый настрой, настой чекмаревского слова, который и сегодня, спустя сорок лет, как тот «травы степной пучок сухой», источает аромат времени и «все обаяние» его воскрешает.

Людьми, способными до конца быть преданными идее, людьми служения, назовем это так, принято восхищаться, особенно после того, когда приходит к ним признание официальное, общественное. Но к ним же, к таким людям, часто относятся и с толикой жалости, сострадания, а то и пренебрежения. Еще бы, ведь служа столь самоотверженно идее, будущему, они сегодня неизбежно лишают себя чего-то такого, что свойственно другим, обыкновенным людям. Мы уже встречались с таким отношением к Островскому, сталкиваемся с ним и впредь.

Чекмарев в отличие от Островского и даже от Щеглова не дождался признания. Он и не задумывался о нем. Но в тогу неудачника, чудака, то ли не замечавшего своих поражений, то ли просто делающего такой вид, его пытались вырядить не раз. Он протестовал против этого со всей пылкостью своей натуры, и протест его тоже был плодотворен:

Мне часто враги твердили
Да и приятели тоже:
«В этом хитро устроенном мире
Ты глуп дорогой Сережа,
Ты будешь всегда всех ниже
Да и умрешь без славы».
Увы мне. Теперь я вижу,
Что все они были правы.

Это — в шутку. А вот всерьез. «Глупы были люди, которые жалели меня в Москве. Вот-де сказать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста, — едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикое место да еще на постоянную работу.

Что же, вот я в глуши, в степи, на постоянной работе — и очень доволен. Почему? Работать здесь — это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это трудно. Но лучше трудно, чем нудно, так я считаю».

Вслушайтесь, ведь это голос Николая Островского, который, ведя другую борьбу, но тоже за право и обязанность жить активно, дышать полной грудью, творить и действовать, скажет уже знакомое нам: «Я думаю, что лучше жить в уборной и написать книгу, нежели два года добиваться квартиры и из-за этого ничего не написать».

А вслед за ними, за Островским, за Чекмаревым, об этом же скажут, каждый по-своему, многие молодые люди последующих поколений. Как Островский был первым из тех, кто, прожив новую жизнь, первым и сказал о ней по-новому, так и Чекмарев и в жизни своей и в творчестве явился прообразом, предтечей тех молодых ударников-добровольцев, которые шли и идут наперекор всем бытовым охам туда, где всего труднее и, стало быть, интереснее, — на Магнитку и в Комсомольск-на-Амуре, на целинные земли и строительство Братской ГЭС, а потом КамАЗа...

Сергей прожил свою жизнь одним из первых добровольцев и заявить об этой доле сумел и раньше и ярче других.

Разные жизни. Разные судьбы. Разные условия и разные слова. Но то общее, что роднит между собой буденновского конника и, как мы теперь говорим, молодого специалиста тридцатых годов, это общее, мелькнув однажды, не исчезнет, а будет становиться все отчетливее. Точно так же, как и объединяющее их противостояние всему мелкому, слабому, неустойчивому.

Судьбе угодно было так распорядиться, что все столь непохожее, несвойственное Сергею, противо-

стоящее ему — робость перед жизнью, перед необычным в ней, нерешительность, подверженность влияниям, приверженность к готовым решениям, неспособность к сильным движениям души — соединилось в человеке, который в пору зрелости Сергея был для него дорожкой всех. Это его первая и единственная любовь, это Тоня. Тому, кто еще не уяснил себе до конца разницу между так называемым «обыкновенным» человеком и необыкновенным, тому, кто еще колеблется в выборе, раздумывая, какая же участь предпочтительнее, хочется посоветовать повнимательнее взглянуть в портрет Тони, тем более что нарисован он рукой бесконечно любящего и, значит, безгранично снисходительного человека.

И в жизни и в письмах Чекмарев готов простить Тоне многое, очень многое, чего «обыкновенный» человек был бы простить, пожалуй, и не в силах. Например, любовь к другому, постоянные колебания между Сергеем и этим другим, отцом ее ребенка, бесконечные приезды и отъезды. Тоня вовсе не злой гений Сергея. И тем более не экспонат эгоизма, бессердечия, равнодушия к людям. Она именно обыкновенный человек, «тем и интересна». Она хочет жить «как все» — немного любви, немного семейного счастья, немного удобств...

Но вот именно этого «немногого» и не может дать ей Сергей. Простивший ей все, готовый, кажется, пойти на любые уступки, он не может ей уступить одного — смысла своей жизни, своего труда, своей одержимости. Следуя принципу «наоборот», мы именно за это и должны бы были упрекнуть его. За то, что для него, «сухаря», дело оказалось дороже любви, за то, что у него «никогда не хватит духу... покинуть степь, гурты, гнедую. И голубые глаза телят». Но есть, видимо, такое в человеке, через что он не может переступить, не потеряв себя. Для Тони это одно, для Сергея — нечто совсем другое.

«Ты пишешь: может быть, мне удастся вырваться. Тоня, куда я вырвусь, зачем я вырвусь?» — сама интонация этих строк убеждает нас в том, что спор между ними давний и безнадежный. «Нет уж, — продолжает Сергей, — чтобы быть нам вместе, есть только один способ — тебе приехать сюда, поэтому приезжай, не медли».

Сильного оплодотворяют и невзгоды, слабый вянет и в тепличных условиях. Раздирающий душу спор с Тоней, отчаяние и надежда, сменяющие друг друга, вызвали к жизни строки, которые встанут в один ряд с лучшими произведениями советской гражданской и лирической поэзии:

Ременной подпругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О Гнедой, она убежала.
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И усакала в Москву.
Оставила Даше гребенку.
А нам с тобою — тоску.
К белой бумаге неба
Приложена солнца печать.
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докричать...

Подобно герою былинного эпоса, он вызывает к ветру:

Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь,
...что мир велик.
Не только Москва на свете.
Существует и Таналык.

Обращается к покинувшей его любимой:

Скажи мне, неужели ты
со скукой смотришь на небо?
И жизнь тебя измучила
и кажется сера?

И как в реку бросаются,
не глядя, хоть куда-нибудь,
Бежать тебе хотелось бы
из этого села?
А мне минуты кажутся
чудесными и гордыми,
По книгам буквы ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными мордами,
И избы озаряются
улыбками детей...

Венцом этого спора, который по накалу и возвышенности страстей не уступит самым драматическим сюжетам мирового искусства, самой высокой и звучной нотой этой симфонии является стихотворение «Размышление на станции Каргалы», которое, впрочем, просто грешно было бы цитировать. Его надо читать полностью. Читать и перечитывать.

...Предрассудок, согласно которому человек служения, люди идеи должны внешне, поведением, образом жизни быть отличными от других, настолько распространен, что они и сами подчас поддаются под его влияние. Начинают стесняться открытого проявления чувств, чрезмерной, к примеру, жизнерадостности и вообще всякой непосредственности. Начинают, наконец, подобно обывателю, жалеть себя или, во всяком случае, относиться к себе с повышенным сочувствием.

Надо добавить, что подобного рода уступки мещанской, мелкобуржуазной морали, как свидетельствует история, всегда оказывались на руку разного рода лицемерам, приспособленцам, которые с большим удовольствием перенимали и культивировали все внешнее, — например, показной аскетизм в быту, подчеркнутую строгость манер, решительность голоса, наконец, угрюмость поведения, продиктованные якобы неустанным радеванием о судьбах человечества. Жесткость по отношению к другим естественна и даже желательна. Улыбка — редкий гость. Радость и шутка почти невозможны.

Так ракушки, налипая на остов корабля, мешают понять, из чего же он сделан. Да, да, именно лицемерам, перестраховщикам и приспособленцам, которым и псыне нейдет, мы обязаны тем, что слово «идейный» стало звучать чуть ли не иронически. Вслушайтесь: «Он у нас идейный». Или: «Что вы хотите, это идейный». А то и еще грубее: «Осторожнее, ребята, идейный идет». Говорится «идейный», а слышится в лучшем случае прямолинейный, а то и дубоватый. В пятидесятых годах один из наших героев, знакомство с которым впереди, Виктор Головинский, в студенческие лета свои скажет просто-душно об одном ленинградском артисте: «Как живо, образно он говорит! Новые, смелые мысли, ни одного штампа, а ведь все очень идейно».

Как много горького и несправедливого заключено в этом «а ведь»!

Чекмарев не боится так называемых громких слов, когда они нужны ему, чтобы точно выразить волнующую его мысль.

«В детстве я мечтал быть гением, — пишет Сергей брату, — неверно мечтал, думал, как дважды два, и я не знаменит. Более того, теперь я полным человеком хочу быть... Гений узок: у него или только ухо — он музыкант, или один глаз — он художник, и больше ни о чем на свете не думает... А полный человек — это нечто совсем другое. Это человек всесторонне развитый — физически, умственно, способный глубоко чувствовать, обладающий хорошими моральными качествами: смелостью, правдивостью, чуждостью и т. п. Я тоже хочу быть таким человеком. Это трудно, но я хочу».

По сравнению со всем, что нам довелось уже прочитать у Чекмарева, это звучит, пожалуй, даже пря-

молинейно, не правда ли? Но это та простота, что рождается от глубины и ясности мысли, благородства переживаний. Простота, которой не надо прихорашиваться. Нет нужды.

Мир, время, личность поэта, встающие со страниц книги Сергея Чекмарева, многоцветны. В этом мире есть все, что окружало поэта в жизни. В том числе и злопыхательство обывателя, пули кулаков, бюрократизм чиновников, ошибки честных и лицемерие пролаз. Нытье малодушных и неверность друзей... Нет, этот мир не назовешь одномерным, и он отнюдь не розов. Но ни одна из темных красок, как бы ни была она крупно и резко положена, не способна исказить общий колорит.

Социальный оптимизм, сливаясь воедино с поэтической одушевленностью, и дает Чекмареву те крылья, которые мощно вздымают его над тем, что «заедает» жизнь «обыкновенного человека», вся обыкновенность которого прежде всего и состоит в отсутствии ясно выраженной цели, сильной воли, определенности характера. «Героизм — это видеть мир таким, каков он есть, и любить его», — писал Ромен Роллан.

«Характер страстный и без рисовки героичный», — сказал о Чекмареве Федин. Определение точное и мудрое. Без рисовки героичный — вот вам и ответ на вопросы, поставленные жизнью и творчеством Сергея Чекмарева. И для того, кто родился и вырос таким, — это действительно и удача, и наказание, и полная ноша, и счастливая судьба. В какие бы времена он ни родился.

МЫ — В ЛАГЕРЕ ДОБРА!

Николай Островский был недвижим последние годы своей жизни. Но юность и молодость его прошли в гуще событий невиданного накала, в самом эпицентре «бучи, боевой и кипучей», — лихие атаки с саблей в руках в коннице Буденного, подполье отторгнутой врагом Украины, трудовой фронт, споры и схватки с оппозицией — короткие годы, спрессованные до отказа события, которых хватило бы на десять жизней.

Вся сознательная жизнь Сергея Чекмарева, от первого до последнего дня, была наполнена радостью борьбы, движения. Это была жизнь человека, дух и тело которого были полностью в его воле. Марк Щеглов не знал тех радостей, которые выпадают на долю почти каждого ребенка, в каких бы условиях ни проходило его детство. С ранних лет он заболел костным туберкулезом, и тогда, когда его сверстники, на чью долю выпало потом довоевывать войну, учились, играли в Чапаева, сдавали нормы ГТО, занимались в комсомольских кружках и секциях, он, закованный в гипсовые кандалы, кочевал из больницы в больницу, из диспансера в санаторий — и часто месяцами, а то и годами спутниками и собеседниками его были лишь книги. Книги и книги.

Заочно он окончил среднюю школу. Заочно начал учиться в университете. Но потом, одержав временный перевес в единоборстве с болезнью, перешел на очное отделение русской литературы филологического факультета МГУ, которое и окончил в 1953 году, получив диплом с отличием. Я сказал в единоборстве, и это неверно, ибо в университетские годы Щеглов сражался с болезнью уже плечом к плечу с друзьями. Это чувство дружбы, чувство локтя, ощущение поддержки дают ему силы для учения и для творчества. Оно не покидает его до самой смерти, которая настала его через три года после окончания университета, в 1956 году. По сути дела, только три эти года и были ему отпущены для самостоятельной творче-

ской работы, и за эти три года он написал два десятка блестящих, глубоких, исполненных огня и мысли литературно-критических статей и рецензий, которые поставили его в ряд крупнейших критиков нашей литературы.

Но здесь я вынужден отвлечься от основной темы повествования, позволить себе небольшое лирическое отступление. Так уж случилось, что каждый из героев этой главы входил в мою жизнь именно тогда, когда был особенно, ну, позарез необходим. Приходил, чтобы потом навсегда уже быть рядом. Товарищем, советчиком, исповедником, наконец. И напоминанием о долге, который надо вернуть, рассказав об этих освещающих тебе путь жизнях. Долге не перед ними, умершими, а перед живыми, перед теми, кто их не знает совсем или задержался рядом лишь на минуту, только и успев в суете бытия скользнуть взглядом по страницам чужой жизни.

Вернуться к ним никогда не поздно. Но чем раньше произойдет встреча, тем больше она принесет с собой.

Признаюсь и в том, что главная встреча с самым старшим и самым известным и вообще «самым, самым» произошла позднее других. Конечно же, было, как и у всех, в самые ранние годы, «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». Но сначала — как увлекательное мальчишеское чтение, потом — как святыня, о которой с почтением говорят, но о которой не всегда помнят. К Островскому меня привели вновь его наследники.

Сергей Чекмарев погиб, когда я только-только появился на свет. Марка Щеглова и Виктора Головинского я знал, виделся — с одним в Москве, с другим на Алтае. Но и тут истинное знакомство произошло, увы, лишь тогда, когда их не было уже в живых. Они умерли в один год. Как часто мы прикасаемся к сокровенному в людях лишь тогда, когда читаем о них или написанное ими!

Когда у тебя документ, подобный «Студенческим тетрадям» Марка Щеглова, трудно прочитать хотя бы страницу, чтобы не взяться за карандаш. Хочешь подчеркнуть отдельные строки, а отчеркиваешь запись за записью.

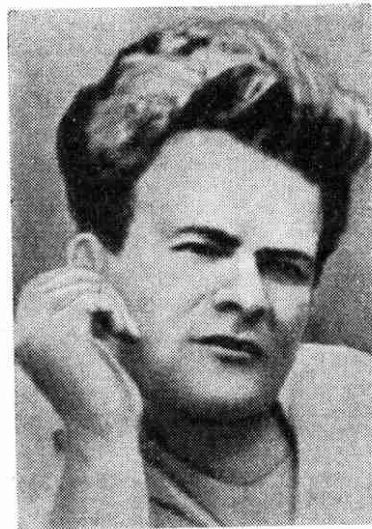
Начало пятидесятых... Мы были тогда совсем еще молоды, но уже и достаточно взрослые, чтобы ощутить драматизм и величие происходящего. В войну мы завидовали тем, кто чуть старше. Теперь же понимали, что с возрастом и нам повезло. В пору решающих размышлений мы были уже способны и судить и действовать. В этом наше преимущество перед младшими. Нелепо говорить у нас о конфликте поколений, но нельзя и не различать их. Различия есть. Каждое несет на себе черты времени. И каждое по своему одарено и обделено.

Мы знаем такое, чего не знают двадцатилетние, но сами лишь слышали о многом, что пережили и испытали наши старшие. И в этом смысле каждое предшествующее поколение в чем-то сильнее последующего. Но до поры до времени, конечно. Потому что и каждое последующее хочет знать, трудом и борьбой добывать новые знания и понимание жизни. Но, преодолевая продвигаясь вперед, несет и неизбежные потери.

Так бывает с каждым поколением. Но, пожалуй, никогда еще молодежи у нас не заглядывала в лицо минувшему так пылко, требовательно и пристрастно, никогда еще, кажется, прошлое, а вернее, отношение к нему не значило так много для настоящего, как в годы, которыми помечены «Тетради» Щеглова.

Говоря о себе, Щеглов нарисовал портрет времени — такого давнего и недавнего одновременно. И, застав дыхание, мы всматриваемся в его черты.

Марку двадцать два года. Он очень болен. Вот, пре-



Марк Щеглов.

возмогая слабость, встает он с постели и едет в университет. Ему надо во что бы то ни стало договориться в ректорате о переводе на очный филологический факультет. Он не может продолжать учебу без стипендии. Перед его глазами — лицо матери, усталой и тоже больной... Марк не возлагает особых надежд на предстоящий, уже не первый, разговор. Перспектива, и вполне реальная, бесконечных ожиданий в приемных и скитаний из кабинета в кабинет угнетает его.

Получив очередной отказ, он возвращается домой. По осенней Москве, еще не сбросившей сумеречные краски военных лет. Мимо скудных витрин. В толпе людей в ватниках, кирзовых сапогах, грубых брезентовых плащах и пальто.

Нелегкое время. Трудная судьба. Но послушайте, какие песни звучат в душе этого человека, посмотрите, с каким радостным и нетерпеливым чувством оглядывается он вокруг. Как ему дорого и мило то, чем живут его сверстники!

«...Сейчас я весь в другом, — пишет он, как бы отстраняя, отодвигая в сторону невзгоды, болезни, хлопоты. — Университет, книги, новые люди — жизнь, любимейшая жизнь охватывает меня, и так многого мне хочется».

И это не просто естественное тяготение больного к здоровым, к их миру. Представление Марка о большой жизни, к которой он жаждет приобщиться и к которой, в сущности, не перестает жить, вполне определенное. Его пристрастия и идеалы окрашены предельно четко.

«Мне необычайно радостно себя, нас, моих сверстников видеть абсолютно правыми в основном, в главном — в нашем романтически приподнятом ощущении жизни...» — пишет он все в том же 1947 году. — Отсюда все остальное — доблесть, радость, дружба, убежденность и многое еще...»

Личное, субъективное, связанное прежде всего с болезнью, угнетает, порой доводит до отчаяния. Общее, главное, то, чему отданы люди, чему они служат, размыкает кольцо боли, помогает бороться и побеждать.

«Нет, нет, не знаю, как смогу я сохранить те крохи бодрости и молодости, которые я еще не растерял... если я не глотну чистого воздуха юности, здоровья, задора, труда, лирики, умничанья, чистого воздуха тех будней, которые захватывают, зовут меня каждый раз, как я попадаю в университет».

А вот и зримые, осязаемые приметы этих будней.

Щедрой рукой автор разбросал их по дневнику, словно предвидя то время, когда для молодежи так важна будет каждая строка этого живого, не деформированного годами свидетельства.

«Вот вчера я зашел на факультет. В тесном вестибюле толпа парней и девушек обступила какого-то преподавателя и выпытывает у него все, что можно выпытать о внутривидовой борьбе, о трудах Лысенко, и здесь же вступают в спор между собой и с самим преподавателем. Шум, смех. Слышно: «Он стоит на ламаркистских позициях!.. Внутривидовая борьба существует!.. А как же Лысенко?.. Это революция в ботанике! В своих статьях...»

У филологов свои проблемы. «Весна, гормоны, экзамены, борьба идей и прочее. Теперь филологический факультет подвержен расколу на два противоположных лагеря: марристов и немарристов...»

Вот Марк на обсуждении фильма «Сельская учительница». Снова в милой его сердцу атмосфере студенческой дискуссии. Вместе со всеми возмущается он поданной в президиум запиской: «Теперь, когда нас, педагогов, будутсылать в Сибирь, все время будутсылаться на ваш фильм». И в то же время негодует по поводу выступления критика-проработчика «с лицом злого доки и эгоиста», который «ушел с кафедр... с видом оскорбленного величия, полный пренебрежения и злобы к топящему и хохочущему залу».

Все симпатии Щеглова — этому залу. «Вообще народ у нас в университете замечательный. Подумать только, сегодня на дворе жуткая слякотища, гололед, и дождь, и ветер, а философы, например, усталые после учебного дня, дружно собираются куда-то к черту на кулички, в Серебряный бор, в подшефный избирательный участок. И все с подъемом, весело, будто это пустяк».

Щеглов поистине упивается каждым событием этой жизни, и мы видим, как дух ее растит человека, формирует критика, помогает стать на ноги инвалиду. И не только общим своим настроением, но и самым простым и осязаемым вниманием, участием.

«...В этом мире «чуть что не так — весна»... Вся эта история долгих хлопот, и участие, которое принял во мне университет, и такие лестные характеристики, и все-все — так это необыкновенно, так книжно идеально, и в то же время со мной же это происходит и на самом же деле!.. Это не просто эпизод для восхищения соседок и знакомых, это отрывок нашего чудесного, милого времени, которое умеет казаться бедняг образовывать в завзятых оптимистов, влюбленных в жизнь...»

И, честное слово, трудно удержаться, чтобы не привести еще одно место, в котором эта его «любимейшая жизнь» предстает перед нами в наиболее обобщенной и одновременно чувственно-осязаемой форме: «Захожу в боковой зал-аудиторию. У стен, у столов и на столах студенты, и опять вокруг споры, смех, умные лица над книгами. А в углу у окна две девушки в накинутых на плечи пальтишках, и третья тихонько наигрывает, разбирает рахманиновский романс «Не пой, красавица...». И так все хорошо: и этот зал, уставленный столами, и обилие книг, и высокий полусвет из окон, и девушки, и Рахманинов, и вся эта обстановка умной и веселой жизни... так и отдает атмосферой молодого, трудового комсомольского мира...»

«...Так все хорошо!» — восклицает он. А между тем та атмосфера «романтически приподнятого ощущения жизни», бодрости и оптимизма, в которую нас погружают «Студенческие тетради» Щеглова, окрашивается в глазах иного подрастающего человека лишь в линиялы, унылые тона. Взору его рисуются картины плоской, регламентированной жизни и взаимной отчужденности...

И вот теперь, столкнувшись с совершенно иным свидетельством, применительно к тому времени, когда совершалось столько несправедливостей, осужденных впоследствии партией, молодой наш читатель, быть может, задает себе и другим вопросы: «А можно ли здесь говорить об оптимистическом, радостном настроении? И что он такое, этот вот «романтический настрой»? Не слепота ли и недомыслие? И не полетел ли он вверх тормашками после 1953 года?»

Не постесняемся же задать эти вопросы и Марку Щеглову, раз мы взяли его в свидетели. Будь он жив, он не обиделся бы. Он умер. Поищем ответа в «Тетрадах».

Мы увидим, какое возмущение, какой протест рождали, какой повод для тягостных раздумий и недоумений давали Щеглову некоторые наблюдаемые им в жизни явления, которые никак не гармонизовали с «атмосферой молодого, трудового, комсомольского мира». Вдумаемся в них еще раз.

Вспомним разительный диалог Щеглова с Б. и слова, вырвавшиеся из самой глубины души Марка — этого бесконечно доброго и справедливого человека: «У, чинуша, законченный тип буквоеда, бюрократа без души и человечности...» Нет, не личная обида только, не отчаяние больного и неудачника продиктовали эти слова, а естественное и здоровое отвращение к язве равнодушия, к рабской подчиненности букве, обожаемому циркуляру...

А вспомним брезгливую улыбку Щеглова, слушавшего критика-проработчика, который на глазах аудитории искусство разымал, как труп. Вспомним, что он пишет о пьесе-подделке, каких немало рождалось тогда: «Неискренняя пьеса. Вместо живых образов какие-то плакатные, плоские фигуры. Всем как будто наделены: и революционная юность, и трудовое подвижничество, и патриотизм, — а не веришь, что это действительно так. Говорят каким-то жестяным языком вещи, ставшие уже двадцать лет тому назад трюизмами».

Не проходит Марк Щеглов и мимо волновавших всех в ту пору споров о судьбах и развитии советской музыки. Он с убежденностью говорит о своем «несогласии с «закрытием» Шостаковича и Прокофьева, с категорическим обвинением их в формализме».

И, наконец, чрезвычайно важны те страницы, по которым мы можем судить о Щеглове после 1953-го. Не полетел ли действительно вверх тормашками весь его оптимизм? Нет! «Мы живем в необыкновенное, суровое, полное неожиданного-негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей. Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать — и сколько всех нас откликнется! — то можно ли терять голову! Все будет хорошо!»

Нет, как видим, никогда не был Щеглов славословом, никогда он не был «механическим гражданином». И гнев его был осознанным и оптимизм — глубоким, искренним, выношенным. Есть у него слова — как удар тока. В них дыхание истины. Это из письма Щеглова другу:

«Мы с тобой в лагере Добра — прирожденно, и это во всяком случае предопределяет все наши раздумья и поступки».

Размышляя над сказанным, невольно вспоминаешь свое, с детства сохранившееся ощущение, своеобразную «сумму уверенностей», которую мы словно с молоком матери впитывали: ты живешь в самой лучшей, самой славной стране — и отсюда непрерывное переживание счастья и мгновенный, леденящий испуг: а вдруг бы родился в другой? Тогда ведь это слово «в другой» не могло означать ничего, кроме «в капиталистической». А ты — в социалистической, Един-

ственной в мире. Она всех лучше, всех сильнее. В ней ничего не может быть плохого, и людей плохих нет. Это и в главном: мы строим Турксиб, Днепрогэс, сражаемся в Испании, рвемся в стратосферу, спасаем челюскинцев и Папанина. «Рот фронт!» — поднимаем вверх кулаки, приветствуя антифашистов Германии.

И в малом: читаешь в книге о взятках — у нас такого не должно быть, слышишь о ворах, о преступниках — их все равно всех перевоспитают...

Теперь же отчетливо видишь, что в этом ощущении и сила твоя и слабость. И тем более ощущаешь необходимость разобраться, откуда что.

«Мы в лагере Добра...» — вот главная уверенность, и ее мы черпаем в реальных и непреходящих деяниях партии, народа, государства, во всей впервые провозглашенной и утвержденной системе политических, социальных и художественных взглядов. Это делало и делает людей сильными. А то, что все деяния долгое время связывали и даже отождествляли с одним именем, было трагическим заблуждением. И мы знаем, что заблуждение это могло твердого, как сталь, сделать твердолобым, прозорливого — слепцом, убежденного — легковверным, самоотверженного — робким.

Тем еще и ценны и важны сейчас для нас «Студенческие тетради» Щеглова, что всем своим содержанием, а также фактом своего рождения именно в то сложное для понимания молодых время они как бы предостерегают нас от односторонности, призывают мыслить глубоко, последовательно и трезво, тщательно взвешивать все «за» и «против», не бросаться из крайности в крайность, вырабатывать истинно самостоятельный взгляд на вещи.

Еще и тем ценны для нас «Студенческие тетради» Марка Щеглова, что, предвзято его литературно-критические статьи, созданные уже после 1953 года, они ни в чем не входят в противоречие с этими работами зрелого мыслителя и художника. А это, согласитесь, довольно веская гарантия того, что мы имеем дело с человеком глубоким, честно и последовательно мыслящим. И уже это одно не может не вызывать к нему интереса и уважения у каждого, кто намерен и в себе воспитывать такие же качества.

Я МОЛОДОСТЬ СВОЮ НЕ СДАЛ В АРХИВ...

Нам осталось поговорить о самом младшем из этой когорты, о человеке, который в первые годы освоения целины, а их мы не спешим еще относить к истории, был совсем еще молодым комсомольским журналистом. Он совсем из нашего времени, и, не умри он так рано и так нелепо, его, пожалуй, было бы трудно представить себе героем литературно-психологического очерка, посвященного делам и людям минувшего.

Виктор Головинский до сих пор так отчетливо стоит у меня перед глазами, что и сегодня говорить о нем как об умершем, с неизбежной в этом случае скорбной нотой кажется невозможным. Я повстречался с ним как раз в год его смерти, в самом начале целины, в Барнауле. Это был высокий, одновременно и стройный и нескладный парень, какими бывают в эту пору люди, о которых потом говорят, что в них видно породу. Кудлатый, крупный, размашистый.

Он работал корреспондентом алтайской молодежной газеты, и для меня было естественным смотреть на него как на «младшего брата нашего», тем более что он действительно был чуть моложе, работал в «младшей сестре» «Комсомолки» да еще принужден был выслушивать от меня рацеи по поводу не очень удачного очерка, присланного им в сельский отдел «Комсомольской правды». Что меня впервые заста-

вило взглянуть на него серьезнее, так это то, что к замечаниям по поводу очерка он отнесся как-то по-особому небрежно. Не то чтобы он игнорировал их или не был с ними согласен. Просто он еще до меня сам все понял и слушал больше из вежливости, как бы не желая обидеть. Это в тот-то момент, когда на мою долю, быть может, впервые выпало быть литературным судьей.

Потом были другие встречи, разговоры, обо всем — о работе, о профессии, о жизни, о любви — словом, обо всем, о чем могли говорить два недавних выпускника двух крупнейших в стране факультетов журналистики: ленинградского и московского. Потом я уехал в Москву, а он оставался на Алтае, чтобы скоро в погоне «за туманом и за запахом тайги» уйти с геологической экспедицией в Саяны. Там он заболел и, не получив помощи, умер. И вернулся ко мне уже книгой, которая называется «Лесная песня» и которая была заботливо собрана и издана его друзьями. В книге этой дневники его школьных, студенческих и последних, журналистских лет. Несколько рассказов.

И два стихотворения, ставшие последней записью в дневнике, который Виктор вел до самого смертного часа, лежа в тайге на кедровой подстилке. В одиночестве. В этих стихах, в каких-нибудь двадцати строках уложилась вся его короткая жизнь. Надежды, порывы, несвершившееся. Но сами эти стихи, его поведение в последние дни жизни — уже свершение. Приведу стихи полностью, чтобы сразу же дать представление о масштабе человека, знакомство с которым предстоит. Вот первое...

Я молодость свою не сдал в архив,
Как иногда спешат.
Едва им стукнет двадцать.
А добрых дядей крепко обложив.
Пошел пешком по Родине скитаться,
Нет, не бродягой!
Во всех ее краях
Хочу работать этими руками.
И зверя бить, и плавать на морях,
И молотком дробить в горах Саянских камень.

И второе...

Вот и осень пришла в тайгу.
Пожелтел на березе лист.
Я подняться теперь не могу
И лицом стал вечерне-мглист.
Все прошло. Отлетело лето.
Миновала кочевий пора.
Я лежу на постели из веток.
Надо мной не стоят доктора...

Опять об умершем, может воскликнуть молодой читатель. И спросить себя: что за сатанинская закономерность? Почему это именно люди, так рано разившиеся, такие яркие, умирают такими молодыми? И неужели только они и ведут дневники? Вопрос естественный, хотя и наивный. Не потому, конечно, умирают так рано, что талантливы. Просто, увы, талантливость, незаурядность человека, особенно молодого, часто становится очевидной для всех лишь после его смерти. Ибо смерть — это такой рубеж, в виду которого даже ленивые, ненаблюдательные и равнодушные становятся зорче и проницательнее.

Жизнь Виктора Головинского, и поныне наименее известного из тех, о ком мы уже говорили, его творчество, состоящее из дневника, газетных очерков и нескольких рассказов, дают нам пусть печальный, но такой необходимый повод вновь вернуться к мысли о нашем умении распознать, угадать истинное значение, ценность тех, кто нас окружает. Сделать это открытие самому, пусть только для себя, но без подсказок и вовремя. Раньше, чем замечательное оденется в мемориальную бронзу, зазвучит строками воспоминаний, посвящений, комментариев и... отдалится тем самым от тебя.

Сколько жизней, прошедших рядом с нами и оставшихся неразгаданными, преподали нам этот урок. И сколько их еще, увя, впереди!

Несправедливость природы, слепо обрушивающей свои удары, мы исправить не в силах. Но собственную, людскую, в какой ежедневно и ежечасно оказываемся виноваты друг перед другом, можем и должны. Ради людей и ради себя, ради своего нравственного «Я».

Дневники, о которых ведем мы разговор, помогут нам в этом. Помогут не только тем, что расскажут о своих авторах, познакомят с ними, прожившими свою жизнь так похоже и так непохоже на нашу. Помогут еще и тем, что заставят глазами их авторов взглянуть на окружающее и увидеть, подобно им, то, чего мы раньше не видели.

В том сущность и отличие писателя от неписателя, что он видит вокруг не только видимую для всех жизнь, но одновременно и ту, которая поселится потом в его книге, где все случайное, незначимое, мелкое будет отсечено или преображено, а все действительно знаменательное — плохое и хорошее — станет выпуклее, отчетливее, различимее.

Николай Заболоцкий, большой советский поэт, человек славной и драматической судьбы, признавался на склоне лет, что именно этой вот способности он обязан тем, что не стал пессимистом. «Путешествуя в мире очаровательных тайн, — пишет он в лирическом этюде, который так и называется «Почему я не пессимист», — истинный художник снимает с вещей и явлений пленку повседневности и говорит своему читателю:

— То, что ты привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и пригнанным взором, — на самом деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле — таинственно. Вот я снимаю пленку с твоих глаз: смотри на мир, работай в нем и радуйся, что ты — человек!»

Дневники Виктора Головинского как бы одновременно принадлежат и жизни и слову. Жизнь в них и хронологически-то очень близка к нашей и вообще похожа на нашу — твою, мою, его... И, возможно, прочитав их, многие из читателей, особенно того возраста, в котором находился сам Виктор Головинский, старшеклассники, студенты, скажут, что это как будто они сами написали, что это о них.

Виктор Головинский учился на факультете журналистики, он мечтал стать писателем, но стать им не успел. Его рассказы — лишь проба пера, лишь обещание. Главное, что он оставил, — это дневники, в которых отразилось с фотографической точностью то специфическое, что свойственно юношескому возрасту как таковому. То общее, что характерным было для первого послевоенного поколения нашей молодежи, что обогащало и обедняло его одновременно. И, наконец, то особенное, что принадлежало только ему, Виктору Головинскому, и никому больше.

В жизни, как и в искусстве, часто именно «чуть-чуть» становится водоразделом между банальным и незаурядным, посредственностью и личностью. Головинский был, несомненно, талантлив. Но талант его не настолько еще созрел и сформировался, вошел в силу, чтобы поразить нас, так сказать, самим собой, что, несомненно, происходит, когда мы читаем Чехмарева или Щеглова. Талант Головинского, каким он успел сформироваться к концу его короткой жизни, талант рядовой, да простится мне такое словосочетание. Он, конечно, и в такой его форме уже гарантировал его обладателю определенное место в журналистике и литературе. Но над ним еще предстояло работать и работать — за слесарным верстаком и в мастерских филигранных. Сам Головинский прекрасно это понимал.

Дневник — свидетель его непрерывной борьбы за себя и с самим собой — во имя идеалов самых высоких. «Я часто думаю, каким бы я хотел быть? Мой идеал — Джек Лондон, Лермонтов, Островский». Такие наивные и трогательные признания рассеяны по всему дневнику. В той или иной форме мы встретим их и в ранние и более поздние годы. И тогда, когда возраст в двадцать пять лет виделся ему в дымчатой, далекой дали: «Если к двадцати пяти годам не будет толку, пойду дрова колоть», — и тогда, когда он настал, то есть в год смерти: «Время уходит, через два месяца мне 25 лет».

Размышления о собственном духовном несовершенстве, о слабости воли, об ограниченности возможностей и способностей, сожаления о несделанном, раскаяние в тех или иных «дурных», как ему кажется, поступках — один из лейтмотивов дневников. Проследим его. «Мучают частые ошибки. Но ведь еще 17 лет. Ошибки можно не делать только после двадцати пяти». Кто из сегодняшних семнадцатилетних и тех, кто лишь недавно миновал этот возраст, который «в жизни раз бывает», не подпишет под этими строками, не вспомнит собственных, таких же смятанных размышлений? «Мне часто доставляет мучительное беспокойство, что время уходит зря. Почему? И что я хочу взять от него — я и сам не знаю». И снова, уже в восемнадцатилетнем возрасте: «Главное, как удивительно сознать, что у тебя нет нужной широты ума, которая необходима для выполнения всего, что требует твое честолюбие, твоя душа. Шупаешь себе лоб и понимаешь, мало. Сидишь за пианино и видишь, нет слуха».

Не сомневаюсь, что многие молодые читатели, кому попадутся на глаза эти строки Головинского, не просто вспомнят о том, что их посещали такие же скорбные раздумья, но и вспомнят об этом с тайной гордостью. Сама способность признаваться в собственном несовершенстве уже как-то украшает нас в наших собственных глазах и даже во мнении окружающих.

Однако знакомство с произведениями дневникового жанра разных времен, принадлежащих перу как «великих», так и «простых смертных», побуждает нас с изрядной долей осторожности отнестись к такого рода излияниям. Сами по себе они отнюдь еще не представляют абсолютной ценности. Ибо побудительные мотивы тут могут быть самыми различными. Человек не всегда способен быть до конца искренним даже наедине с самим собой. К тому же не всегда и самое искреннее, самое доброе намерение увенчивается достойным его деянием, а именно по делам, поступкам человека судим мы о силе его чувств, оригинальности мыслей, побуждений.

Тут хотелось бы сделать небольшой экскурс в сферу социальной психологии, утверждающей, что в любом обществе есть определенные типы, модели поведения людей, которые возникают и выявляются во взаимодействии различных обстоятельств объективного и субъективного плана. Стоит человеку попристальнее понаблюдать за собой, как он убедится, что многие, очень многие его поступки, мотивы, привычки, симпатии и антипатии идут от окружающей его среды, от людей, одна из которых так близка ему и дорога, что им хочется подражать, а другие чужды, наоборот, настолько, что быть хоть в чем-то похожим на них противно и унижительно. В любом обществе, в любой среде возникают образцы, эталоны, с которых человек, особенно молодой, формирующийся, говоря словами Маяковского, делает жизнь. Иногда этот образец — живой человек, современник, иногда деятель прошлого, часто литературный герой, а нередко собирательный образ, исторический, социальный тип, соединяющий в себе особенности многих реальных лиц и персонажей литературы, искусства, истории.

Закономерность эта давно обнаружена человеческой мыслью, и имеется множество формулировок ее, принадлежащих деятелям разных времен и народов. Ну вот, например, француз Сент-Бев писал в середине XIX века, что «в каждую эпоху возникает некий модный тип, некий романтический призрак, который овладевает воображением и как бы носится в облаках». Слово иллюстрируя эту мысль, историк Ипполит Тэн писал, «что у каждого века есть созданный им прекрасный тип, у одного — это рыцарь, у другого — придворный».

Герцен выражает ту же закономерность, опираясь на примеры из жизни России и литературы своего времени: «Русские молодые люди, приезжавшие после 1862 года (как известно, вторую половину своей жизни Герцен провел в эмиграции), почти все были из «Что делать?», с прибавлением нескольких базаровских черт».

Здесь Герцен указывает на тот случай, когда эталоном являются литературные герои. Но ведь и Базаров так же, как Кирсанов или Рахметов, не были выдуманы, они взяты из жизни, когда уже в действительности нарождался определенный тип, который сам, в свою очередь, — это знает любой старшеклассник — пришел на смену предшествующему типу, связанному у нас с такими именами, как Печорин, Онегин, а затем Рудин и другие «романтики» и «лишние люди». Ну, а поскольку никакой социальный тип не вечен, то он знает и своих первовыразителей, тех, чья личность стоит у истоков возникновения новой модели человеческого, социального поведения, и эпигонов, подражателей.

Есть еще и такое, весьма для нас важное выражение, понятие, как генотип, то есть совокупность определенных психических особенностей, которые более долговечны, чем приметы социального типа, и которые могут повторяться в людях разной социальной принадлежности и разных эпох.

Так вот и страсть к самобичеванию, самоусовершенствованию, как о том свидетельствует и художественная, и дневниковая, и мемуарная литература, — свойство определенного склада людей, которых можно встретить и в наши дни, и в прошлом веке, и во времена еще более отдаленные. При этом социальное тут находится в сложной взаимосвязи с психологическим, которое в конечном-то счете тоже восходит к общественному бытию человека.

Свойство быть недовольным собой или, наоборот, самолюбование — свойство психологическое. Но вот то, чем недоволен в себе человек и, наоборот, чему он рад, — это диктуется уже его социальным опытом, хотя он может этого и не подозревать.

В. А. Жуковский, старший современник Пушкина, например, подобно Головинскому, нашему современнику, особенно настаивает в ранних дневниках на таких своих недостатках, как лень, праздность, безволие: «Как прошла моя молодость? Я был в совершенном бездействии... Кто отдален от людей, тот не имеет предмета для размышления... Характер его делается робким, нерешительным, медленным, ленивым...» Найдём мы в дневниках Жуковского и стремление преодолеть эти свои недостатки и отчаяние по поводу того, что это не очень-то удастся... Не правда ли, похоже?

Но подобные же мотивы мы, оказывается, встретим и у Белинского, человека, который представляется нам, по его творчеству, сгустком энергии, динамизма, решительности, переходящей в категоричность... «И что всему причинно? — вопрошает он в одном из писем Бакунину. — Неаккуратность, беспорядок жизни, неосновательные надежды на будущее... Что я должен делать? — задает он второй вопрос самому се-



Виктор
Головинский.

бе, — вот что: уничтожить причину зла, а все мое зло, — в неаккуратности, в беспорядке жизни...»

Итак, абсолютное ли благо — неудовлетворенность человека собой? Чтобы ответить на этот вопрос, и надо как раз посмотреть, чем она продиктована, чем рождена: самобытностью, оригинальностью личности, ясным сознанием цели, благородством ее или подражанием моде, образцу — житейскому или литературному. Что же на самом деле стоит за словами о недовольстве собой — растущая и крепнущая воля, черпающая в неудовлетворенности стимулы для развития, или, по существу, самолюбование, поза: вот, мол, я какой утонченный.

И здесь приходится только повторить это: главным свидетельством в пользу личности становится дело, деяния. Ну, что касается Жуковского и Белинского, тут нам, наверное, все ясно. А как с Головинским, как с нами?

Не будем же относить к разряду оригинальных приведенные выше строки из дневника Головинского. Остановись он в своих исканиях на этой юношеской рефлексии, пожалуй, не о чем было бы и говорить...

С детства Виктор много читает, много ходит в театр, слушает музыку. В литературе, искусстве он видит учителя жизни. В героях произведений и их авторах — пример для подражания. Со свойственной этому возрасту тягой к идеальному он все увиденное, постигнутое немедленно примеривает к себе. «Довольно копаться в собственных переживаниях! Займитесь-ка людьми», — прочел это сегодня у Павленко в «Счастье». Здорово. По правде, и так стараюсь придерживаться этого, но часто срываюсь». «Вчера смотрел кинофильм «Александр Матросов». Поразила больше всего доброта этого человека. Вот чего у меня нет. Только за сегодня несколько примеров...»

Да, расстояние от художественного впечатления до размышления и даже действия кратчайшее, как часто бывает в этом возрасте. И со свойственной опять-таки этой поре рефлексией основной смысловой упор — не на сходство с идеальными героями, а именно на пугающее, фатальное несходство с ними. «Читаю воспоминания Чуковского о Маяковском, Репине, Горьком и Брюсове. Понял, наконец, насколько я мелочен, ленив, самоуверен». Или: «Читал Брюсова, Маяковского «Флейта-позвоночник». Стало вдруг невыносимо тяжело оттого, что невозможно охватить все знания, какими владеют люди. Тяжело и стыдно оттого, что...»

Заметим, кстати, что Виктор скорбит не только о духовном, но и физическом своем несовершенстве. И

основания для этого у него куда более очевидные. Он, несмотря на солидный рост, был болезненным, «неспортивным» ребенком. «Еле-еле заставил себя нырнуть. Трус! Длиннее, как жирафа, а нет ни плеч, ни мускулов. Сегодня начал. Через год — 26 июня 1948 года я вспомню этот день. Оправданий не будет... Это дело моей совести. Пусть Рахметов стоит перед ней».

Вот еще одно свидетельство: «Сегодня был на баскетболе. Я малоподвижен, нерешителен. Но на этот раз насмешки и презрение не остановили меня. Я добьюсь своего».

Я добьюсь своего — решимость эта все настойчивее начинает звучать в дневнике. Схватка с собственной физической немощью особенно увлекает Головинского. «В конце концов, что стоит человек, которого можно оскорбить и осмеять за неумение ловко бросить мяч, руками проложить дорогу среди врагов?»

И что же? Скоро, очень скоро мы вновь встречаемся с Головинским на водном стадионе «Динамо»: «Прошля на четверке 20 километров. На этот раз я греб не плохо, а иногда даже хорошо. Почему? Да потому, что я энергично занялся греблей, переборол в себе лень, расхлябанность, и зато как хорошо я себя чувствовал».

Да, какое это прекрасное ощущение — чувство власти над самим собой. Наверно, ни с чем его не сравнить! «Четверка летит по Крестовке... Нежно-желтые ясени, огненные, багряные клены, коричневатый отлив тополиной листвы... Когда вышел на бон, покачивался. Но как славно на душе, как крепко, уверенно!»

И тут же столь характерный для Головинского мостик в духовную жизнь: «Весь секрет, чтобы делать так все, то есть делать энергично, с захватом и резкой проводкой и четким концом. А то и в жизни у меня такая же ленивая гребля бывает...»

Да, за физическими одолениями, тоже немаловажными, просматриваются уже и другие приобретения. Ни на минуту не перестает работать мысль.

Наблюдательность помогает закрепить в памяти оттенки листвы, воображение выискивает общее между греблей с ее законами и жизнью — рождается образ...

Здесь-то мы и подходим к самому главному, о чем сказать хочется предельно точно и деликатно. То, что составляло, возможно, слабость начинающего журналиста, то составляет ценность его дневника, не предназначавшегося для посторонних глаз, но ставшего главным произведением его автора. В дневнике Головинского с фотографической точностью отразились некоторые особенности массового самосознания, массового самоощущения молодого человека пятидесятых годов.

Марка Щеглова, дневники которого относятся к этим же годам, несчастье, болезнь, неподвижность поставили в совершенно особые условия развития, вывели из ряда и тем определили большую его индивидуальность. Головинский же по условиям своей жизни был в большей степени таким, как все.

Среди студенческой молодежи тех послевоенных лет особенно заметны были два течения — студенты-фронтовики и студенты-десятиклассники. Конечно, никакого антагонизма между ними не было, но различия были, и ощутимые. Фронтовики — это в основном те, кто в год начала войны окончил школу, кто на фронте был в первые месяцы салажонком, школяром, а теперь в институт пришел все на свете испытавшим и видевшим человеком, который закономерно чувствовал себя старше своих сокурсников — на целую войну. Одного не хватало — знаний. Жизнь они испытали, а вот школьную премудрость крепко позабыли.

У тех, кто пришел в вузы из школы, позади были

тоже нелегкие годы. Это были дети войны. Недоедание, а то и голод, ранний труд в семье, жизнь без отца, для многих эвакуация... Но, как бы ни были трудны испытания, выпавшие и на их долю, они не шли в сравнение с тем, что пережили фронтовики. Каждый мирный год приносил с собой что-то новое, все больше отдалявшее военную пору.

Психология мирного времени со своей системой требований и оценок заявляла о себе все более властно. И хотя трудно было по-прежнему с продуктами, с топливом, с одеждой, жизнь вчерашним десятиклассникам, тем из них, кому посчастливилось попасть в институт, казалась отныне уже определившейся. Свежесть же полученных знаний позволяла ощущать даже некоторое превосходство перед фронтовиками, которым приходилось-таки поскрипеть, чтобы сдать экзамен.

Так что вчерашние школьники, а в большинстве это были к тому же мальчики и девочки из больших городов (деревне тогда труднее было посылать своих ребят в вузы), составляли как бы особый круг студентов, более бойких на язык и суждение, более начитанных, более беспечных...

С того момента, как Головинский поступил на первый курс факультета журналистики, его будущее можно было, говоря житейским языком, считать обеспеченным. Оставалось, как многие и делают в таких случаях, лишь легонько грести по течению — сдавать вовремя экзамены, писать приличные курсовые, зарекомендовать себя на практике в одной из газет Ленинграда... А там и самостоятельная, весьма привлекательная и уважаемая обществом деятельность.

Внешне так оно все у Головинского и было. Так и не так... Дневник тому свидетель. Уготованная ему судьбой, стечением обстоятельств усредненность образа жизни осознавалась им не как благо, а как дополнительное препятствие на пути к цели — стать настоящим человеком, стать настоящим писателем. «Если стоит писать, то ради одного — ради борьбы за красивого человека, сильного духом, умного, здорового и сильного физически. Практически такой человек может вырасти только в борьбе за коммунизм. И надо бороться за этого человека. Не знаю, выйдет ли из меня когда-нибудь поэт, но человека сделать из себя постараюсь».

Кто из нас не давал себе в молодости самых отчаянных зарок, кто не ставил перед собой самых возвышенных целей, не начинал каждый понедельник жизнь сначала!.. Это из сферы обыкновенного, обычного. Дневник Головинского помогает нам заглянуть в тайну рождения личности. Надо только очень внимательно прочитать его и увидишь чудо — как раскрывается лист на дереве, как растет трава.

Головинский сумел, что не каждому удается, шагнуть дальше «благих порывов», его самоанализ оказался двигателем личности, требовательность к себе отливалась в конкретные поступки...

Он упорно накапливает знания, жизненные и книжные, он много читает и смотрит, к общественной работе относится как к прообразу будущей своей деятельности, немислимой без постоянного общения с людьми, изучения их. Он сказал себе: буду сильным физически — и стал им.

Окончив университет, не остался в Ленинграде, а поехал на Алтай, работать в краевой молодежной газете. Начинается эпопея целины, и Головинский из Барнаула едет собкором газеты в Рубцовск, в сердце алтайской целины. И оттуда стремится еще дальше, еще глубже, ближе, ближе к самой сути событий, в недра происходящего: «По-видимому, подлинная целина есть только в новых совхозах».

И за этими внешними проявлениями — глубокая

внутренняя работа, непрерывный поиск, который начинал уже приносить свои плоды... Его очерки замечены читателем, в ленинградском издательстве выходит его первый рассказ. Строки дневника все больше становятся чистопробной литературой.

«Я подошел к нему впервые в жизни. Он не знает меня, я обращаюсь к нему с деловой просьбой. Он смотрит прямо в лицо и левой рукой чуть дотрагивается до моего рукава. В этом почти незаметном жесте столько душевной приязни, добродушия, что он сразу же располагает к себе... Когда ты заговариваешь с человеком, то словно берешь в руки дорогую вещь. И если ты возьмешь ее грубо, хапнешь как попало, то можешь сразу же испортить ее, а то и сломать».

В очерках, корреспонденциях Головинского той поры таких строк, пожалуй, нет. Пока он доверяет их лишь дневнику, быть может, и сам еще не отдавая себе отчет в их силе... Это — на будущее, и это уже настоящий писатель говорит голосом вчерашнего новичка. И человек, который растет наперегонки со своим дневником — от строки к строке, от поступка к поступку.

Могут сказать, что во всех его решениях и поступках не было ничего такого особенного. Не остался в Ленинграде — так, может, еще просто не оставили? Поехал на Алтай? Что ж, если уж ехать на периферию, то лучше поближе к главным событиям. Переехал в Рубцовск? Тоже естественно для молодого и одинокого парня — побольше увидеть, испытать.

Рядом с Головинским в том же Барнауле работали и другие ленинградцы, и ни он их, ни они его вовсе не считали героями. Наоборот, все они вместе настоящими героями считали тех, кто работал в степи, кто своими руками поднимал целину.

Строго говоря, даже и последний, решающий шаг Головинского, его уход с геологической партией в Саяны, можно оценить как запоздалую дань романтическим представлениям о жизни, согласно которым истинное прикосновение к ее глубинам только и может произойти в такой вот геологической партии, в вагончике затерянной в степях тракторной бригады, на палубе рыболовецкого сейнера...

Как мы уже говорили, Виктору Головинскому в его беспрестанных поисках самого себя, в его жажде ускорить ход развития свойственно было и плыть по течению и выгребать против него. Предчувствие того, что уготованность пути может обернуться усредненностью характера, взглядов, интересов, как это со многими случилось и случается, побуждало его как-то прервать, изменить запрограммированный профессией, биографией ход жизни, уйти на встречу с неожиданным.

Но так как и это побуждение становилось все более распространенным, то может показаться, что и здесь он вольно или невольно кого-то повторял, следовал пусть новейшей, но схеме. Так или не так? Как ни назови эти блуждания Головинского — традиционными или оригинальными, главное то, что в них — отражение и проявление глубокого духовного поиска, который и был сутью его натуры.

Ранняя смерть его, поведение в последние дни и часы, его последние строки показали, как много им было уже накоплено. Запас энергии, которого надолго должно было хватить людям. Но судьбе было угодно распорядиться так, чтобы этот запас был истрачен в одно мгновение, одним разрядом. Вспышка от взрыва озарила не только прошлое, но и будущее Виктора Головинского.

Вот и подошла пора расстаться с нашими героями, в жизни которых отразилась вся история нашего социалистического государства, такого еще, оказывает-

ся, молодого. Старший, Островский, был уже легендой для младшего, Головинского, а между тем разница в возрасте у них немногим больше двадцати пяти лет. Отец и сын... Сравнивая времена, видишь, как далеко вперед мы шагнули. Сравнивая характеры, убеждаешься вновь, что главное из того, что было рождено в нашей молодежи революцией, остается нетленным, живет в ней по сей день.

Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы... Разные судьбы, разные поколения. Но, прочитав все документы подряд, мы видим, как во многом схожи их авторы. И «похожесть» не уронит, а, наоборот, возвысит их в наших глазах настолько, что и нам страстно захочется быть достойными того, что объединяет этих людей.

Листаем дневники, письма, страницу за страницей, и советский характер как бы рождается и формируется на наших глазах, в нас. Мы с радостью и беспечностью ищем его приметы в себе, снова и снова убеждаясь в родниковой чистоте и геркулесовой силе того общего, что связывает поколения.

Это вывод главный. Но есть и другие, о которых тоже надо сказать на прощание, даже рискуя повториться.

Удалось ли тебе, дорогой читатель, заметить, что в жизни каждого из наших героев наступал такой момент, когда он оказывался перед необходимостью выбора? Между смирением и бунтом, между благополучием и неустойчивостью, между «уготованным» и рывком в неожиданность, между жизнью и смертью, наконец. Конечно, значимость решений, их вес были как будто и несравнимыми.

Но как бы то ни было, каждый в своем случае выбирал шаг вперед. Почему? Мотивы высокого, общего порядка, которые, конечно же, ими руководили, сами по себе нам еще не объясняют всего. Кто из друзей Николая Островского мог бы подумать о том, что ему остается одно: либо «шлепнуться», либо сделать еще одну попытку стать в общий строй. Кто мог потребовать этого от него, отдавшего всю свою жизнь за революцию?..

Как это ни парадоксально, но принять ответственное решение все-таки легче тогда, когда, по сути дела, у тебя нет выбора, чем тогда, когда он есть. Удивимся ли мы, что наш знакомый, заведомо порядочный человек, идя по улице, заступился за прохожего, на которого напали хулиганы? Или что другой наш знакомый отказался покрыть растратчика, хотя ему за это предлагали большое вознаграждение.

Жизнь дает немало таких примеров, когда элементарно порядочный человек не может иначе поступить, чем он поступил, не потеряв, как принято говорить, лица. При этом мнение окружающих — так уж устроен человек — порою оказывается особенно сильным побудителем. Многие парашютисты рассказывают о себе, что, выйдя на крыло самолета для первого прыжка, увидев под собой развернувшуюся бездну и испугавшись ее, совершили прыжок лишь потому, что ожидавший их в противном случае позор был бы для них горше смерти.

Но есть решения, которых от человека, быть может, никто и не ждет, которые он принимает перед лицом собственной совести, без всякого давления, без всякого воздействия извне. Они-то, наверное, суть самые главные. Ими-то, наверное, и определяется личность.

Убедительно и проникновенно сказал об этом в очерке, опубликованном «Комсомольской правдой», Константин Симонов. Очерк этот «В свои восемнадцать лет» посвящен подвигу молодого тракториста, рязанского комсомольца наших дней Анатолия Мерзлова, который погиб, спасая от огня колхозное поле

и свой трактор. Впервые об этом газета сообщила летом 1972 года, в короткой заметке, которая вызвала много писем-откликов. В большинстве из них читатели выражали свое восхищение мужеством комсомольца, приносили ему посмертную дань уважения. Но были и такие, кто посчитал, что подвиг Мерзлова был напрасным. И вывод такой вытекал из бесспорного в общем-то утверждения, что человек в нашем обществе, жизнь его дороже всего на свете, и уж тем более дорожке такой «железки», как трактор.

И вот Симонов размышляет, почему Мерзлов все-таки поступил так, как поступил, и почему он поступил правильно и не мог бы поступить иначе. Размышления его имеют самое прямое отношение к нашему разговору.

Поступок Мерзлова, утверждает писатель, который в деталях познакомился с обстоятельствами трагедии и не один час провел с отцом и матерью героя, поступок Мерзлова не был просто вспышкой мальчишеской отчаянности, бездумным, лихим вызовом. На смертельный риск пошел человек твердый, человек с самообладанием, решивший исполнить свой долг так, как он его понимал. Он считал своим долгом спасти свой трактор и считал, что сумеет это сделать. А смертелен или не смертелен риск, на который человек в таких случаях идет, выясняется чаще всего не сразу, а потом, когда все уже совершилось. И вся трудность в том и состоит, что меру риска невозможно заранее взвесить на медленных аптекарских весах. Когда время не ждет и надо или рисковать, или нет, тот, кто начинает слишком долго размышлять над мерой риска, тот в результате вообще чаще всего не рискует, не жертвует...

И спрашивается, заключает свою мысль писатель, на что способен человек, живущий в постоянном сознании того, что его жизнь дороже всего остального? Тот, кто в решительное мгновение начнет считать, что сколько стоит, ради чего есть основания riskнуть, а ради чего нет?

Вот такой дилеммы для наших героев, как и для их младшего товарища, комсомольца наших дней, не существовало.

Хотя все они, как мы убедились, даже Николай Островский, знали минуты сомнений, колебаний, отчаяний. Так же, как ведомы им были и многие другие человеческие слабости. «О, конечно, я не твердокаменная, да и не просто каменная. И поэтому мне сейчас так тяжело. Никого вокруг, а я здесь последние дни. Вы думаете, меня не смущают всякие юркие мыслишки, мне не жаль, что ли, бросить свое уютное жилище и идти в неведомое? О-о, это не так, совсем не так...» — писала одна из младших современниц Островского.

В своей книге «Монкада» французский писатель Робер Мерль, идя по следам героев, проследживает буквально шаг за шагом путь соратников Фиделя Кастро из Гаваны в Сантьяго де Куба, то, как они добивались из столицы до Монкады. Он ведь был до обидного прозаичным, их путь, в конце которого тех, кто его прошел, ждали смерть, пытки, тюрьма, преследования, но и вечная признательность потомков.

Одни группы ехали поездом, другие — автомобильным транспортом, кто на собственных потрепанных машинах, кто пассажирскими автобусами или даже на такси.

Дорога была по тем временам дальняя, изнурительная, полная всяких происшествий и неожиданно, порою комических. Но ехали на этот раз по этой дороге люди с отнюдь не шуточными намерениями, полные драматических размышлений. Не все доехали до Сантьяго... И не только потому, что откровенно трусили, хотя были и такие. У одного действительно не выдержали нервы, другой попал в

аварию, потому что сел за руль, не умея толком водить машину. Кто-то просто заблудился по дороге или в карнавальной веселой толпе, а кто-то опоздал на поезд, промешкав вроде бы в станционном буфете...

Это было совсем незаметно. На ферме Сибонней, под Сантьяго, где в нервной суматохе шли последние приготовления к штурму, не обо всех отставших даже и вспомнили... А они не от поезда отстали — от истории, от вечности... Отступничество, как и акт самоотверженности, выглядит порою весьма буднично. Чаще это просто уступка себе, маленький компромисс, нерасторопность, рассеянность...

Да, в жизни человек постоянно находится перед лицом выбора решений, больших и малых. И не всегда дано ему предвидеть, какое из них окажется главным... Главное, наверное, в том, чтобы всегда быть верным лучшему в себе, тому, что Чернышевский называл чистотой нравственного чувства.

Таков еще один урок нам, преподанный судьбами, о которых мы говорили. Впечатляющие моральные законы нашего общества. Высоки и прекрасны наши идеалы, но сами по себе они не могут предопределить каждого шага человека, как бы сильно он им ни был предан.

Дневники, с которыми мы познакомимся, наглядно и убедительно свидетельствуют о том, какое это нелегкое, порою мучительное, к тому же еще и не знающее ни начала, ни конца занятие — то, что мы на воспитательном жаргоне называем «работой над собой». Как много духовных и физических усилий, какой постоянной внутренней сосредоточенности, целеустремленности, какого владения собой требует даже самое малое из того, что может быть названо свершением. Как долго и упорно надо идти к деянию!

В одной популярной современной песне, если правомерно, конечно, измерять популярность числом исполнений по радио или телевидению, есть такие слова: «Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в этой жизни совершить». Надо ли, надо ли, добавим от себя, говорить, как мало способны вдохновить такие вот приблизительные призывы кого-то к чему-то и как сильно они компрометируют ту высоту, на которую зовут подняться.

И это еще один вывод, обращенный, правда, уже не к тем, кто учится на примерах, а к тем, кто учит.

ОТЧЕГО «ХУДЕЮТ» МЕДЯКИ

Журналисты, которым приходится порой сообщать о достижениях современной науки и техники, любят писать, что наше время — «время искать и удивляться». Звучит красиво, романтично. Не имея ни малейшего намерения принизить эту возвышенную формулу, я все же должен внести в нее элемент определенного рационализма. Меня как ученого, непосредственно связанного с инженерной практикой, более привлекает такая редакция: «Время искать и удивляться, находить и внедрять». Увы, поэзия приска в технике часто оказывается слишком далека от прозы внедрения новой технологии, изобретения, рационализаторского предложения. Почему так происходит, я выяснять в данной статье не собираюсь; просто фиксирую факт.

Я и мой коллега занимаемся «старческой» болезнью техники — износом. Проблема эта древняя; она возникла в тот самый момент, когда наш далекий предок впервые пустил в ход только что изготовленное им кремневое рубило. Изнашивается все, чем мы пользуемся, — разница лишь в сроках, степени и, разумеется, последствиях износа. Свой век имеют и подметка ботинка, и победитовый резец, и хрупкое колесико наручных часов, и цепь деревенского колодца, и лопатки могучих турбин.

Вы поднимаетесь на второй этаж московского «Детского мира» по мраморным ступеням широкой лестницы. Кажется, износа им не будет, а их на самом деле уже несколько раз меняли. Велико ли усилие, с которым вы удерживаете монету? Но от прикосновения миллионов пальцев она стирается, истончается так, что становится невозможным различить «орла» и «решку». В Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку те же пятак «худеют» быстрее, чем, скажем, в Вологде, за счет дополнительного износа в автоматах метро.

До определенного предела износ того или иного изделия нам не мешает, мы продолжаем им пользоваться. Но рано или поздно наступает тот критический момент, когда обувь нужно отдавать в починку, а судно отводить в док для ремонта. В обоих случаях очень важно вовремя поймать этот самый момент. Из-за незамеченной дырки в подошве можно про-



**ЛЕОНИД
ПОЛЯКОВСКИЙ**

ПОЖИВЕМ,
ПОИЩЕМ,
ПОУДИВЛЯЕМСЯ,
ВНЕДРИМ



*Леонид Поляковский —
молодой ученый, кандидат
технических наук,
старший преподаватель МВТУ
имени Н. Э. Баумана.
За внедрение метода
измерения износа двигателей
в условиях плавания судов
ему присуждена премия
Ленинского комсомола.
Сейчас Леонид Поляковский
в соответствии с программой
научного и культурного обмена
между СССР и США
стажируется в одном
из американских университетов.*

чить ноги и схватить простуду. В открытом море отказ изношенной машины грозит уже катастрофой.

Словом, сама жизнь с неизбежностью породила важную техническую науку об износе. Как и в любой иной, в ней существует много направлений. Все они связаны с так называемыми износными испытаниями, которые, к сожалению, пока что грешат многими недостатками. Они слишком продолжительны, трудоемки и малодо-стоверны.

ПРОСТОЕ, В СУЩНОСТИ, ЯВЛЕНИЕ

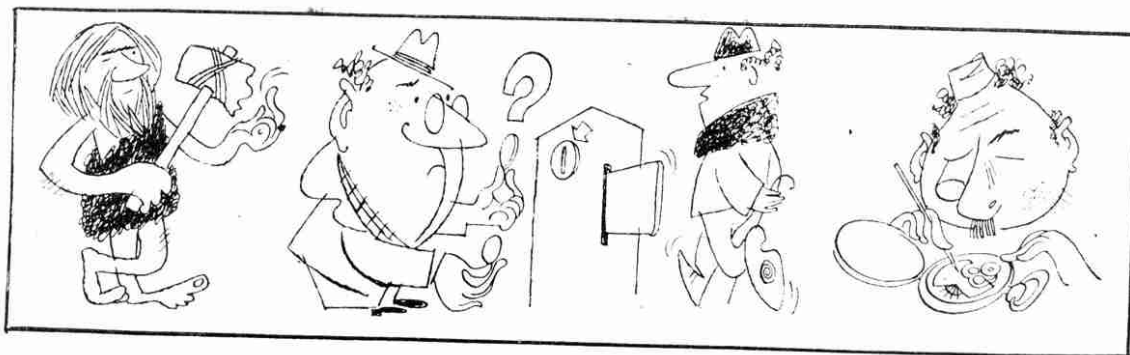
Самый процесс испытаний для измерения износа в технике достаточно сложен. Ведь на любую деталь любого механизма в ходе его эксплуатации действуют десятки различных факторов. Чтобы правильно определить долговечность этой детали и всего механизма, нужно точно оценить влияние каждого фактора и в отдельности и в их совокупности. К тому же приходится учитывать, что это влияние при одних условиях может быть положительным, при других — отрицательным.

Редко какой шофер-любитель задумывается над тем, как был подобран тип масла для двигателя его нового автомобиля. А на это наверняка ушли долгие месяцы. Ученые взяли образец такого двигателя, смоделировали условия его работы и эксплуатации и длительное время проводили испытания его износостойкости. По окончании испытаний все узлы и детали двигателя были разобраны, осмотрены, измерены, взвешены. Полученные результаты дали нужную информацию о качестве выбранного масла или материала.

Как только появляются новые образцы машин, новые технологические, конструкторские или эксплуатационные изменения, такие испытания нужно проводить вновь. Снова все разбирается, анализируется...

И происходит это из-за простого, в сущности, явления: отделяются и уносятся с трущихся поверхностей частицы материала. С подошвы ботинка — частицы кожи, со стенок механизма — металла.

Это простое явление, однако, таит множество неожиданностей. Скажем, двигатель может изнашиваться, не работая, — в нем происходит так называемый коррозион-



ный износ; если говорить попросту, он ржавеет. И, наоборот, двигатель может работать, а износа при этом до поры не происходит. Такое имеет место в случае, если созданы условия стабилизации износа.

Установлено также, что двигатель от одного пуска изнашивается в такой же степени, как от пяти — восьми часов работы. Вот почему автомобиль, эксплуатируемый на улицах Москвы, изнашивается в 1,2—1,3 раза больше, чем его собрат, используемый только на шоссе.

А «гигиена» работающей машины! Обычное дело — между двумя трущимися деталями попала частица пыли. Ее острые грани, как лемех плуга, вспахивают борозду на поверхности. Частица врезается в металл (это называется «шаржирование»), раскачивается в нем, словно готовый выпасть молочный зуб, выпадает, вспахивая все новые и новые борозды. А сколько таких твердых частиц поднимается в воздух, шаржируя и человеческие легкие и детали машины, когда грохочет по улице весь в клубах белой пыли самосвал с цементом!

Ученые установили общие закономерности износа двух трущихся поверхностей — мы их называем «парой». Любая вновь собранная пара прирабатывается («притирается») — это выражение распространено не только в технике) с повышенным темпом износа, но затем износ устанавливается на постоянном уровне — стабилизируется. Процесс стабилизации длится значительное время до наступления критического износа.

Я уже упоминал, что на темпы изнашивания поразному влияют разные факторы. В процессе двигательных испытаний изучаемый фактор может уменьшить свое воздействие, «вылезет» же воздействие другого, не изучаемого в данное время. Это плохо, так как достоверность информации по фактору, из-за которого и затевались испытания, резко уменьшается. Вот почему так важно, чтобы износостойкие испытания были экспрессными. Старые методы этому требованию не отвечали. На смену им неизбежно должны были прийти и пришли новые — с помощью радиоактивных изотопов и ионизационных излучений.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Приблизно так. Трущиеся поверхности активируют — в них вкрапливают радиоактивные изотопы. По мере работы двигателя изотопы отделяются от детали вместе с продуктами износа. Попадая в масляную систему, изотопы увеличивают ее радиоактивность. Теперь достаточно включить радиометрический прибор, определить степень увеличения уровня активности в системе и на основе полученной информации рассчитать скорость износа.

При этом двигатель не нужно ни разбирать, ни даже останавливать! Сразу отпадает такая чрезвычайно дорогостоящая вещь, как излишний простой судна. Продолжительность испытаний сокращается в 10—15 раз, экономический же эффект возрастает в 20—25 раз!

Схема, однако, есть схема. В действительности все, конечно, обстоит сложнее. Если мы хотим судить о темпах износа по увеличению уровня радиоактивности, то обязаны предусмотреть средства защиты персонала от излучения. Следовательно, требуются специально оснащенные лаборатории.

При исследовании износа в условиях стендовых испытаний применение изотопов позволило решить важные, уникальные задачи повышения ресурса машин и механизмов. Казалось бы, все хорошо. Но... Ох, уж эти «но». Дело в том, что результаты стендовых испытаний (как бы добросовестно они ни проводились) требуют проверки и подтверждения в практике реальной эксплуатации машины. К тому же у эксплуатационников возникают и собственные задачи, которые в дистиллированных условиях стенда решить просто невозможно.

В Директивах XXIV съезда КПСС названа конкретная цифра — увеличить ресурс двигателей не менее чем в 1,5 раза. Решить эту задачу огромной важности для всего народного хозяйства должны не только работники промышленности, изготавливающей двигатели, но и эксплуатационники.

ЗНАЧИТ, НЕ НА СТЕНДЕ

Читатель уже догадался, конечно, что использование радиоактивных изотопов требует и создания средств надежной защиты персонала. Это ограничивает применение нового метода лишь на стенде. Так вот: это ограничение больше не существует. В МВТУ имени Баумана под руководством профессора Владимира Ивановича Постникова разработан и внедрен новый метод поверхностной, то есть неглубокой, активации металла, при этом применяется ничтожно малая активность, не превышающая активности светящегося циферблата часов.

Это значит, что родилось новое направление, позволяющее измерять износ двигателя (и, следовательно, увеличивать соответствующими мерами его долговечность) без разборки и остановки в любых условиях.

В 1968 году рыболовно-морозильный траулер «Салгир» совершил плавание из Севастополя до порта Уоллфиш-Бей протяженностью 7 500 миль, то есть почти 14 тысяч километров. Все время плавания двигатель работал на винт под непрерывным контролем износа методом поверхностной активации.

Целью этого эксперимента было выявить и оценить влияние условий реального плавания (при этом успешно выявлялась и морозилась вполне реальная рыба) на износ двигателя.

В ПЛАВУЧЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

Писать о морских приключениях, штормах и прочей романтике я не буду. Ограничусь, как этого требует тема статьи, нашим успешным экспериментом, проведенным впервые на борту судна, находящегося в дальнем плавании.

...Двигатели собраны, приборы проверены, начальные измерения сделаны. Проходит некоторое время. Судно еще на приколе, двигатель молчит, в вахтенном журнале в графе «Страбатанные часы» красуется «0», а приборы фиксируют... износ в один микрон!

Первая загадка. В чем дело? Все тщательно проверяем, ищем возможные ошибки — и ничего не находим. Впадаем в легкую панику. За обедом в кают-компани старший механик (по-флотски «дед») Николай Александров вдруг, между прочим, спрашивает второго механика, отвечающего за главные дизели:

- Валы отцентрованы?
- Да.
- Долго пробуксовали?
- Оборотов двадцать.

Я так и подскочил: неужели эти сделанные вручную, без пуска, обороты и дали микронный износ, уловленный нашими приборами? Вмешиваюсь в разговор (хотя делать этого и не положено):

- На каком двигателе пробуксовали?
- Да на твоём, радиоактивном, — последовал ответ.

Так оно и есть! Мне уже не до компота. В тот же день я уже сам для проверки сделал вручную еще двадцать пробуксовок. Приборы показали, что износ увеличился еще на 0,5 микрона. Снова орудую двухдюймовой трубой-буксовкой, как рычагом. Два, раз! Два, раз! До чего же тяжело! (И как это у ребят все так легко получается!) Отсчитываю двадцать оборотов. Поршень в нижней мертвой точке. Замеряю износ — без изменений. Еще двадцать оборотов — результат тот же.

Значит, в методику нужно вносить поправку: учитывать количество пробуксовок перед пуском.

Мои действия, конечно, не остаются незамеченными — на судне всё на виду. Подходят заинтересованные механики, мотористы. Все включаются в обсуждение проблемы, высказываются и по поводу возможного влияния радиоактивности на здоровье. Третий механик, ухмыляясь, говорит второму:

— Он (он — это я) уже сотый оборот вручную делает. Так и без пуска уплыть можно.

Присутствие радиоактивности на судне вызвало много толков. Но в целом, как я заметил, моряки преодолевают «психологический барьер радиоактивности» без особых волнений. Общее резюме было примерно таким: «Нам-то она, радиоактивность, ни к чему, но если для флота надо, — сделаем».

Для начала же радиоактивность даже помогла... сдаче корабля морскому регистру.

Пришел какой-то въедливый в форме моряка, но видно, что давно не моряк. Вопросы все ставит какие-то несущественные. Долго так продолжалось, пока кто-то не сказал, что один двигатель — радиоактивный. На сем все и закончилось: перепуганный представитель регистра, тут же подписав приемку машинного отделения, немедленно переместился на верхнюю палубу.

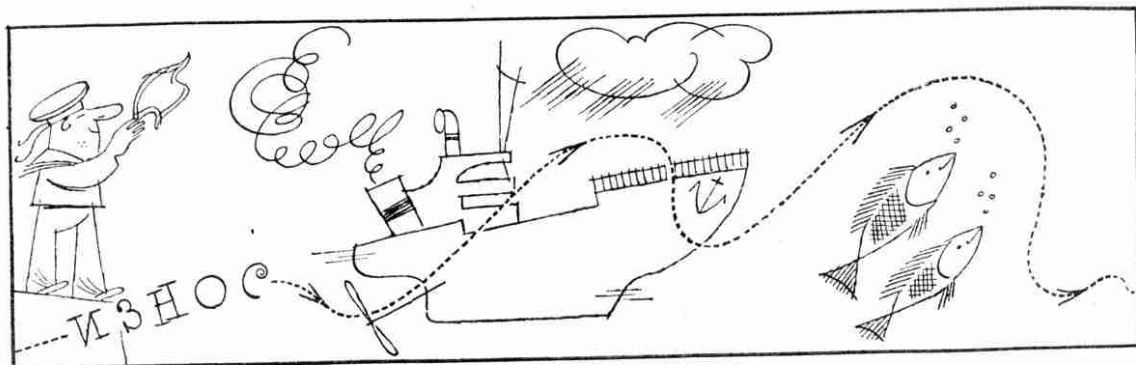
...Начались швартовые испытания: пуск двигателя — износ. Шаг за шагом мы изучали характер двигателя. Я не преувеличиваю и не одухотворяю машину, но это факт: каждый двигатель, хоть он и серийный, имеет свой, неповторимый характер, что чрезвычайно сказывается на его поведении вообще и на износе в частности.

(Наш двигатель особенно бурно проявлял свою «индивидуальность», когда судно попало в шторм у Канарских островов, а также в Гвинейском заливе, когда началось траление. Износ его от дополнительных нагрузок резко возрос и не смог стабилизироваться даже спустя несколько суток. Причина, как оказалось, была в загрязнении масла. Доложил старшему механику — на 721-м часу работы тот принял решение сменить масло, хотя по инструкции, составленной в расчете на несуществующий в природе некий «средний» серийный двигатель, это полагается делать через 1 000 часов. Внести столь существенную поправку вынудили индивидуальные особенности именно нашего двигателя, выявленные в ходе непрерывного контроля за его работой.)

Через сутки цилиндры приработались, скорость износа упала. Добавили нагрузку — скорость износа возросла на некоторое время и вновь угасла.

Приступаем к ходовым испытаниям. Нагрузка становится все выше и выше, а скорость износа удерживается на одном уровне. Успеваю только фиксировать результаты. Анализировать некогда — не останавливать же судно для обработки информации! Только решил эту головоломку, предстает новая: появился улов, и для сохранения рыбы на судне включили все холодильники. Напряжение в сети, естественно, упало... Словом, скучать не приходится до самого окончания плавания.

Так рождалась техника измерений износа двигателей в условиях плавания судов с использованием метода В. И. Постникова.



СТО ТЫСЯЧ «КАК» И «ПОЧЕМУ»

Под руководством профессора Постникова я начал работать еще студентом пятого курса МВТУ. Уже тогда он начал создавать диагностику деталей с помощью изотопов. Мне для начала было поручено ознакомиться с соответствующей отечественной и зарубежной литературой.

Хожу по библиотекам, изучаю по литературным источникам особенности износа деталей дизелей. Сложилась традиция: все существовавшие ранее и существующие ныне методы начинают свой путь, опробуются на двигателях внутреннего сгорания. Считается так: если здесь они выдержат, стало быть, можно их применять и на других машинах и механизмах.

После защиты диплома меня направили работать в Московское управление «Дизельремонтаж». «Какая уж тут наука?» — подумал я. Месяца через два начальник управления И. И. Гулевский и главный инженер А. И. Шитиков вызывают меня.

— Получай ключи, напильники, спецовку, командировку и поезжай на китобойную флотилию «Слава» ремонтировать дизели.

— Ладно, — отвечаю, — поеду. Только при одном условии — не мастером, а слесарем.

Заявление мое было вызвано не блажью и не кокетством. Просто за эти два месяца я понял, что до настоящего инженера-механика мне еще далеко, хотя я закончил Бауманское, где, как известно, студентов не только на лекциях учат. Ну, а людьми руководить — этому вообще научишься не в институте.

В бригаде, куда меня вначале назначили, работали специалисты первоклассные. Единственное импонировало им во мне, что я был мастером спорта по боксу, к тому же — в полутяжелом весе. Но мастер в спорте еще не мастер на производстве. И я решил временно (это самое «временно» длилось два года) поработать слесарем — с полного одобрения рабочих моей бригады, с которыми я все же, невзирая на всю мою малокомпетентность, успел сдружиться.

Начальство подивилось, но в конце концов с мотивами моими согласилось. Первая моя командировка длилась почти полгода. Последующие также были достаточно продолжительными.

Как сейчас помню, бригадир дал мне для начала самую грязную работу — чистить выхлопной коллектор и картер. В полном соответствии с моей квалификацией слесаря 4-го разряда. («Демобилизовался» я, кстати, из слесарей, имея уже 6-й разряд.)

С коллектором я покончил довольно быстро. Потом залез по пояс в картер и долго осматривал его стенки и стойки, покрытые коксом с застрявшими в нем частицами металла. Удивился: ведь у двигателя есть фильтры и грубой и тонкой очистки, — как же эта дрянь сюда попала?

Промыл картер, потом добрался и до коленчатого вала, чтобы по указанию бригадира оформить на ремонт. После измерений выяснилось, что износ вала — в допустимых пределах.

— Зачем же его шлифовать, тем более шкурками? — спрашиваю бригадира. — Он же не изношен.

— Хоба я знаю? — отвечает. — Нехай шлифуют, тебе что?

Выясняю. Оказывается, дизели ремонтируют по плану, а не по необходимости, потому что момента, когда ремонт действительно неизбежен, никто определять не может.

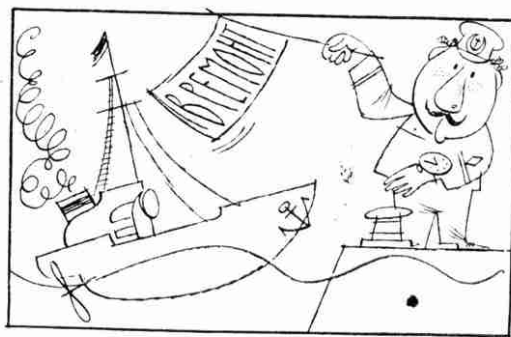
Надо не надо, но двигатель по плану, взятому, в сущности, с потолка, разбирают и шлифуют. При этом в систему, минуя фильтры, попадают мелкие и крупные абразивные частицы. Новая сборка дает новые перекосы, требуется новая притирка. Все это ведет к значительному износу и, естественно, связано с простым и значительными потерями труда и времени.

Вот тогда-то и задумался я всерьез над тем, как узнать время начала критического износа, чтобы двигатель ставить на ремонт именно тогда, когда он в этом ремонте действительно нуждается. В последующие два года работы слесарем, а затем бригадиром-шеф-монтером возникло еще больше всевозможных «как», «почему» и «зачем».

Однажды в Москве я встретил на улице В. И. Постникова. Он расспросил о работе и предложил вернуться к моей старой теме, которая теперь интересовала меня уже не только теоретически, а, можно сказать, кровно.

Так я вернулся в МВТУ имени Баумана — на сей раз в качестве преподавателя и научного сотрудника. Здесь через несколько лет работы в серьезном и сплоченном коллективе я стал кандидатом технических наук. Здесь же в 1971 году мне была присуждена премия Ленинского комсомола за внедрение метода измерения износа двигателей в условиях эксплуатации судов.

Сейчас на теплоходе «А. С. Попов» действует установка с программным заданием, автоматически контролирующая износ двигателя. Информация непосредственно подается на пульт старшего механика теплохода Михаила Карповича Сыромятникова.



В настоящее время мы разрабатываем схемы контроля износа ответственных деталей машин и механизмов с дистанционной передачей информации об износе. Интересное направление использования метода непрерывного контроля износа подсказал нам профессор Виталий Иванович Крутов.

Как бы ни использовался новый метод, в любом случае речь идет об активном, научно обоснованном контроле, то есть управлении износом. Возможности здесь скрыты огромные. Достаточно сказать, что одна лишь своевременная замена масла увеличивает ресурс того же дизеля на 5—6 процентов.

Возможно, в недалеком будущем продолжительность работы космических станций будет оцениваться по износу ее ответственных деталей, и команда на вывод станции с орбиты будет подаваться после обработки измерений, осуществленных методом непрерывного контроля.

Поживем, поизмерим, поудивляемся — и непременно внедрим...

ГОД КОПЕРНИКА

В Варшаве сейчас продаются календари, на которых так и написано: 1973-й — год Коперника. 19 февраля — 500 лет со дня рождения гениального польского астронома, трудам которого выпало редкое счастье стать не просто классическими научными трудами, но определить поворотный пункт в истории человеческой цивилизации.

«Луч света, ныне освещающий вселенную, исходит из городка Торуня», — писал Вольтер. В Торуне, маленьком польском городке, родился Николай Коперник. Говорили, что дед его по отцу приехал в Польшу из Чехии, отец занимался торговлей и находился в числе наиболее уважаемых горожан, а мать была сестрой епископа вармийского, человека страстей необузданных и влиятельного в высшей степени. Любовь бездетного епископа к одаренному племяннику определила в значительной степени то материальное благополучие, в котором Коперник пребывал всегда и которое, безусловно, способствовало утверждению его духовной независимости. Он учился в одном из лучших университетов Европы, в Кракове, затем несколько лет жил в Италии, где должен был изучать каноническое право. На самом деле он изучает все, кроме канонического права. Подобно маленькой затравке, опущенной в благодатный раствор эпохи Возрождения, многогранный кристалл таланта Коперника растет и определяется все четче. Мы знаем главную работу его жизни, которую сегодняшние школьники научились формулировать с прелестной простотой: «Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, как думали раньше». Но гораздо меньше известно, что Коперник был искусным художником, популярнейшим врачом, образованнейшим математиком, незаурядным экономистом. Его друг Гизиус, епископ кульмский, писал, что Копернику не была чужда ни одна наука, а в искусстве лечить он прослыл за нового Эскулапа. Очень крепкий физически, высокий, сильный, спокойный, даже холодноватый и чуть надменный поляк был очень не похож на шумливых, темпераментных итальянцев, но самую главную, самую ценную черту итальянцев на рубеже XVI века впитал он в Болонье и Риме в полной мере и как драгоценный подарок увез и бережно сохранил на родине, — свободомыслие.

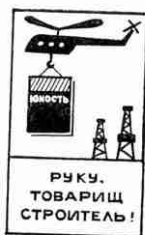
На многих рисунках и гравюрах можно увидеть Коперника на вершине крепостной башни с астрономическими инструментами в руках. А ведь он довольно редко наблюдал звездное небо. В Копернике



не было неистощаемого любопытства Галилея и титанического упорства Тихо Браге. Коперник не столько наблюдал, сколько размышлял. Он смотрел в небо не для того, чтобы узнать что-то, а для того, чтобы убедиться в правоте собственных идей. Он не любил обсуждать с кем-либо свои мысли, не нуждался в духовном поощрении, был глубоко равнодушен к славе. Он бывает даже высокомерен. «Я никогда не искал рукоплесканий толпы, я изучал то, что для нее никогда не будет предметом уважения и одобрения, и никогда не занимался вещами, которые она одобряла», — писал Коперник. Он не торопился с обнародованием своей системы мира. Наверное, он понимал грандиозность сделанного им, понимал, что труд его переживет века, что и через 500 лет благодарные потомки назовут 1973 год годом Коперника.

По преданию, книгу «Об обращении небесных сфер», этот, по словам Ф. Энгельса, «вызов церковному авторитету в вопросах природы», Николаю Копернику привезли из типографии в день его смерти. Так судьбе угодно было свести в одну точку его смерть и бессмертие. На обелиске, который стоит на родине создателя гелиоцентрической системы мира, написано: «Остановившему Солнце, сдвинувшему Землю». Короток список людей, сделавших для человечества так много.

Я. ГОЛОВАНОВ



И. ОСИПОВ



КРЫЛЬЯ ТЮМЕНИ

Всю ночь за окном ворочалась запоздалая апрельская пурга. Снегу навалило по колено. Утром бульдозеры быстро расчистили взлетную полосу, и рейсовый «АН-24» ушел из Сургута по расписанию. Точно в назначенный час поднялся и наш «МИ-4».

Перед взлетом бортмеханик Юра Покрывалов осторожно сбросил с кабины и с лопасти винта слежавшийся за ночь снег. Командир Анатолий Дорофеев по дороге на аэродром зашел, как водится, в медпункт. Врач удостоверился: пилот в полном здравии. Второй пилот Виктор Молев тем временем сбегал к синоптикам, и вот уже повисла над землей винтокрылая «стрекоза». Чуть помедлив, она резко набрала высоту, и под нами сомкнулись темные вершины кедров и лиственниц, прикрывших с севера новорожденные улицы Сургута.

Далеко в тайге ждут Дорофеева. Ему поручили взять на борт геодезическую партию. Он показал на карте голубое пятнышко озера, тонкую, синюю тесемку реки Пяку-Кур, где полгода бродили изыскатели. Можно было представить себе, с каким нетерпением ожидали они Дорофеева.

Это был вполне заурядный, будничный рейс, и я пишу о нем только потому, что запомнились зимовщики, подбежавшие к вертолету. Они приволокли и мгновенно запихнули в машину спальные мешки, ружья, топоры, пилы, свернутую палатку, походную радиостанцию, измерительные рейки, теодолит, почерневший от дыма котел. Распоряжался погрузкой молодой человек в очках, начальник отряда. Радостно-возбужденный, он весело поторавливал остальных, тоже охваченных вполне понятным желанием поскорее забраться в кабину.

— А вы, ребята, живенько нашли нас, — сказал он с явным намерением польстить командиру вертолета. — Только-только успели перекантоваться из лесного лагеря. Не дали нам подморозиться.

Дорофеев усмехнулся:

— Пожалели вас. И так за полгода, наверно, промерзли до костей...

Из готовящегося к печати сборника «Властелины воздушных трасс», выходящего к 50-летию Гражданского воздушного флота СССР.

Отыскать в тайге геодезистов не составляло большого труда. Они накануне сообщили по радио, где будут ожидать нас, и экипаж «МИ-4» не потратил времени на поиски. Но в этих северных широтах бывает и не так. Вот что рассказал мне командир летного подразделения Вячеслав Вдовенко.

— Мы возвращались в Салехард, выполнив рейсовое задание. Дело было осенью, в конце сентября. До аэродрома осталось минут сорок, и вдруг велит нам по радио: следуйте в поселок Усть-Юрибей, пропали трое работников экспедиции. Прилетели в Усть-Юрибей. Рыбацкий поселочек притулился около побережья Карского моря. Базировалась там геологическая экспедиция. Выясняем, что случилось. Двое рабочих и женщина, геолог, отправились на лодке делать промеры и попали в шторм. Вот уже третьи сутки не могут их найти. Только один рыбак-ненец видел ночью сигнальную ракету к северу от поселка. Пошли мы вдоль берега. Видимость плохая, дымка над серой водой. Ходим, ходим, никого не видно. Думаем уже возвращаться: бензину в баках только на обратную дорогу. Тут я разглядел: что-то грязно-белое болтается на волне. Снизились. Видим: трое уцепились за надувную лодку, сами по грудь в воде. Ну, подняли их в кабину, отогрели спиртом. Они рассказали: шторм опрокинул шлюпку. Потонули приборы, запас провизии, спички. Всплыла только одноместная резиновая лодочка. Двое суток держались за нее. А вода сентябрьская, студеная... Молодцы, не пали духом. Верили, что их спасут... Высадили бедолаг в поселке, пошли в Салехард. До аэродрома было уже километров полтора, когда навалился туман. А в этом месте торчат уральские отроги, вслепую лететь — двести процентов риска. Следовать по курсу не могли: никаких ориентиров не видно. Решили сползти назад и пошли лошадками, вдоль ручьев, а потом увидели речушку побольше, она и привела нас в Салехард. Повезло нам крупно: успели сесть за минуту до захода солнца.

Слушая этот рассказ, как было не вспомнить слова многоопытного тюменского летчика Сергея Павлова:

— Не удивляйтесь тому, что я вам скажу: вертолет — самый совершенный летательный аппарат,

Север Тюменской области. На таежную буровую прибыл вертолет.

Фото И. САПОЖКОВА.



Почти каждый день командир летного подразделения Сергей Павлов отправляется в пилотажную зону с кем-нибудь из молодых летчиков Сургутского отряда. Полтора часа провел я однажды на тренажере и увидел, как воспитывается готовность к любым испытаниям.

Тренировочный полет был распisan по минутам, в точном соответствии с программой из двадцати шести пунктов. Слева сидел Сергей Павлушин, молодой человек богатырского роста, справа, на месте второго пилота, — подтянутый командир. Говорливый бортмеханик Виктор Большаков приумолк, повиснув между ними на широкой стремянке. Я примостился за спиной Виктора, получил наушники и мог слушать, о чем говорят пилоты.

Все приказания командира Павлушину предстояло выполнять только по приборам. Бортмеханик прикрыл черными щитками передние и боковые стекла кабины, такой же заслонкой оградил пилота справа, и теперь перед его глазами были одни циферблаты и стрелки приборной доски.

— Курс триста тридцать, — сказал командир.

Повинуясь человеку, который не мог увидеть ни землю, ни облака над лесом, вертолет послушно скользил то вправо, то влево, делал развороты на двадцать, на сорок, на девяносто градусов.

Павлушин, не отрываясь, смотрел на стрелки приборов. Командир приказал снизить скорость до восьмидесяти километров, затем увеличить до ста двадцати. Потом прозвучала команда:

— Развернись на курс, противоположный начальному.

Командир велел бортмеханику выключить авиогоризонт, и Павлушин тем не менее держался на заданной высоте, делал виражи, развороты.

Постепенно Большаков заклеивал другие циферблаты клочками бумаги. Пришлось следовать по курсу и совершать все заданные эволюции без указателя скорости, без вариометра, без указателя поворота и скольжения.

«Колпак» над головой и боковые шторки не давали

Павлушину полюбоваться стадом оленей, ошалело бежавших через заснеженную поляну, не мог он увидеть испуганных мотором лосиху с лосенком. А когда — так же вслепую — Павлушин снизился с пяти-сот до ста метров, мог бы заметить и черную тень глухаря, промелькнувшую в реденьком сосняке.

Тут я невольно отвлекся от событий, происходящих в кабине «МИ-4», и подумал, как будет славно, если каждый, кто пойдет вслед за разведчиками недр в эти девственные просторы Северного Приобья, глубоко проникнется желанием сохранить первозданную красоту тайги, сберечь ее живой мир. Может быть, именно здесь, на щедрой тюменской земле, удастся наконец избежать конфликта между индустрией и природой, доказать на деле, что это столкновение вовсе не обязательно и его можно предотвратить. Для этого требуется не так уж много усилий.

В памяти моей возникла роща в татарском поселке Бавлы. Под ее маховыми соснами обнаружили богатые нефтяные пласты. Но девонские фонтаны не погубили этот лес. Своевременно наладили герметизацию добычи нефти, ввели в действие законтурное заводнение — то есть использовали воду для выдавливания нефти из земных глубин. А при этом можно бурить гораздо меньше скважин. Позаботились, чтобы без крайней нужды не рубили ни одного дерева. И чудесная роща уцелела. Даже лось прижился рядом с цистернами и вышками.

Мои размышления прервал голос командира:

— Виктор, убери колпак.

Большаков открыл перед пилотом весь зримый мир, и Павлушин впервые сторвался от пульсирующих белых стрелок на черных циферблатах.

— Смотри, как распогодилось, — сказал он, шурясь от солнца.

Тренировочный полет окончился. Мы шли в Сургут той же дорогой. Встречным курсом разминулся с нами «МИ-4».

— Косьяненко повез вахту на буровые, — сказал командир и добавил, впервые обращаясь ко мне: — Возьмите на заметку: наш десятитысячник.

Косьяненко прилетел в Сургут вскоре после нас, и я встретился с человеком, который провел десять тысяч часов своей жизни за штурвалом.

Владимиру Лукьяновичу сорок два года. Выделяясь в авиапредприятии и почтенным для пилота возрастом и внушительным стажем, Косьяненко, подобно большинству пилотов, получил воздушное «крещение» в аэроклубе. Работал фрезеровщиком на заводе транспортного машиностроения в Барнауле, собиравшись по окончании средней школы в политехнический институт. Первый полет с инструктором аэроклуба круто изменил планы на будущее, и Косьяненко оказался в летном училище.

На таком же «ПО-2», где ему впервые доверили штурвал, возил геологов, геодезистов, лесников, врачей, агрономов. Пересаживался на «ЯК-12», на «АН-2» и вот уже много лет не изменяет «четверке». И за это время породнил с вертолетом столько молодых пилотов, что их, наверно, хватило бы на несколько отрядов.

В Сургут он прилетел, когда здесь было всего несколько машин. Геологи и буровики, можно сказать, стояли в очереди на каждый рейс. Не было еще значительных открытий, но разведка шла полным ходом в тайге Северного Приобья. Косьяненко возил вахты буровиков и увидел однажды, как хлынул из скважины черный поток, предвещающая новую, нефтяную эпоху в летописи Сибири.

Богатые находки прославили Усть-Балык, Мегион, Нижневартовск. Для Косьяненко это не только названия сибирских поселков на берегах Оби. В каждом одним из первых совершал он посадки, брал на борт разведчиков, жил в «балках», сколоченных из досок, выбирал вместе с геологами доступные только с воздуха таежные участки для бурения, разделял с искателями тревоги и радости трудного похода за «черным золотом».

Безвестные рыбацьи поселки стали самыми значительными этапами его летной службы, потому что они помог здесь пробиться к нефтяным залежам, и фонтаны Мегиона, Усть-Балыка, Самотлора были наградой не только для настойчивых, самоотверженных разведчиков недр, но и для того, кто поднимал их в воздух, высаживал на болотах, возил снаряжение, выручал из беды, иной раз с немалым риском.

Вот уже второй год Владимир Лукьянович рано утром выходит из дому и спешит на вахтовый автобус вместе с сыном. Саша Косьяненко получил свидетельство пилота в том же, что и отец, училище и теперь служит в подразделении «АН-2». Отец и сын едут на работу по Московской улице, с ее приземистыми, рублеными избами, потом автобус набирает скорость, и по обе стороны встают бетонные и кирпичные корпуса нового Сургута.

Владимир Лукьянович хорошо помнит, как укладывали первые фундаменты зданий, они сейчас тянутся на несколько километров, потеснив тайгу. Где-то здесь стояла бревенчатая школа, в которую ходил Саша Косьяненко.

Вахтовый автобус катится по новому шоссе, мимо поселков Лунный, Таежный, где живут разведчики. На обочинах — щиты с плакатами. Можно узнать, не выходя из автобуса, сколько домов построили за последние пять лет в Сургуте; когда введут в строй мощную электростанцию; как увеличивается население древнего сибирского городка, который становится столицей Приобья. И, конечно, главное место в этой дорожной повести отведено нефти — она то вызвала к жизни все, что с такой поразительной быстротой изменяет облик тюменского Севера.

Отец и сын едут на работу. Младший Косьяненко полетит с вахтой на буровые вышки. Владимир Лукьянович повезет бригаду испытателей скважин туда,

где ударил фонтан нового, Федоровского месторождения нефти.

— Скоро наш Сургут поднимется на ступеньку выше, — говорит он. — С Федоровскими фонтанами, может быть, догоним Нижневартовск.

Так же, как и геологи, буровые мастера, разведчики, пилот Косьяненко обрадован новым открытием и с увлечением рассказывает о том, что Федоровка — это, наверно, сотни миллионов тонн отличной нефти.

— Ну если и не новый Самотлор, то как бы его младший брат...

Накануне встречи с Косьяненко я побывал около озера Пинтан-Лор. Подлетая к нему, командир «МИ-4» Олег Веденеев снизился над лесом, и можно было увидеть дым, клубившийся среди деревьев. Вскоре показалась вышка. Поодаль стояли два гусеничных тягача, дощатый «балок» на полозьях.

Веденеев повел машину в сторону от дымного пламени. Вертолет сел неподалеку от вышки, и мы увидели фонтан Федоровки. Из длинной трубы, протянутой метров на пятьдесят от скважины, яростно била струя нефти с газом. Они мгновенно сгорали, пламя с грохотом ударяло в обуглившуюся яму. Все, что выбрасывает во время испытания разведочная скважина, сжигают, чтобы не загрязнять тайгу. Наблюдая за тем, как «дышит» фонтан, сколько выталкивает нефти, с какой силой она рвется вверх, геологи оценивают свою находку.

Испытания этой скважины и еще нескольких фонтанов внушают уверенность, что севернее Сургута найден очень ценный клад. И Косьяненко вовсе не фантазирует, ожидая, что Федоровка окажется «младшим братом» Самотлора... Так или иначе, но его полеты к Федоровке увенчались большой удачей. Он говорит:

— Нет, не зря жгли на этом маршруте бензин...

За десять тысяч летных часов Косьяненко побывал на многих маршрутах поисковых экспедиций, но самые памятные пролегают здесь, вдоль Оби. И при этом самые трудные.

— Геологи пошли далеко на Север, — говорит он, — выходят уже к океану. Наверно, не остановятся на берегу, попробуют взять нефть со дна Северного Ледовитого...

Если Владимир Лукьянович к тому времени «отлетается», его сын увидит просторы океана.

Полдня я провел в Сургутском аэропорту, ожидая рейсового «АН-24» на Тюмень. Он не мог пробиться сюда из Омска: видимость ниже нормы, тяжелые снежные облака едва не цеплялись за кроны кедров и лиственниц.

Но гул моторов не затихал над площадкой, где взлетали и садились машины вертолетных подразделений. В этот сумрачный, промозглый день робкой сибирской весны, как обычно, по графику сменялись вахты на вышках, выросших в тайге, и один за другим отправлялись в рейс «МИ-4», «МИ-8». Шли они невысоко, под темной кромкой облаков, так что можно было разглядеть лица пилотов.

Отряды искателей сокровищ Тюмени и в этот непогожий день имели крепкую поддержку с воздуха...

АЛЕКСЕЙ
ФРОЛОВ

ЗАЯВКА НА РАДУГУ



Возвращаясь летом с далекой сибирской стройки в большой город, каждый раз испытываешь смешанное чувство. Глаз жадно хватается сочную зелень придорожных посадок, многоцветье клумб, пеструю одежду горожан. Вся эта малая малость волнует, путает мысли, кружит голову. Не скоро понимаешь, отчего все так. А когда озарит догадка, долго противишься ей: пустяк, быть того не может... Но — никуда не деться: природа распорядилась Тюменским краем в полном соответствии с законом равновесия. Насколько богат этот край нефтью, газом, деловым лесом, зверем и рыбой, настолько неприветлив, неуютен, беден красками. Там, в тайге, среди озер и болот, скучно, тоскливо без настоящих, привычных красок. Зеленое там вовсе не зеленое, голубое не голубое, а словно увиденное в сумерках; тайга черная; вода в озерах и реках, как крепко заваренный чай. Мудрено ли то смешанное чувство облегчения и радости, которое испытываешь, возвращаясь на Большую землю?

Ты возвращаешься, другие остаются.

Однажды на дороге Тюмень — Сургут я наблюдал необычное зрелище. После грозы, когда дальний край неба был еще затянут тучами, над головой зажглась радуга — яркая и близкая, такой раньше никогда не приходилось видеть. Она прожила недолго — считанные минуты. И за эти минуты весь поселок высыпал на оплывшую после дождя улицу. Люди стояли, запрокинув головы, ни возгласа, ни восклицания. Странная разлилась кругом тишина... Радуга растаяла, и молча, как прежде, все разошлись по своим делам.

Однако самым удивительным было продолжение. Неделю спустя я услышал, как на пяточке у конторы главный инженер отчитывал двух девчонок-маляров. Говорились жесткие слова о самоуправстве, разбазаривании народного добра. Девчонки хлюпали носами, ежились под ехидными взглядами публики в спецовках — было утро, час развода на работы, и народу у конторы толпилось немало. Наругавшись вволю, главный безнадежно махнул рукой, и девчонки поплелись на объект. «Черти, — сказал мне

обиженно главный. — Мы этой краской хотели детский садик внутри покрасить. А они?...»

Случилось вот что. В верхней части поселка, у самой кромки тайги, совсем недавно поставили десяток домиков. Домики оштукатурили снаружи для тепла. Скоро туда должны были переселить семейных из общежития. Ждали только, когда просохнет штукатурка. И вот, проснувшись в то самое утро, главный инженер не поверил своим глазам: на взгорке, как кубики на витрине, весело грудились разноцветные дома (когда я увидел эту картину, мне сразу вспомнилась радуга — так искусно был подобран колер и продумано чередование цветов. Чем ближе к черной стенке тайги, тем ярче краски. Казалось, тайга зажигается от оранжевого, красного). Тут же были найдены виновники — те девчонки-маляры. И тут же был дан справедливый нагоняй: в таежном поселке, оторванном от большой земли, каждый гвоздик, каждый кирпич, каждый пучок пакли на вес золота, и вдруг такая непозволительная роскошь...

Я разговаривал и с девчонками. Они долго отмалчивались. Потом одна из них (помню ее имя — Валя. Помню, что она с Украины) сказала: «Здесь все так серо!..» И тогда я многое понял. И фраза, уже готовая сорваться с языка («Серо... Но куда денешься? Природа распорядилась краем по справедливости — в полном соответствии с законом равновесия»), — эта фраза так и не была произнесена. Я понял, что поступок девчонок был все-таки справедлив, и справедлив по самому высшему счету. Он выдавал пока необдуманное, стихийное нежелание мириться с серостью окружающей жизни, даже если эта серость находилась в полном соответствии с объективным законом равновесия. За этим поступком виделся и современный молодой человек, которому не безраз-

На встрече в редакции (слева направо): Александр Барахтянский, Леонид Петрушин, Александр Лозенко, Юрий Круглов, Виктор Васькин, Виктор Архипов.

Фото А. КАРЗАНОВА.

лично, в каких условиях осваиваются богатства края. Который связует понятие переустройства мира не с самообеднением, урезыванием развитых потребностей, а с непременным обогащением, качественным человеческим ростом. Возможно ли все это, когда в смету заложены огромные средства на плановое строительство промышленных объектов, а, скажем, забота об эстетическом уровне жизни строителей находится на откупе случая? Ведь тот конфликт, о котором я рассказывал, обострился как раз потому, что серая, неприглядная природа края была как бы под стать серому, унылому жилищу первопроходцев, рассчитанному на минимальные потребности — было бы сухо да тепло...

Так было два года назад. Сегодня на строительстве дороги Тюмень — Сургут ситуация несколько изменилась. И хотя поселки строителей по-прежнему мало радуют глаз, редкий руководитель недооценивает важности эстетики для стройки, влияния красивого на нравственное самочувствие людей, на отношение к делу, на решение вечного для Севера вопроса: уехать или остаться?

Но понять, оценить — половина дела. Решить проблему труднее, хлопотнее, ибо здесь возникает не только этот немаловажный вопрос: как, чьими руками сделать, чтобы было на трассе красиво? По штату строительно-монтажным поездом художника не положено. Отлично, если среди ребят окажется художник. Но людей нанимали строить дорогу. Умеешь ли ты рисовать, в отделе кадров не спрашивают. И опять надежда на случай.

Вспоминаю столовую в поселке Кинтус на пятидесяти километре трассы. Она оформлена «шикарно», и местное начальство говорит об этом с гордостью. Здесь не жалели красок и металла для чеканки и трафаретов для надписей типа: «Прежде чем пища понравится рту, она должна порадовать глаз». На деревянных колоннах по два светильника тоже с надписью через трафарет «Приятного аппетита!».

«Безвкусица! Голые стены были куда приятней...» — говорят ребята-строители. А ведь от всего этого теперь долго не избавишься. Немалые средства заплачены случайным людям... И во многих клубах, столовых, красных уголках семисоткилометровой трассы та же картина — безграмотная скоропись за хорошие деньги.

Таким способом не переплутать тюменской радуги. Да и не решишь серьезной человеческой проблемы руками халтурщиков. Где выход?

Я говорил об этом со многими руководителями строительно-монтажных поездов. Прекрасные инженеры и организаторы, они здесь беспомощно разводили руками. Дело для стройки новое. Опыта практически никакого. Дайте специалистов!

Летом прошлого года на трассе работал специализированный студенческий отряд «Юность». По заданию редакции Виктор Архипов, Юрий Круглов, Александр Лозенко, Леонид Петрушин, Виктор Васкин, Александр Барахтянский — шестеро молодых художников из московского Суриковского института — оформляли жилье на дороге. Для огромной стройки шесть человек — капля в море. Но никто и не ставил перед ребятами сверхзадачи: сделайте, что успеете, но ваша работа непременно должна быть эталоном красивого, простого и современного.

Когда ребята вернулись с трассы и устроили в редакции отчет о поездке, было интересно узнать, что сделали они за три с лишним месяца. (А сделано немало. Оформлено кафе, фойе общежития и детский сад в комсомольско-молодежном СМП-522, некоторые помещения управления строительства в Тюмени. Фрагменты оформления и рисунки из путевого альбома ребят вы сможете увидеть на третьей стра-

нице обложки.) Но главным было впечатление о стройке и мнения ребят о работе на будущее.

Вначале им пришлось нелегко. Для большинства поездка в Сибирь была первой.

— Поразил размах стройки, — рассказывал Саша Лозенко. — Семисоткилометровая строительная площадка — это и сейчас с трудом укладывается в воображении. А в той работе, которую мы делали, нужно было передать особенности трассы. Попробуй ухватить!.. Провозились с эскизами полтора месяца...

— Долго привыкали к климату. Пасмурно, дождь да дождь. Как выйдет солнышко, глядишь, эскиз уже по-другому смотрится. Порисуй, когда денно и нощно над тобой кружит туча комаров!.. — Это Виктор Васкин.

— Не сразу наладились контакты со строителями, — говорил Саша Барахтянский. — Смотрели на нас ребята сначала без доверия. Кисть — это тебе не ломик и не домкрат. Да и репутация художника была подпорчена на трассе халтурщиками... Потом, когда у нас пошла продукция и мы сутками не вылезали из мастерской, лед тронулся. После тяжелой работы приходили к нам ребята-строители — помочь... Поняли что к чему...

— За эти месяцы мы как бы взаимообогатились. Что могли, дали стройке. И стройка нам дала немало. И жизненные наблюдения, без которых художнику нельзя; и понимание важности той скромной и будничной работы, которую делают наши сверстники на дороге... Когда мы собирались на Тюмень — Сургут, смешно вспомнить, даже СМП — строительно-монтажный поезд представляли себе буквально: паровоз и состав на колесиках. А ведь это мощная строительная организация...

Строительно-монтажный поезд передвигается по мере того, как идет укладка пути. И потому фундаментальное оформление (скульптуры, резьба по бетону) для него непригодно. Тяжелеей при переезде и своих хватает. Нужны работы в планшетном исполнении, на легких материалах — древесностружечной плите, гипсе, металлических листах. Таково мнение Юрия Круглова, комсорга отряда.

Леня Петрушин считает, что в условиях капризной тюменской погоды бесполезно раскрашивать поселок дедовским способом. Дожди и ветры очень скоро обесцветят самые яркие краски. Почему бы на заводах, где изготавливаются сборные дома для строителей, не организовать окраску щитов промышленным способом и разноцветными водоотталкивающими красителями? (Замечу кстати, что это было бы весьма полезно и для сохранности разборного жилья. При переездах одинаково серые щиты путаются, теряются. И на новом месте домики сколачивают из того, что попадется под руку. А неприглядные, разрозненные щиты — это всегда холод и сырость в доме.)

Командир отряда Виктор Архипов говорил о том, что надо бы привлекать к работе по оформлению трассы больше людей. Студенты старших курсов Суриковского института охотно примут участие в конкурсе проектов оформления дороги — только позови.

Предложений у ребят было много, и эти предложения еще предстоит суммировать и изучать. Но вот что показалось мне особенно важным: может, не сразу, через год-два, мы сумеем спустить тюменскую радугу на землю. С помощью ребят из Суриковского. Они уже сделали на то серьезную заявку.

АЛЕКСАНДР
ТКАЧЕВ



ДЕСЯТЫЙ апрель Драгина

Тринадцать лет назад понятие «целина»
как бы удвоилось по смыслу:
от целины пятидесятих годов
отпочковалась целина студенческая,
по преимуществу строительная.
Целина как таковая была тогда большим,
знаменитым словом,
а целина строительная,
как и полагается новорожденному,
была словом маленьким.
Сегодня студенческая целина
тоже стала знаменитой.
Мои товарищи не одно лето работали на Сахалине
и в Забайкалье, в Казахстане и в Подмоскovie.
Я видел отряды в зеленой форме на Ямале,
там строится газопровод,
я видел отряды на Кольском полуострове —
там строится автомагистраль
Ленинград — Мурманск.
Я уверен, что доведись мне
этим летом еще куда-нибудь попасть...
В общем, достаточно в конце августа
пройтись по центру Москвы
и почитать надписи на «целинках»,
чтобы понять, что эта целина
охватывает всю страну,
от рубежа до рубежа.
В Московском штабе
студенческих строительных отрядов
меня познакомили с молодым
преподавателем Леонидом Драгиным,
опытнейшим целинником.
Драгин — командир студенческих отрядов
Московского инженерно-строительного института,
заместитель секретаря комитета комсомола МИСИ.
Человек он деловой, сдержанный в суждениях,
точный в оценках.
На целине обстановка редко бывает спокойной,
и хладнокровие
командира десятикратно ценнее
командирской крикливости.
По опыту знаю: если командир кричит —
плох командир и дела в отряде плохи.
Драгин спокоен.
Всегда спокоен. Внешне.

— Справедливости ради хочу кое-что уточнить, — сказал мне Леонид Драгин в начале разговора. — На рубежах СССР студенческая целина еще не заканчивается. Существуют интеротряды, которые работают в других странах. Так что при желании можно придаться к словам известной песенки: «У студентов есть своя планета, это целина...» Правильнее сказать, что наша целина — это вся планета, вся Земля, — неплохо, а? Можно чуточку погордиться... Другое уточнение касается возраста студенческих строительных отрядов. В Московском инженерно-строительном институте, где я работаю, счет им ведется с 1958 года, а физики МГУ поехали в Казахстан в 1959 году. Наши ребята ездили на целину на год раньше физиков.

— Как же могла случиться такая несправедливость, что первенство отдали университету? — спросил я.

— Мы не заботились о патенте. Физики оказались догадливей: они выработали устав и сформулировали основные принципы движения. Мы оказались в положении скандинавских викингов, физики — в положении Колумба.

— А меня ты ставишь в положение ловца сенсаций и борца за попорченную справедливость...

— Упаси бог! Я сужу трезво и не собираюсь охавать физиков. Они молодцы. Они добились общественной огласки, показали значительность нового дела. Они поняли, обобщили теоретически то, что мы не смогли поднять над уровнем эмпирики.

— А в каком году, Леонид, была твоя первая целина?

— Давно уже, в шестьдесят четвертом.

— А последняя?

— Этим летом.

— Итого — девять раз. Стаж редкий и завидный. Две моих целины выглядят рядом более чем скромно, как второкласска рядом с девятиклассником. Но что стоит за твоими девятью? У нас ведь нет обязательной целинной «десятилетки», а чтобы узнать, что такое строительный отряд...

— ...достаточно и одного раза, — подхватил Драгин. — Такого впечатления, как с первой целины, потом ни с какой другой не привезешь. Элемент новизны потом исчезает. То, что первоклассника потрясает, для шестиклассника — ерунда. Я езжу на целину не за эмоциями... Хотя новые места, конечно, вещь интересная, я доволен, что посмотрел Союз...

— Кстати, где побывал?

— Да уж от Черного моря до Тихого океана. Три года Казахстан, два года Краснодарский край, два года Подмоскovie, потом Сахалин и Москва. Ничего необычного не строили: птичники, зерносклады, теплотрассы, жилье, теплицы. Набор объектов, сам видишь, стандартный. Но я хочу вернуться к недосказанному. Затрудняюсь выразить свое кредо одним словом, поэтому прибегну к сравнению. Когда человек учится новому делу, допустим, плавать, ему

поначалу бывает достаточно держаться на воде. Потом уже хочется большего: плавать легко, красиво, быстро. Применительно к целине можно сказать, что все мы в первый раз бываем неумелыми пловцами, которые барахтаются, не помышляя о красоте и совершенстве движений. Не до них!.. Но опыт дает сноровку, желание совершенства подкрепляется какими-то успехами и распаляется какими-то неудачами, которые заставляют «продолжать тренировки». Меня увлекает и работа как таковая и работа с людьми.

— Если я правильно понял, тебя увлекает возможность совершенствовать профессиональные навыки и строителя и руководителя производства? Так?

— Это так. Все мы за малым исключением начинаем с простейших строительных операций. Боец получает навыки каменщика, плотника, штукатура. Это начальная ступень, которая соответствует умению держаться на воде... Хорошо, но мало! Поэтому я не вижу особого резона для будущего инженера-строителя ездить девять раз на целину, чтобы стать каменщиком-виртуозом. Тут шире нужно смотреть. Шире и глубже. Надо человека, овладевшего двумя-тремя рабочими специальностями, пробовать на роли мастера или бригадира, сшить-таки в счет будущего. Научится работать с людьми сейчас — после института недолго будет ходить в молодых, «зеленых» специалистах. Но эта ступень тоже промежуточная. Для меня сложность — синоним увлекательности. А самая увлекательная роль в отряде — это командирская. Самостоятельность и ответственность... Командир заботится и отвечает за все: за ход работ и расстановку сил, за снабжение, за связь с местными хозяйственными и партийными организациями. Командир должен быть администратором, хозяйственником, финансистом, дипломатом и психологом. Тогда из него получится хороший строитель, настоящий строитель... На первой казахстанской целине, когда я был мастером в отряде, случилось, что в одном совхозе оказалось два отряда МИСИ. У каждого отряда был свой командир и свой штаб, свои каналы снабжения... В итоге вышла неурядица из-за материалов, и длилась она до тех пор, пока отряды не объединились и перестали угонять друг у друга грузовики с кирпичом. Этот случай вспомнился мне в 1969 году, когда сводный отряд столичных вузов строил тепличный комбинат в совхозе «Московский». Ситуация сложилась аналогичная: на одном объекте работали двенадцать отрядов «со всем своим». Им приходилось иметь дело с двадцатью стройуправлениями, пятью трестами и двумя главками. Неразбериха царил жуткая, пока при объединенном штабе мы не создали собственный диспетчерский пункт, который навел порядок со снабжением.

— Это случаи, когда командир выступает в роли организатора работ, примеры его деловой сметки. Но ведь ты считаешь, что хороший строитель должен быть психологом. Так?

— Это особый момент. Особый — по степени своей важности. Существует такое трудноуловимое понятие, как атмосфера в отряде, которая складывается из самочувствия людей, их настроения на работу. Я сталкивался с попытками превратить отряд в шабашную контору, когда на целину попадали откровенные рвачи. Случалось, что такой человек неплохо работал, тянул, что называется, лямку, но ко всем сторонам отрядной жизни, которые не сулили заработка, был цинично-равнодушен. Таких приходилось исключать из отряда. Союз рвачей не имеет ничего общего с тем, что мы привыкли понимать под студенческим строительным отрядом. Отряд хорош, когда в нем весело, когда усталые ребята смеются, а не хнычут, когда вечером — песня... В общем, когда людей объединяет чувство братства, когда они единомышлен-

ники... Командир и комиссар в первую голову в ответе за атмосферу в отряде. Мне кажется, что умение общаться с людьми и умение влиять на их настроение никому не повредят и на производстве.

— И все-таки, Леонид, плохо верится, что можно девять раз ездить на целину ради одного только профессионального совершенства. Так что твой рационализм имеет изрядную логическую трещину...

— Грешен, хотел утаить... Но выдвигать на первый план чувства мне представляется нечестным.



Леонид Драгин (в центре).

Фото А. КАРЗАНОВА.

— И все-таки?

— Я апрель люблю... Капель там, сосульки, все понятно. Но есть еще одно: в апреле начинают формироваться отряды. Я сколько раз уже по осени зарекался, думал, хватит, пора и на песочке лето поваляться. А в апреле махну рукой и решаю: последний раз! Черт с ним! Не могу в стороне стоять, когда ребята суется. Я себя неприкаянным чувствую, пока не влезу в эту кутерьму... А теперь так влез в нее... Дело в том, что сейчас строится комплекс новых зданий МИСИ, так называемый Большой МИСИ. Это стройка на пятнадцать лет, сто миллионов капиталовложений. На всех факультетах организуются отряды, которые будут работать круглый год по скользящему графику. Мне поручено командовать парадом. Это, почитай, целина, какой у меня еще не было!

— Можно считать, такой профессиональный опыт «обречен» совершенствоваться еще в течение нескольких лет. Не жалеешь?

— О чем жалеть? По-моему, апрель во все времена года не так уж и плохо. Ты не согласен?



**ТАТЬЯНА
ВОЙТЮК**



КАК ПОДНИТЬСЯ ИЗ РЕВЕРАНСА...

Страницы дневника фигуристки

Читателям «Юности»
наверняка известно имя Татьяны Войтюк.
В 1970 году вместе с Вячеславом Жигалиным
она завоевала на чемпионате Европы
бронзовую медаль в танцах на льду,
и с тех пор они неизменно входят
в число сильнейших танцевальных
дуэтов страны, Европы и мира.
Но на этот раз Татьяна Войтюк
в ином качестве.
Первооснова этого дневника — личная.
Таня ведет свои записи много лет.
Она вообще человек пишущий:
вместе с Леной Котовой выпускает веселую
и злую стенгазету сборной страны
по фигурному катанию,
которая называется «Дуга».
Однажды Таня прочла мне несколько страниц
своего дневника, и мне показалось,
что он представляет широкий интерес,
но, конечно, если кое-что написать подробнее,
а кое-что, напротив, опустить.
Мне остается добавить,
что Татьяне Войтюк девятнадцать лет,
она на третьем курсе факультета журналистики
Московского университета, и эта публикация —
ее литературный дебют.

Станислав ТОКАРЕВ

Сейчас три часа ночи. ЭлеНИУМ не действует, так что я бодрствую. Занимаюсь тем, что разглядываю мандарин. Интересно, кто первый придумал, что его можно есть? И почему не едят мандарин, как яблоко, а очищают и разламывают на дольки? Господи, до чего только человек не додумается, когда у него бессонница! В следующий раз мне, наверное, придет в голову съесть конфету в бумажке...

Хотя Ленинград для меня город счастливый, настроение от этого сейчас ничуть не лучше. Можете себе представить мой образ жизни: буфет, автобус, тренировка, автобус, буфет, сон, автобус, тренировка, автобус, буфет, телевизор (попадаю исключительно на документальные киночерки или на рекламу — покупайте хек, сдавайте вещи в химчистку). После этого ложишься спать с надеждой заснуть, но не тут-то было. Часа три ворочаешься, и при этом в голову лезут не самые приятные мысли.

Надо как-то определяться, наконец, надо найти себя: лирика или характерность? Приеду в Москву, надо доделать платье — какой вырез? Круглый? А круглый нехорошо, лицо у меня круглое. Продолговатый? А продолговатых было много. Перенести этот вырез на спину? А на спине будет партнеру мешать... И когда поточить коньки, чтобы к соревнованиям были острые? Потом вспоминаешь, что у тебя не скомпонован показательный танец, и надо бы еще один сделать. Лирический или характерный? Что публике хочется? Публика, она всегда довольна тем, что есть, но если ты ей покажешь лучшее, она уже не хочет худшего — ее все время надо кормить новым, разнообразным...

В конце концов открываешь глаза, и первое, что видишь, — это учебник современного русского языка, который лежит на тумбочке и который я за все время открыла только два раза. На смену бессоннице приходят угрызения совести.

Договорилась пойти в пятницу на консультацию, а в пятницу мы еще из Ленинграда не уезжаем, значит, надо звонить маме, просить, чтобы позвонила на факультет, предупредила. Вспоминаю, что у меня нет истории русской журналистики, потом — с радостью, что ребята обещали дать конспект по западной литературе почитать... И висит на мне камнем Слепцов, которого я не читала. Мне, правда, сказали: «Это вас красит, что вы не читали Слепцова, не засоряете голову лишними писателями». От такой «похвалы» становится жутко, но я многих спрашивала про Слепцова, почему-то его тоже никто не читал, и, очевидно, это их тоже «красит» — где бы найти «некрасивого человека», у которого есть Слепцов, дал бы мне его почитать...

И как маслом по сердцу, что еще осень и до сессии есть еще немножко времени...

Потом начинаешь анализировать: вроде все хорошо, место второе, катаю последнее время без срывов... А радости внутренней, когда тебе лететь хочется, когда всех любишь, все прекрасно, и лужи прекрасные, и грязь прекрасная, такой радости что-то нет. И последнее время чаще скептическая улыбка стала появляться, чем глупая, счастливая...

Счастливая, счастливая — я в любой момент могу представить ту ночь 1970 года, я закрываю глаза: все на меня бегут, все меня целуют: «бронза»...

Фигурное катание — это сенсации и традиции. Настоящую радость приносят сенсации, если они, конечно, приятные. Моя первая и до сих пор единственная сенсация — тот самый семидесятый год. Мне

не надо было разбираться, довольна ли я. Радость была через край, и я упивалась своим хорошим настроением. Потом мы закрепились на своем месте и прочно вошли в четверку лучших в мире, а также никому не уступили второе место в Союзе. К нам привыкли, и мы привыкли к своему положению.

Вот корабль, долгое плавание, и вдруг крик: «Земля!» — и все матросы рады, все счастливы, но проходит время, надо плыть дальше, а корабль задерживается сначала на десять дней, потом на двадцать, на двадцать пять дней, и эта земля начинает надоедать — когда же дальше?..

2

Дождь... дождь... дождь... Хорошо!
Люблю дождь.
Люблю... люблю... люблю...

Дурацкое слово. Две буквы «Л», две «Ю» и одна «Б». Буква «Л» у меня ассоциируется с чем-то благородным. Ленский... Болконский... В этих фамилиях я слышу только «Л».

«Ю». Я не люблю эту букву. Юла, юнга, юннат — сплошная незрелость, неопределенность, вертлявость. «Б». Это рабочая, простая буква. Она очень крепкая. В словах буквы крепятся к ней. Это фундамент. Она не красит, но и не портит. Ей прощают ее грубость, твердолобость так же, как гадкому моллюску прощают его безобразие, когда в его раковине находят жемчужину. Я очень почтительно отношусь к букве «Б». Я ее уважаю.

А вообще мне не хватает букв и не хватает слов. Вот, например, сейчас. Прошел дождь, и на улице какой-то необыкновенный запах. Но, сколько бы я ни старалась, я не могу его передать словами.

Из букв складываются имена. Каждое тоже ассоциируется с каким-то характером. Интересно получается: рождается человек, никто не знает, как сложится его жизнь, родители дают ему одно из имен, какое им больше нравится, а потом он в это имя вырастает.

Тарасову я не могу представить себе ни Верой, ни Людой, ни Леной. Только Татьяна, Таня. Это имя можно произнести очень твердо, жестко. А можно мягко и нежно. Так и Татьяна Анатольевна Тарасова, наш тренер. Она веселая, если не грустит, добрая, если не сердится, заботливая и нежная, если обращает на тебя внимание.

Это имя звучит уверенно, непоколебимо. И Тарасова такая же. Она всегда точно знает, что ей надо делать и как. Такой мы привыкли ее видеть. Но я знаю и другую Тарасову, которая волнуется, переживает, сомневается.

Она сомневается, когда программы еще нет, когда она ищет музыку, прослушивает километры пленки, сидит, уставясь в одну точку. Она меня тоже приучила слушать музыку не просто, а в связи со льдом: аккорд — акцент. Вот она сидит и вдруг услышит кусок, и непонятно никому, почему именно этот, почему вдруг она говорит тихо-тихо: «Ну-ка, еще раз» — или вдруг сразу взрыв, крик, радость...

Никто не видит, как это будет, не верит, что получится, и она говорит нам, что мы ничего не понимаем, я спорю, она убеждает, и мы вдвоем уже влюбляемся в музыку, в новую программу...

Она волнуется перед соревнованиями: ходит с расческой, с бутылкой лака, чтобы всех нас причесывать и разок провести по своей голове, с пачкой таблеток и пачкой сигарет (от сигарет болит голова, от таблеток вообще-то тоже не проходит), и вся красная и молчит...

Перед стартом всем нам, всем ее ребятам, надо

видеть ее за бортом. Я, когда катаюсь, на Тарасову смотреть не могу, я вообще не могу видеть никого, когда катаюсь. Я ее не вижу, но очень чувствую, и если я о чем-то думаю — а я редко думаю на льду, мне это мешает, — то представляю Таню, как она в трудный момент говорит: «Выдохни». Мы катаемся один раз за вечер, а она со всеми нами, дышит, где надо, она с Ирой Черняевой прыгает, Ирке тяжело прыгать, а ей еще тяжелее...

Как она нас встречает со льда: выходим, и скорее бы обняться, ни у нее сил нет, ни у нас, кто кого держит, непонятно. Мы целуемся, и в этом целуе все — окончательное примирение, все ссоры позади, мы со всем согласны.

Она целует нас и повторяет: «Все, киски мои, вот и все», — а оператор просит помахать телезрителям ручкой, мы машем — я сначала только маме, потому что она сейчас сидит у телевизора и плачет. Она, конечно, опять от волнения ничего не видела.

И другая Татьяна через час, когда начинается разбор катания. Все разложено, все проанализировано, как будто она бог знает сколько времени над этим просидела, — такое впечатление.

Слава. Слава Жигалин, мой партнер. Соловей — так и я его зову и Татьяна. Два разных слова начинаются с буквы «С». Сила и Слабость. Это черты моего партнера. Он сильный потому, что терпеливый, настойчивый, выдержанный, трудолюбивый. Слабый, потому что доверчивый и очень добрый.

Наш Славик никогда не спешит, никогда не опаздывает. Я всегда удивляюсь, как он все успевает делать. У него не бывает непредвиденных обстоятельств, все по плану. И он выполняет этот план спокойно и добросовестно. Кросс — это задание, в котором нас никто не проверит. Сказали: бежать 40 минут, а можно ведь и 39, но Славка даже не представляет, как можно пробежать 39 и остановиться, он ни на йоту не разрешает себе никаких поблажек.

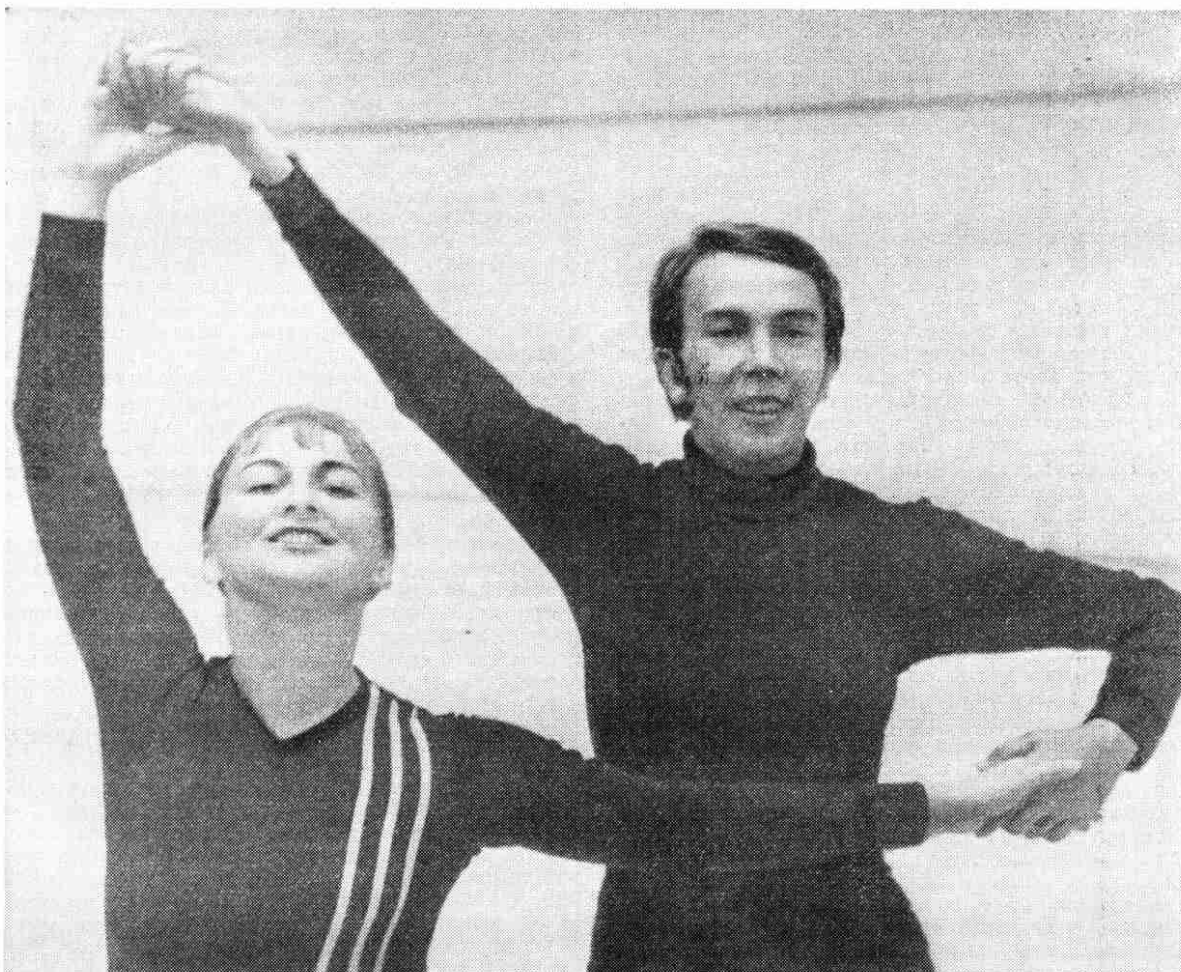
Спокойствие Славкино... Вот опять же соревнования. Он тоже молчит, как Тарасова, мы мало общаемся словами. Перед выходом Славика надо всегда выдохнуть, поправить свой фрачок, который всегда утянут в талию (с этим борешься: «У тебя и так утягивать нечего!») Волосы... И с этим много боролся, как ни лачили, вихор на затылке всегда поднимается. И мой взгляд — сначала на Славкин фрачок, потом на волосы, потом в глаза. Это вопрос и ответ: «Все?». «Все». «Пошли?». «Пошли».

Говорят, он флегматичный. Что это не так, выдают Славини руки. Они у него нервные, тонкие, нежные и все что-то теребят — то фрак обдергивают, то вихор приглаживают... Мне на него не надо смотреть, надо взять его руку, она теплая, и он ее никогда крепко не сжимает, даже в танце. И мне спокойно, если я держу его руку.

Перед стартом, на разминке, некоторые ездят по отдельности, а я не могу оторваться от Соловья, и через руку идет разговор — мы ни одним словом не обмениваемся.

А слабость Славкина... Не в полном смысле, что он чего-то боится. Он терпеливый, и я иногда представляю, что вдруг мы с ним попали куда-то в гестапо и нас бы пытали... Из него слова не вытянешь, но у него такие глаза: «Зачем вы это со мной делаете, я все равно ничего не скажу, зачем вы меня мучаете?..»

Когда мы только пришли в сборную, над ним часто подтрунивали — ребята в сборной разбитные, веселые, им палец в рот не клади, — и мне за него было обидно, а он смотрел на них, и молчал, и думал: «Что я буду связываться, все равно вас не перекричу».



Шутку может принять за чистую правду. А когда поймет, что к чему, что это обман, то не обидится, а посмотрит как-то вбок и промолчит. И свято верит в раскаяние: я иногда бываю на тренировке неправа, и стоит мне сказать: «Ой, ты знаешь, это вообще-то я неправа, Слава», — и у него появляется такая улыбка, точно я его чем-то одарила, и он едет, работает...

С ним легко и очень трудно. Бьемся над куском, и я ему говорю, что он виноват, виноват, не туда едет, и он молчит, а потом вдруг тихо-тихо скажет: «Знаешь, это ты не туда ногу ставишь» — это уже когда меня трясет. И мы все проверяем, и оказывается, я ногу не туда ставлю. И такое тут счастье и у одного и у другого! «Слава, ты хоть пораньше говори». «Ладно, я буду». И в следующий раз тоже скажет только тогда, когда меня начинает трясти.

...Пахомову зовут Мила, а Смирнову зовут Люда. Хотя обе Людмилы. Люда — это Людушка, Душка. Людушка у нас такая — слова «нет» у нее не бывает, она хочет, чтобы всем было хорошо. Если соберемся компанией, она не заводила, но будет хорошо так реагировать на все: если все смеются, она будет хотеть, если всем грустно, и ей грустно, она с удовольствием будет всех поить кофе, всех угощать. Она полутон какой-то...

Мила Пахомова... Ми-ла — что-то гладкое и блестящее. Пахомова — звучит крепко, властно. Мила внешне всегда блещит, это всегда ярко, самобытно,

и большой замок, несмотря на то, что она вроде общительная. Милу расстроенной я не видела, она умеет держать себя в руках. Она меня очень интересуется, но что под ее замком, я не знаю. Думаю, что ей не всегда легко и ярко. Может быть, так и надо, как она. Я так не умею.

Фамилия Пахомова — это для меня как крепкий панцирь, такой непроницаемый. А Мила — это блеск, гладкость, верхний слой панциря.

3

А это, пляж. Блаженные, уставшие от отдыха люди. А у тебя прыжковая тренировка. Туры, многоскоки, пружинящие прыжки для голеностопа. Отдыхающие сначала косо поглядывают на нас, потом перекладывают подальше свои вещи (мы слишком пылим). Всегда найдется знающий человек, который спросит, что за ансамбль приехал. Недоверчиво посмотрит на наши прически и костюмы, когда услышит, что мы фигуристы. Нас привыкли видеть по телевизору нарядными и накрашенными...

Осень, ноябрьский праздник. Люди идут в гости, на демонстрацию, в кино, в театр. А у нас по плану работа над обязательными танцами и прокат произ-

вольного — по большому куску. И еще, как подарок к празднику, сорокаминутный кросс.

Зима. 31 декабря. Самый любимый, самый радостный, самый красивый праздник. Все по традиции в этот день подводят итоги, вспоминают перемены в жизни, которые принес год, радости и огорчения.

И у нас тоже есть традиции. 31 декабря группа Тарасовой катает целиком свои произвольные программы. Это не просто дежурный тренировочный прокат. Все очень торжественно. Как на соревнованиях, тянем стартовый номер, затем после пятиминутной разминки все покидают лед. На старт выходит первая пара. Неважно, что на трибунах нет зрителей, что мы не в нарядных платьях, а в тренировочных костюмах и судьи не оценивают наши выступления по шестибалльной системе. Для нас это серьезное и очень ответственное выступление.

А вечером мы уговорим администратора гостиницы и принесем в номер елку, тоже будем вспоминать, будем смеяться. Тарасова начнет танцевать, начнет нас жалеть: «Милые вы мои, я вас так замучила, а меня, помню, с шоколадом ходили уговаривали, чтобы я программу катала». Или пустится вспоминать, какими мы были молодыми, Славочка была причесанный и аккуратненький, а Ирочка Моисеева все дрожала, как желе...

Я написала: «какими мы были молодыми». Я часто думаю об этом. Вот на факультете ходят умные мальчики и озабоченные девочки с блокнотами, с «репортажами», они знают жизнь, всегда тебя учат, и я не спорю: я один раз заспорила, а мне сказали, что спорт — это несерьезно. Им кажется, что спорт — это несерьезно. Им кажется, что спорт — это бег трусцой ради жизни, а потом пьедестал и музыка... У них все розовое-розовое, а у меня такое состояние было в тринадцать лет, и потом я поняла, что бывает и серое и, наверное, черное.

Спорт — это вся жизнь, но сконцентрированная. Так в художественном фильме за полтора часа показывают жизнь человека, а у нас за десять лет укладывается то, что надо прожить за шестьдесят: мы маленькие, потом мы взрослеем, становимся зрелыми, стареем и уходим...

И чувства все концентрированное. Обиды в тысячу раз обиднее. Мне мама иногда говорит: «Ты не знаешь чувства ревности». Но мне, может, уже не будет так горько, если меня оставит любимый человек, как было в тринадцать лет, когда меня оставил мой партнер Гена Карпоносов...

Но настоящий праздник, наш праздник наступил вчера.

Закончилось первенство Союза 1971 года. Ура! Результат: хороший прокат, второе место, хорошее настроение. Второй день соревнований пришелся на старый Новый год. Мы со Славой вышли на старт катать оригинальный танец без двух минут 12 и закончили выступление в 0 часов 1 минуту.

За встречу старого Нового года выпили водички и крикнули «Ура!»

4

Когда вспоминаешь соревнования, перед глазами — город и Дворец спорта.

Ленинград... Большие дома, большие мосты... Большой дворец...

Гармш-Партенкирхен: снег, горы, мороз, солнце и лед...

Вот Америка — огромное пространство и сплошные дороги, и все видишь как будто через увеличительное стекло — дома, большие машины, длинные

прямые улицы. Исключением был только каток в Колорадо-Спрингс: маленький неуютный домик, низкий потолок, темные скамейки трибун и дым — густой, вьедливый сигарный дым...

Ташкент — это три цвета: зеленый, желтый и белый. Зеленые улицы, сады, клумбы. Желтые глиняные дома на окраине, желтоватые от загара лица горожан. Белый Дворец спорта, белый лед, и много-много белых цветов.

Уютный Ростов, в котором живут гостеприимные люди. Там, во Дворце, после тренировки нас всегда угощают чаем.

Рига... Дождь, узкие улочки, красивые темные дома, хорoshiй, удобный каток. А если зажмуриться покрепче, то Рига — это свечи, орган и розы.

Париж проездом... Париж! Париж! Париж! Это кружево. Начиная с решеток на окнах и кончая Эйфелевой башней. Париж с высоты птичьего полета — какой ты большой, светлый, легкий! Тысячи труб, трубищ, трубешек. Кружево балконных решеток, тонкие изгибы женских ног и ножек столиков в кафе.

Спасибо тебе, Париж, за Нотр-Дам.

И Москва. Дом, бесконечные телефонные звонки, университет, друзья, холодный каток «Кристалл», фразы «надо сделать» и «не успеваю». Москва — это метро, переполненный автобус, постоянное желание попасть в театр, которое, к сожалению, редко исполняется. Лужники, прекрасный Дворец спорта, двенадцать тысяч зрителей, очень требовательных...

И мама...

Что объединяет для меня все эти города, родные и чужие? Лед. И я на льду.

Когда я катаюсь, у меня бывают два ощущения. Одно, когда я все вижу, ноги идут сами по себе, а я лихорадочно думаю... О разных вещах: советы мамы, советы Тани, лица на трибунах — равнодушные или взволнованные — словно со мной катаются... Это самое ужасное ощущение — если не приведет к срыву, то все равно не будет хорошего проката. Я вижу себя, свой на груди конечек, талисман, его мне Ира Гришкова подарила, и он зацепился за камешек на платье, я рванула, мне показалось, что он упал, значит, я сейчас тоже упаду...

Нервный прокат, очень-очень контролируемый: я чувствую, что я не улыбаюсь, я начинаю улыбаться, но улыбка идет не изнутри, деланная улыбка... Начинаю думать, что мне надо дышать... В общем, если на первых шагах танца приходят мысли, то, чтобы от них избавиться, я вспоминаю какую-то фразу — вот в одной нашей программе была музыка из фильма «Май фер леди», и я вспоминаю фразу «Я танцевать хочу, я танцевать хочу» и начинаю в ритм музыки твердить эти слова, пока не собою себя с мыслей. Иногда так от них уйти и не могу и до самого конца твержу эти слова...

И бывает другой вариант. Выдохнешь на старте и с этим последним выдохом прогонишь все постороннее. Зрители — какая-то общая масса... Судьи — вообще их нет... Ни одной мысли — ни одной, ни одной, ни одной. Только внутри музыка. И чувствуешь свое тело, его радость. Я не вижу партнера, не вижу, я и он в танце одно целое... И когда танец кончен, последний аккорд, ты ничего не видишь и не слышишь, и откуда-то издалека гулом наплывают аплодисменты...

Ты возвращаешься в мир, садишься в реверансе и чувствуешь, что нет сил встать.

Первое слово, которое приходит на ум: ВСЕ.



В ГОРОДЕ БОБРУЙСКЕ— ПЕРЕД НАЧАЛОМ СПЕКТАКЛЯ

Мелкий дождик слабо, точно нехотя, поливает мостовую, нечастых прохожих, высокие заборы... На заборах мокнут редкие афиши. Я подхожу к одной из них, разглаживаю рукой намокшую бумагу и очень скоро нахожу фамилию, которую ищу,— актер В. Шушкевич.

Отыскиваю в кармане бумажку с адресом, который дала мне его мама: «Только скажите, чтобы он хорошо питался. Замучается по столовкам». Минут через пятнадцать вхожу в его неприхотливую комнату: железная, облупившаяся вконец койка, покосившийся стол, стул, заменяющий платяной шкаф, гора книг в углу, а друг мой сладко спит на этой облупившейся койке.

Валера был любимчиком нашего преподавателя латыни. Шушкевич щелкал латынь, как семечки. Мы пропали бы без его подсказок. И вот как-то он всех ошарашил — вышел отвечать латинисту и «поплыл». Через несколько дней картина повторилась, после еще и еще. Даже я, для которого латынь была почти любого кошмара (из-за латыни я впоследствии и сбежал с филфака на журфак), пытался пристыдить его:

— Доведешь так старика до инфаркта. Ты же его гордость...

А он в ответ:

— Ухожу из университета.

— Куда?

— В театральный.

И тут я вспомнил, что тысячу раз он пытался заставить меня на спектакли студии «Юность» при клубе железнодорожников имени Ильича, а я из боязни, что придется выдавливать из себя наигранный во-

сторг, все отнекивался. Но теперь-то я пошел и увидел...

Я не буду сейчас подробно рассказывать об этой студии. Скажу только, что руководил ею человек, фанатично преданный театру,— Владимир Балабохин. На спектакли студии приходили актеры из профессиональных театров. Все звезды студии — Шушкевич, Полухина, Филатов — ушли учиться в театральный, но студию не оставили. Им запрещали в ней заниматься — мол, самодеятельность испортит, а они — теперь не страшно открыть этот секрет — продолжали играть, правда, под псевдонимами. Балабохин поставил «Идиота», «Разгром», «В ожидании Годо»...

Наконец-то Валерий проснулся и, тараща на меня глаза, спросил:

— Ну, как тебе мое жилье?

— Вполне.

— Дворец! Сперва, как только приехали сюда, по квартирам мыкались. Теперь у каждого над головой крыша. У нас квартира на тронх — гримерша, актерская семья и я. Очень здорово! Особенно, когда до зарплаты не дотягиваешь...

Мы идем к месту, где некогда был старый дощатый театр — Могилевский областной театр музыкальной комедии (в скобках добавлялось место его истинного нахождения: Бобруйск). Оперетта прилась по вкусу в столице, и ее, пополнив новыми исполнителями, перевели в Минск, а покосившееся здание осиротело. И вот тогда-то, два года назад, пришла кому-то идея: «А почему бы не открыть в Бобруйске новый театр? Есть неплохой выпускной курс в театральном институте, вот если бы его в полном составе, с готовыми дипломными спектаклями...» Ребята же, и среди них в первую очередь бывшие студийцы «Юности», загорелись: «Делать свой театр!» Вот так и явился на свет Могилевский театр драмы и комедии (а в скобках, как и прежде, добавляется: Бобруйск).

Валера останавливается:

— Ты смотрел фильм о Балабохине?

— Смотрел.

Расставшись со студией «Юность», Балабохин уехал в Ленинград. Там на телевидении шли переговоры о постановке фильма по его сценарию, несколько театров заинтересовались его пьесами, а пока он работал вторым режиссером одного фильма. Так вот, шли съемки. На горе стоял автобус. Долго стоял, а после сорвался и помчался с горы. Все разбежались, а на пути его осталась старая гримерша. Ей кричали, но она не слышала. Тогда Балабохин побежал к ней. Гримершу он оттолкнул, а сам не успел отскочить...

— Если бы ты знал, как мечтал Володя о своем театре! Настоящем! — говорит Шушкевич.

Знакомый режиссер с Минской киностудии, помню, рассказывал мне:

— Представляешь, поехал я снимать Бобруйский театр. А у них как раз выездной спектакль. Приезжаем в деревню. Спектакль идет на поляне, плотно окруженной людьми. И вдруг гроза, ливень. И ты знаешь, никто не сдвинулся с места — ни актеры, ни зрители...

Расспрашиваю об этом эпизоде Шушкевича.

— Ребята наши играли «А зори здесь тихие...» Спектакль шел прямо на поляне. Когда гроза началась, никто не ушел. Играли без антракта...

Театр на выездах бывает часто. И не всегда, кстати, по доброй воле. В помещении старого театра новые хозяева еще обжиться-то не успели, как над головой затрещала крыша. Авторитетная комиссия сочла здание слишком ветхим и подписала категори-

ческое: «Под снос...» Новоиспеченный театр подселили в городской Дом культуры. А там — народный театр, танцевальный ансамбль, музыкальная школа.

Еще одна трудность. Театр оперетты оставил после себя часть труппы. Ее нужно было пристроить. Пристроили в новом театре...

Спрашиваю Валеру:

— Скажи честно, тебе здесь все нравится?

— Куда там! Нет, конечно! Роли, правда, хорошие дают, да не в этом дело. Главреж наш, Королько, да и мы тоже из кожи лезем, чтобы сделать театр со своим лицом, своим репертуаром, своей творческой платформой. Кое-что удалось сделать, но работы еще хоть отбавляй. Мы ж зеленые совсем. За год-два даже гениям ничего не удавалось сделать. А ты начинаешь: «Нравится — не нравится»...

— Но ты ведь не собираешься сидеть здесь всю жизнь. Год-два пройдут, силу почувствуешь да и уедешь! Тебе ведь в республиканских театрах уже сейчас роли дают.

— А ты что же, всю жизнь собираешься в молодежной газете сидеть?

— Нет, конечно.

— А почему не уходишь сейчас?

— Время не подошло.

— И мое время не подошло. И Полухиной, и Филатова, и Солодилова, и других ребят тоже. Их ведь тоже в любой театр 'возьмут...

— Ты покороче.

— Зрителя местного мы еще к театру не приучили. На первых порах зубами от бессилия скрежетали. Ставим «Доходное место», «Идиота»; а зал заполнен наполовину, а то и того меньше. А когда оперетта была — почти всегда аншлаги... Сейчас у нас невидимая борьба за зрителя идет. Затаскиваем его в театр как только можем. Бывает уже и так, что совсем мало остается пустых стульев. Нам главное, чтобы хоть однажды зрителя увлечь. Если он не придет снова — тут уж наша вина.

Мы подошли к театру. Валера ушел за кулисы, а я остался в зале.

Начинался спектакль.

Михаил КАТЮШЕНКО

ЕФРЕЙТОР ЗБРУЕВ СЛУЖИТ В ТАМАНСКОЙ

Иду я недавно по Ленинградскому проспекту и думаю о своей дипломной работе: сценарий все утверждается, утверждается, и неизвестно, когда начну снимать. Стало быть, мысли у меня невеселые. Вдруг замечаю, впереди меня идет солдат. Солдат как солдат — ничего особенного. Шинель, сапоги, шапка. Только смотрю, что-то прохожие оборачиваются и глядят вслед солдату. Что ж такое с этим солдатом, думаю. Прибавляю шаг. Обгоняю солдата и только хочу будто случайно обернуться и взглянуть на него, как получаю по шее. Солдат этот оказывается моим товарищем по ВГИКу Сенькой Морозовым. А для прохожих он — ефрейтор Збруев, сошедший с экрана прямо на Ленинградский проспект.

Морозов живет у Белорусского вокзала, и мы идем к нему. Я предвкушаю: крепкий чай, вкус-

ное варенье, а если повезет, и отличный обед. Но Семен говорит мне:

— Представляешь, как не повезло: увольнительная на двое суток — приехал на озвучивание картины, — а Маринка уехала с театром в Ленинград.

Маринка — это жена Сени, актриса Театра киноактера Марина Лобышева. Поженились они еще во ВГИКе, когда учились в актерской мастерской профессоров Бибикова и Пыжовой. Любят друг друга пылко и нежно — признаюсь, не встречал второй такой пары. Вот и сейчас, пока я роюсь в грудех афиш и реклам с фамилиями Морозов — Лобышева, Сеня царапает фламастером на зеркале, в котором отражается фотография жены: «Маринка, я здесь сижу и смотрю на тебя». Это в его духе.

А комнату Морозовых не узнать. Много мебели, гарнитур какой-то — сразу видно, поснимался Сеня в главных ролях. Но посреди комнаты, прямо на зеркальном паркете, лежит штанга, бросая вызов всей этой мебели. Это тоже в Сенькином духе.

— Понимаешь, — говорит Сеня, — был сейчас в кино. «Женщины и берсальеры»... Ну, такая мура, безвкусица, такая халтура, явно коммерческий фильм. Ни сюжета, ни умного слова. Юмор какой-то животный. Вроде того, что человек мажет лицо кремом для бритья, а это оказывается крем для обуви. Публика хохочет, а я не выдержал и ушел.

Уж я-то Сеню знаю. Посмотрел плохой фильм — как будто получил

личное оскорбление: испортилось настроение на день. Но мне не терпится узнать, как проходит его служба.

И он рассказывает, как трудно было вначале. Надо было доказывать характер. «Старики» вначале устраивали ему, «салаге», такие сцены: по очереди останавливают, удивленно разводят руками: «Как, Збру-у-ев, ты же демобилизовался?» Забавно, конечно, что Сеня, сыграв в кино Збруева и еще нескольких солдат, сам оказался в армии. Ну, положим, один раз пошутили и будет. Но когда это продолжается не месяц и не два... Семен, однако, не из тех, кто даст себя в обиду. Организовал он в части секцию бокса, и стали туда ходить те же «старики». Тут-то Сенька и отыгрался, потому что на этот раз «старики» оказались «салагами».

Служит он в одной из лучших частей — Гвардейской Таманской дивизии. Отличник боевой и политической подготовки, о чем свидетельствует и значок на груди. Никаких поблажек, оказывается, ему нет. Служит наравне со всеми, и мало того — после долгого солдатского дня будь любезен, дай концерт в своей или в соседней части, коли ты Збруев и прочее...

Аркадий КОРДОН,
дипломник режиссерского
факультета ВГИКа



МИХАИЛ ВОЛЬФСОН

ДВЕ ИСТОРИИ

Рисунки
Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



первый пациент

Их развели по-современному. Быстро. И заботливо. Когда они вышли из суда, она заплакала.

— Что ж ты плачешь? — виновато спросил Игорь. — Ведь ты хотела этого.

— Хотела?... — Она вскинула на него мокрые глаза. — Тогда считай, что плачу от радости.

Она повернулась и ушла. До позднего вечера он бродил по городу, а когда вернулся, Светлана заботливо помогла ему собрать чемодан. Надевая пальто, он неожиданно почувствовал какую-то слабость, закружилась голова, затем его бросило в пот. Точно втокнули одетым в парилку.

— Дай мне, пожалуйста, градусник, — попросил он.

Ртутный столбик вытянулся к цифре 38,9. Светлана уложила бывшего мужа на диван и вызвала врача. Пришел новый участковый врач. Молодой и чрезвычайно сосредоточенный. Он долго возился у крана со своими руками.

Затем подошел к дивану. Доктор нервничал.

— Чем болеете, больной?

— Болезнью, доктор, — чуть раздраженно ответил Игорь.

— Странно, — смущенно пробормотал врач, приступая к осмотру. Вскоре он облегченно вздохнул.

— Обычное воспаление легких! — Доктор весело взглянул на Светлану. — Так что дней через десять поставлю его вам на ноги.

Он усыпал стол рецептами и, уходя, потребовал:

— Если что, звоните. Не стесняйтесь!

Температура держалась пять дней. Светлана заботливо ухаживала за Игорем. Слово их недавно зарегистрировали, а не развели. А когда к нему явились дру-

зья с работы, Светлана поила их чаем.

Однажды вечером пришел доктор.

— Я к вам без вызова. Ну, как дела?

— Слава богу, ничего, доктор, — сказала Света. — А было очень плохо.

Доктор подошел к больному и неожиданно широко, по-мальчишески улыбнулся.

— Значит, порядок! Я же говорил, не больше десяти дней! Современная медицина не боится воспаления легких. Смерьте-ка температуру.

Ему хотелось поговорить. Игорь сунул градусник под мышку и укрылся одеялом.

— Теперь я могу вам сознаться. — Доктор сел. — Я ведь только окончил институт. Вы у меня первый больной. А знаете, что такое первый пациент для доктора? Его помнишь всю жизнь! Он испытание твоих способностей, знаний. Как я волновался, идя к вам! Хотел убежать. Я даже тетради с конспектами в вашем парадном просматривал. Но теперь уже привык. Столько вызовов за день...

Градусник показал 39,8. Доктор испуганно уставился на больного и жалобно произнес:

— Вы же сказали, что все в порядке...

Он опять выписал рецепты и ушел вконец расстроенный. Игорь закрыл глаза.

— Может, Свет, мне лучше в больницу? — Он тяжело задышал. — Чего тебе за чужим мужчиной ухаживать?

— Да ладно уж! — сердито прикрикнула Света.

Утром прибежал доктор. Термометр безжалостно показывал 39,8.

— Что ж это? — растерянно бормотал участковый. — Ни черта я не могу! Придется посоветоваться с коллегами.

Он приходил ежедневно. С тоской смотрел на пациента. Давал порошки, назначал уколы. И убегал к другим больным.

— Пусть он меня возьмет в больницу! — однажды тихо сказал Игорь.

— Хорошо, я попрошу его, — сказала Светлана.

Утром, когда Светлана ушла на работу, явился доктор. Игорь сидел одетый.

— Куда вы?! — вскричал участковый. — У вас же постельный режим.

— Сядьте, доктор. Да не смотрите на меня так. — Игорь заходил по комнате. — Извините меня. Я здоров. Давно здоров. Из вас когда-нибудь выйдет профессор. Мы разошлись с женой. Я не хотел. Думал, и она жалеет о случившемся. Она так ухаживала за мной! Но... не любит она меня... Хочет, чтобы я ушел отсюда... Иначе ни за что не согласилась бы отправить меня в больницу... А как я выяснил — она против этого не возражает!

— Но как вы поднимали температуру? Ведь я же был рядом.

— Очень просто. За диваном батарея. Я ставил градусник под мышку, укрывался одеялом и прижимал его к батарее. Она горячая... Извините меня, доктор...

— Ловко! — Доктор решительно встал. — А теперь немедленно в постель.

Игорь опешил.

— Ложитесь, я вам приказываю! — прикрикнул доктор. — Думаете, если я молод, так меня можно дурачить! Ошибаетесь! Не получилось. Я сразу понял, что вы меня за нос водите. Но пожалел вашу жену. Она просила, чтоб я подольше держал вас в постели. Теперь уж выздоравливайте без меня. Мы такие болезни в институте не проходили.

И уже в дверях доктор сказал:

— На всю жизнь запомню, как уговаривал своего первого пациента поболеть еще денек...



Я встретил Игоря на улице. Не виделись мы месяца два. Он кивнул в сторону весело освещенной рекламы «Ресторан»:

— Зайдем, старик? Посидим. Поговорим.

Официантка обслужила быстро. Когда разговор стал иссякать, нам подали счет: 8 рублей 30 копеек. Дружными усилиями 6 рублей набрали. Официантка терпеливо ждала, пока мы выворачивали свои карманы. Кивнув на меня, Игорь обратился к ней:

— Устроит вас такой залог?

Она смерила меня с ног до головы оценивающим взглядом.

— Подойдет.

— Старик, я за деньгами сметаюсь! — воскликнул Игорь и ушел на нетвердых ногах.

Оркестр играл что-то грустное. Я сидел за столиком и ловил на себе бдительные взгляды официантов, зав. залом, гардеробщика и повара, который почему-то по минутно выходил в зал с огромным столовым ножом. Прошел час. Игорь не возвращался. Народу прибавилось. За мой столик села молодая парочка. Я приподнялся было, но зав. залом решительно загородил собой выход.

— Куда?!

— Освобожу место, — как можно миролюбивее сказал я.

— Тогда подожди на кухне.

Официантка провела меня на кухню, и я пристроился в уголке на табуретке.

— Ну-ка, парень, — сказал повар через час, — чем сидеть без дела, как закипит соус, брось ту-

да эту ложку перцу... Да посоли по вкусу.

Я сделал, как он велел.
— Молодец! — попробовав мое творение, похвалил шеф. — Теперь вырежь у кур печенку. Возьми халат, чего костюм зря марты...

Я вырезал печенку, чистил рыбу, помогал тете Маше мыть посуду. Ресторан закрылся. Официанты разошлись по домам. Теперь мне было гораздо легче. В зале работать приятнее, чем на кухне. Не так жарко. Столы сдвинул, паркет натер, стулья

расставил, и все. Последним из ресторана уходил зав. залом. Он вежливо попрощался со мной и вырубил свет.

Первую ночь я проспал на столе для 12 персон. Зав. залом оказался неплохим человеком и на вторую ночь предложил мне свой кабинет, где стоял широкий диван.

Я освоил все профессии работников общественного питания. Только окна мыть я невзлюбил. Сода руки разъедает. Вообще коллектив оказался сердечным. А когда я недавно догнал на ле-

стнице посетителя, который собирался удрать, не расплатившись, зав. залом ласково сказал мне:

— Теперь я могу через годик-другой спокойно на пенсию. Достойная смена растет...

И я радуюсь. Одно, правда, меня огорчает. Вдруг однажды в зал ворвется Игорь:

— Старик, я залог принес, можешь быть свободным!

И придется уходить с насиженного места.

Рига.



ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

«Я старомоден, как ботфорт...
Хочу, чтоб снова — кружева и белы скатерти, и сани...
Хочу, чтоб без земных богов.
И, презирая полумеру,
за оскорбление — к барьеру.
считаю четырнадцать шагов».

Я архаичен, как сундук
в московском крупноблочном
доме,
как запись барышни в альбоме,
на облачко всплывшей вдруг,
как высоченная кровать
с кисейным кружевом на спинке,
как в кухне запах керосинки,
как в алфавите буква ять...
Но все ж во мне души не чают,
меня с любовью издают,
меня печатают, читают,
а главное — меня поют...

ИННА КАШЕЖЕВА

«...Друг друга мало знавшие,
Вот так мы и нашлись
Под звездами молдавскими...
На миг? На век? На жизни!
Слепи же неожиданной
Снежинкой на руке,
Люби же! Но держи меня
На трезвом ветерке».

Зови меня по имени,
Снежинкою кружи,
Люби меня, люби меня
И на ветру держи.
Молдавские лазури...

АЛЕКСАНДР
ФЕНЁВ

НАРОДНИ

Рисунки
И. САВИНОВОЙ.



Плевки в лицо молве...
Пусть в сердце будет буря
И ветер — в голове...
На коем километре мы
От отчего огня! —
Проветривай, проветривай,
Мой миленький, меня.
Все затхло — что спокойно, —
Пусть выюга душу жжет, —
Стремительна, как дойна,
Неистова, как жок.
Допетривай, допетривай,
Что вся я из огня,
Проветривай, проветривай,
Мой миленький, меня.
И, ласками расщедренный,
Найди большой горбыль,
И из меня, проветренной,
Ты выколоти пыль.

ЮЛИЯ ДРУНИНА

«Как уменьшили мир самолеты —
Рядом Турция, Куба, Непал.
Это очень удобно, но что-то
Все же каждый из нас потерял.
На мгновение остро захочешь
Возвратиться в минувшие дни.
Дни, когда по земле экипажи,
Как большие улитки, ползли,
И березку, травиночку даже,
Рассмотреть пассажиры
могли...»

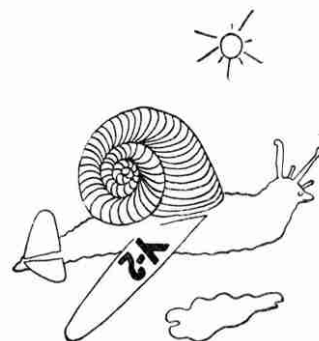
Самолеты стирают границы;
Не могу самолетам простить! —
Как над травкой теперь
прослезиться!

У березоньки как погрузить!
Вот и солнышко — свечечкой
аленькой,

Вот и елочки — словно укроп,
Лес, как клумбочка, —

маленький-маленький,
Дай, подруженька, мне

микроскоп.
Стали мышками наши коровушки,
Стали мошками наши соловушки,
А по улице, как по веревочке, —
Буратиночки да дюймовочки.
Стала бабушка чадом невинным
И уже позабыла пасьянс...
Ах, украсьте меня кринолином!
Ах, втащите меня в дилижанс!

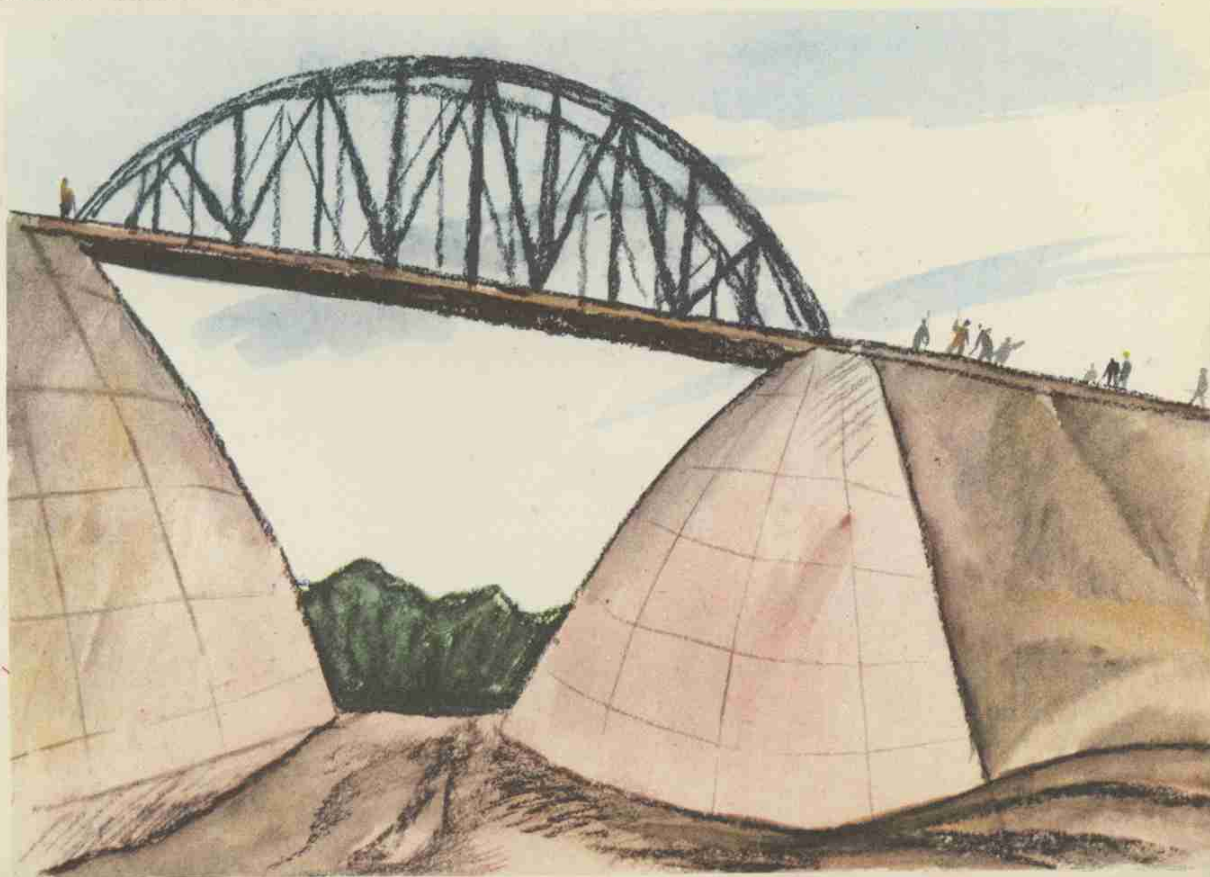




Интерьер кафе, оформленного студенческой бригадой «Юность» в поселке Туртас на трассе Тюмень—Сургут.

Мост построен.

Акварель комсорга отряда «Юность» Ю. КРУГЛОВА.



Смотрите в этом номере корреспонденцию «Заявка на радугу».



Цена 40 коп.

Индекс
71120